ФАТЬЯНОВ

Татьяна Дашкевич

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Алексей Иванович Фатьянов — знаковая фигура русской песенной поэзии. Его песни «Соловьи», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «На крылечке твоем», «На солнечной поляночке» и многие другие создали целую музыкально-поэтическую эпоху, стали воистину народными. При жизни он был гоним, но потрясающий запас жизнелюбия обогревал всех находящихся вокруг него людей. В книге подробно отражены жизнь и судьба, дни и ночи вдохновенного творчества, трудности и радости быта, дружеское и враждебное окружение этого выдающегося Человека и Поэта. Алексей Фатьянов прожил всего сорок лет, но успел создать более двадцати песен, которые стали национальным достоянием.

Издание снабжено уникальным иллюстративным материалом.

- Татьяна Дашкевич
  - От автора
  - История семьи
    - 1. Мстерские купцы Фатьяновы
    - 2. Мещанин Василий Васильевич Меньшов
    - 3. Фатьяновы и Меньшовы породнились
    - 4. Торговый дом Фатьяновых в Вязниках
  - История забытого вождя
    - 1. Человек с открытки
    - 2. Судьба Арджуно
  - Детство Алеши
    - 1. От Малого Петрина до Вязников
    - 2. Мир этого дома
    - 3. После нэпа
    - 4. Сестры
  - Лосиноостровская
    - 1. Стихи и голуби
    - 2. И снова сестры
  - На Ново-Басманной
    - 1. Письменный стол
    - 2. Литератор Толстой
    - 3. Старшая сестра
    - 4. Абитуриент
  - Школа А.Д. Дикого
    - 1. Атмосфера школы
    - 2. Предощущение песни

- 3. Хлеб насущный
- Неожиданные перемены
  - 1. В Театр Красной Армии
  - 2. Актер или поэт?
  - 3. Выпускник
- Первые гастроли
  - 1. Письма Алеши
  - 2. Знакомство с поэтами Дальневосточья
- Перед призывом
  - 1. В творческой Москве
  - 2. Встреча в поезде
  - 3. Повестка
- Армия
  - 1. Елецкий полк
  - 2. Артист Орловского Окружного Ансамбля
- Война. Рядовые дни
  - 1. Начало
  - 2. «Ехал я из Берлина…»
- Военная Москва. Школьники и студенты
- Играй, играй, рассказывай…
  - 1. После битвы под Москвой
  - 2. Красноармеец Ал. Фатьянов
- Где росли тополя
  - 1. В эвакуационном Чкалове
  - 2. Встреча в сквере
- Марш-марш…
  - 1. Что может быть проще…
  - 2. Парад над Уралом
- «Упаднические» стихи для бравых вояк
  - 1. «Южно-Уральские дивизии идут» на Сталинградский фронт
  - 2. Необычный концерт
- Истории некоторых песен
  - 1. «На солнечной поляночке…»
  - 2. «Ехал казак воевать»
  - 3. Баллада об Александре Матросове
- Думы о фронте
  - 1. Середина войны
  - 2. Автобиография
  - 3. Новый гимн
- От Башкирии до Москвы
  - 1. Концертные будни
  - 2. Большие перемены
  - 3. Поэт? Адвокат? Любитель?

- Ансамбль песни и пляски Алескандрова
  - 1. Из истории ансамбля
  - 2. Завлит Алексей Фатьянов
  - 3. Наказание
- Осень сорок четвертого
  - 1. Размышления о штрафбате
  - 2. Когда написаны «Соловьи»?
  - 3. В Ивантеевке
  - 4. Фронтовой корреспондент
- «Соловьи, соловьи, не тревожьте ребят…» Снова фронт
  - 1. «После декабря приходит май…»
  - 2. Верный «Харлей»
  - 3. «Далеко родные осины»
- Артист ансамбля Балтийского флота
  - 1. Соловьев-Седой вернулся с войны
  - 2. Победа
  - 3. «Горит свечи огарочек…»
- Новые песни сержанта Фатьянова
  - 1. «Потому, что мы пилоты» и другое
  - 2. Крестник Андрюша
- После войны
  - 1. Солдаты говорят о песнях
  - 2. Стихия Москвы
  - 3. «Когда проходит молодость»
  - 4. Затянувшийся роман с госпожой критикой
  - 5. Прощание Александра Александрова
- Дом в Хрущевском переулке
  - 1. Жильцы
  - 2. Калашниковы
- Любовь с первого взгляда
  - 1. Знакомство в гостинице «Москва»
  - 2. Смотрины
- Свадебное путешествие
  - 1. На «Хорьхе» — в Вязники
  - 2. В городском саду
  - 3. Небо синее над Невой…
- Послевоенный ЦДЛ
  - 1. Гости дубового зала
  - 2. Аукционы и кружки
- Постановление ЦК КПСС 1946 года
  - 1. Как это все случилось…
  - 2. Еще одно «Постановление» 1946 года
- Репкины
  - 1. На Арбате

- 2. Литературная порода
- 3. Братья
- 4. Арбатские гости
- 5. Репкин и пальто
- 6. Таня — няня
- 7. Конфликт

- Ожидание счастья
  - 1. 1947 год
  - 2. Дружба со студентами
  - 3. Автор — народ?.
- Песни, песни…
  - 1. Песня, которую ждали
  - 2. От Ленинграда до Одессы
  - 3. «Вирши Фатьянова…»
- Аленушка
  - 1. Ожидание
  - 2. Бильярдисты
  - 3. «За женушку с Аленушкой…»
- Соловьев-Седой
  - 1. Старший дворник и горничная певицы
  - 2. От пряничного домика до «музыкального комода»
  - 3. Друзья и соавторы
- Сигизмунд Кац
  - 1. «Зига»
  - 2. «На холмах Грузии…»
- Подмосковныя
  - 1. Все едут в Переделкино
  - 2. Место встречи — пруд
  - 3. Серебряный ветер под Одинцовым
- Штрихи к закату десятилетия
  - 1. Предчувствие улыбки Гагарина
  - 2. Хорошие встречи
- Лыжная прогулка вблизи города Иваново
  - 1. Композиторская «Мекка» в усадьбе Надежды фон Мекк
- «Свадьба с приданым»
  - 1. Духоподъемное кино
- Никита
  - 1. «Умоляю, роди сына…»
  - 2. Жизнь прекрасна
- Квартира на Бородинской
  - 1. Не буржуйская «буржуйка»
  - 2. Свой дом

- Пристань Вязники. Происхождение души
  - 1. Река времен
  - 2. «По мосткам тесовым…»
  - 3. Уединение без одиночества
  - 4. «На крылечке твоем…»
  - 5. Над радостью во ржи
- Литературная жизнь Вязников конца сороковых годов
  - 1. На улице рабочей
  - 2. Гости-господа
- Рыбные ловли в окрестностях Вязников
  - 1. А над синею волной ходит ветер низовой…
  - 2. Дядя Леня
  - 3. Паломник Серапионовой пустыни
  - 4. За стерляжьей ухой
- Московский купец и его друзья
  - 1. Любовь и ненависть
  - 2. «Главным был у них Фатьянов…»
- Одна молодая судьба. Борис Симонов
  - 1. Бывший военный топограф
  - 2. Первая книга
  - 3. Отец Бориса
  - 4. Есенин и Фатьянов
- Фатьянов — русский соловей. Дети рядом с Фатьяновым
  - 1. Алена и Никита
  - 2. Рояль Марка Бернеса
  - 3. Дети переулка
- Середина пятидесятых
  - 1. Иван Ганабин
  - 3. «Поет гармонь», 1955 год
  - 4. Бывая в Ростове
- Кинофильмы
  - 1. Думы о солдате Иване Бровкине
  - 2. «Доброе утро»
  - 3. «Весна на Заречной улице»
  - 3. Дом, в котором я живу. 1957 год
- «Победа»!
  - 1. Две тени
  - 2. Два водителя
  - 3. В Киеве
  - 4. Няня Галочка
  - 5. Мстерские стихи
  - 6. Продольные трещины в вещах и в душах
- Дома творчества музфонда

- 1. Союз с Союзом композиторов
- 2. В Рузе пишут новый гимн…
- «Непричесанный» Фатьянов
  - 1. Изгнанник
  - 2. «Отчего прослыл я скандалистом…»
  - 3. «Декабрист»
- Последний год жизни
  - 1. Поэма «Хлеб»
  - 2. Последнее лето
  - 3. Последняя осень
  - 4. Уход
- Последние дни и часы
  - 1. В «фатьяновской гостинице» мест нет
  - 2. Ода «Хлеб»
- 13. 11. 1959
  - 1. Непривычная тишина

Татьяна Дашкевич
Алексей Фатьянов

От автора

Моему сыну три года — ему нравится петь.

Дедушка под гитару поет ему старые песни — он знает немало песен, которые пелись веками и десятилетиями. Из радиоэфира круглосуточно пикируют на нас эфэмовские бомбардировщики. Что-то остается в утомленной памяти взрослых и свежей — детей. Иногда сын Федор берет отцовскую гитару, бьет по струнам и с суровым видом поет избранную им из всех песню:

Потому, потому, что мы пилоты…
Небо — наш… небо — наш родимый дом.
Первым делом, первым делом самолеты.
— Ну а девушки? — А девушки потом.

Это — Алексей Фатьянов, одно из священных и традиционно печальных имен русской песенной поэзии.

Его «Соловьи» высекали искры слез у Александра Твардовского и волновали сурового маршала Георгия Жукова. Поэт пел под канонады полевых орудий и под многотрудное чавканье кирзовых сапог. Другие литераторы срывались на пафосный речитатив. Поэт пел, как соловей, и написал отчасти и о себе:

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть ребята немного поспят…

Непривычные в контексте войны слова. Понятней разговор пушек и молчание муз. К тому же, разве не знал Фатьянов, что птица соловей не может не петь? Приходит пора — и соловьи поют.

Так пришла пора написать и об Алексее Ивановиче Фатьянове. О его времени. О его окружении. О выходе из окружения, может быть…

Верится, что его песни — неотъемлемая часть души русского народа.

И потому мне кажется, что где-то на небе, в «родимом доме» своем, неумелое пение моего сына слышит он, поэт Алексей Фатьянов — вечный ребенок, не прижившийся на земле.

Но начнем все же с земного.

История семьи

1. Мстерские купцы Фатьяновы

Старинное иконописное село Мстера возникло и доселе живо в местности, которая некогда называлась Ромоданью.

Мстера мало походила на село еще в старые времена.

Жители пробавлялись огородами — пахотных земель было мало. Со всех сторон село обступали густые, сильные жизнью и цветом леса. И богатые цветом иконописные мастерские Мстеры питали иконами да церковной утварью всю запредельно большую Россию. Работали в селе мыльно-помадная, ткацкая, клеенчатая и штамповальная фабрики. Здесь творился кирпич. Рабочий сельский люд двуперстно осенял себя крестным знамением — как и Вязники, Мстера была старообрядческой.

Деятельность одного из местных промышленников — И.А. Голышева по тем временам считалась довольно оригинальной. Он приобрел в Москве литографский станок, оборудование и открыл мастерскую литографии. Лубочные картинки отсюда шли по Нижегородской чугунке во все концы России. Они были в каждом крестьянском доме и стоили владельцу полноценную медную копейку.

Николай Иванович, отец поэта Алексея Фатьянова, унаследовал иконописные мастерские. Его мастера не были последними в ряду других — мастеров, работающих у купцов Шибанова, Крестьянинова, Шитова, Мумрикова. Мстерские образа, писанные по-старинному, ценились боголюбивым народом. Хозяева цехов знали иконы, умели писать их и понимать священное назначение. Был такой случай: богомаз мастерской Шитова поставил недописанную икону Божией Матери на пол вниз головой. В наказание хозяин заставил стоять кверху ногами самого безалаберного недоросля.

Со временем этот требующий времени и кропотливого терпения промысел дрогнул. Писаные иконы потеснились — их заменили штампованные иконки других мастерских России.

Промысел становился производством.

Московская фирма Жако и Бонакер, Троице-Сергиева и Киево-Печерская лавры выпускали литографические иконы промышленным потоком.

Уже тогда время начинало ускоряться, и угнаться за ним не всякому было дано.

Фатьяновых выручали от разора меднопрокатная и фолежная

фабрика.

2. Мещанин Василий Васильевич Меньшов

Дому Алешиного деда по материнской линии Василия Васильевича Меньшова не было и нет сносу. Этим домом начиналась деревня Малое Петрино, которая тогда уже считалась окраиной Вязников. Привезли его из Финляндии, несмотря на то, что своих лесов на Владимирщине в изобилии. Однако финский лес считался лучшим для домостроительства.

— Мой туесок только с виду невысок — он по колено в земле стоит! — утверждал дед Василий.

В доме — пять больших комнат с изразцовыми печами, просторная кухня. Каменная баня, погреб, усадебные постройки, вишневый сад, огород, пахотные земли — таким было родовое гнездо Фатьянова.

Далеко не прост был дед Меньшов.

Это был знаменитый в мировой льнопрядильной промышленности эксперт по качеству льна. Меньшовы, родители деда Василия, в казенных приправочных книгах названы крестьянами. Мальчиком тринадцати лет они отправили сына на Ярцевскую льнопрядильную фабрику Сеньково-Демидовских заводов, может быть, из-за нужды: ведь крестьянские семьи были велики.

— И в кабак — ни ногой! — дернул Васю за ухо отец. — А то-ть…мастеровой он что курица: где ходит, там и напьется! Слыхал ли?

— Слушаю, тятенька!

— Ну и с Богом… А нам Господь повелел от земли кормиться…

Из мальчика на побегушках и подмастерья Василий дорос до мастера. Версты тканей и полотна проходило через руки подростка. И оказалось, что у него необычно чувствительные подушечки пальцев рук. Василий Меньшов мог на ощупь определить одними кончиками пальцев: какого качества лен, где вырос, когда собран, сколько лет пряже, какую обработку она прошла и где. Он ездил по иным странам, закупал лен, заключал договора на готовые изделия. При всем при этом, будучи приверженцем старообрядчества, вид имел довольно диковинный: борода лопатой, валяная шапка, поддевка, яловые сапоги.

Меньшов никогда не пил горькой, несмотря на все искушения, а свои руки берег и одевал их в мягкие перчатки. Даже в сильный мороз он не грел озябших пальцев о раскаленные изразцы. Благодаря своей чудной способности видеть кончиками

этих пальцев, он и заработал состояние.

— Не штука деньги — штука разум, — говорил он своим детям с каким-то особым смыслом. И тогда глаза его увлажнялись. Он троекратно крестил лоб и мелко покашливал, скрывая волнение от пережитого.

Про Василия Васильевича рассказывают такую историю.

Советская Россия заключала договор с Англией на поставку льна. Международная церемония проходила в Большом театре. Подписание договора задерживалось — все ждали авторитетного эксперта с владимирских заводов. В это время Василий Васильевич в своем традиционном одеянии является в Большой театр. Швейцар его не впускает.

Василий Васильевич говорит:

— Я — Меньшов. Приехал по вызову такого-то.

«Сумлеваюсь!» — сквозит во взгляде служаки, но сказать «пшел», он отчего-то не решается.

Послали спросить, доложили, что в театр рвется какой-то мужик в поддевке. Лорд знал этого «мужика», неоднократно виделся с ним и в королевстве. Он сам вышел встречать Василия Васильевича и первым поклонился ему к вящему недоумению служилых.

Когда Советская власть начала гонения на зажиточных русских, его, редкого специалиста, не тронули. Не тронули и сватов — купцов Фатьяновых.

Четвертого марта 1919 года в родовитой купеческой семье Ивана Николаевича и Евдокии Васильевны Фатьяновых по Божиему благословению родился пятый ребенок — Алексей.

Он появился на свет в доме деда Василия. Приметы таких жилищ обитатели помнят всю жизнь, куда бы их ни занесла судьба. Так и Алексей говорил, что в дедовском доме каждая дверь имеет свой голос, каждая половица скрипит по-своему.

— Я оттого такой высоченный, — говорил он позже своей жене Галине Николаевне, — что высота потолков здесь — пять метров! Я, Галка, как истинный росс — на семерых рос, да тебе одной достался!

Смеясь, брал ее за талию сильными руками и легко, как юную балерину, поднимал к потолку:

— Москву видишь?

3. Фатьяновы и Меньшовы породнились

Отца поэта — Ивана и родную его тетю Капитолину родители Фатьяновы воспитывали в послушании и благочестии. Они были старообрядцы-единоверцы. Отец, Николай Иванович, одевался

согласно моде времени, однако, не дерзнул расстаться с окладистой бородой — боялся Бога. Их родительница, Евлампия Васильевна любила модные наряды, но голову покрывала, как христианка. Семья жила в достатке и почете. Дочь Капитолина считалась одной из лучших мстерских невест, а вот сыну Ивану, вопреки местным традициям, сосватали невесту из Вязников. Сватовство ту же перешло в переговоры о свадьбе, которую не стали откладывать надолго. Вскоре Евдокия Меньшова — будущая мать поэта — венчалась Ивану Фатьянову. Приданое увозили из Вязников на двенадцати лошадиных подводах.

Свадебный поезд мчался по главным улицам Мстеры и Вязников.

Встречные обнажали головы и кланялись.

Кто-то из былых поклонников Дуси восторженно свистнул вслед и лошади прибавили.

Вперед, в неизвестное и кровавое…

А новая семья начинала свою жизнь в Мстере.

Там у молодой четы Фатьяновых появилось трое детей. Первенец Николай родился в 1898 году. Через два года — новый век и новая радость: родилась дочь Наталия. В 1903 году появилась на свет Зинаида.

А покуда Евдокию Васильевну занимало чадолюбивое материнство, дела ее мужа приходили в выморочность. Содержать иконописные мастерские становились «себе дороже», все кругом уже было полно дешевой литографической иконой. Медникам с фолежниками тоже по-старому не жилось: их товар для украшения икон окладами уже не пользовался спросом.

Таяло на глазах богатое приданое. К тому же, Иван Николаевич не был чужд мотовства — любил показать себя на людях «миллионщиком» и швырнуть деньги под ноги рысакам.

Вскоре семейство познало полынный вкус нищеты.

4. Торговый дом Фатьяновых в Вязниках

И тогда Василий Васильевич Меньшов в приказном порядке позвал семью дочери в Малое Петрино и дал ей приют в собственном доме. Меньшов вызвал их из Мстеры в Вязники, для того чтобы зять открыли свой торг.

— Смотри у меня, Иван… — сказал он, давая зятю подъемные деньги, и дважды легонько пристукнул своим маленьким кулаком по столешнице: — Я т-тебя!.. — В третий раз стукнул сильно.

Немалые деньги, которые он дал Фатьянову, помогли Ивану Николаевичу начать новое дело. Тому стало уже не до мотовства — он чувствовал вину перед семьей и строгим, работящим

тестем.

Под доглядом Василия Васильевича зять выстроил двухэтажный каменный дом на центральной площади Вязников, напротив Казанского собора, главного городского храма. Это было самое бойкое место города: рыночная площадь, пожарное депо с каланчой, большие магазины… Вскоре новый дом с колоннами стал украшением Вязников. Именно в нем открылся первый в городе синематограф или, как тогда говорили, «биограф». То есть, кинотеатр.

Старший брат Алексея Николай Фатьянов легко освоил работу на кинопроекторе. В редкие свои приезды из Москвы он сам «крутил» фильмы. Это были первые годы нэпа. Но профессия киномеханика еще долгое время считалась настолько высокой и почетной, что большинство мальчишек, как о счастье, мечтало «крутить» кино.

В зале о тринадцати окнах опускались плотные черные шторы.

Начинал стрекотать кинопроектор, импровизировал согбенный от творческого азарта тапер.

И во второй, в пятый, в десятый раз, не надоедая, крутилась одна и та же «фильма» с Иваном Мозжухиным или Анатолием Кторовым пред глазастым уездным зрителем. Шла «Осада Севастополя», за которую Государь император пожаловал Александру Ханжонкову перстень со своей державной руки. Шли фильмы Гардина и Чардынина, «Песнь торжествующей любви» и «пламя неба» с участием Веры Холодной. Для усмирения публики, штурмующей кинозалы, власти в больших городах вынуждены были вызывать отряды драгун.

Известно, что когда Александр Алексеевич Ханжонков показал архиерею Московской епархии видовой фильм «Нил ночью», тот только и сказал:

— До чего Господь может умудрить человека!

Можно себе вообразить, как воздействовало кино на чувства простых людей и как готовило их к новому жестокому веку, унижая все, что было «до кино» до уровня наивной архаики.

При советской власти, когда родился Алексей и когда имущество родителей было национализировано, этот «биограф» не действовал.

Но любовь к кино и приближенность к нему семьи оставалась неистребимой. Не оттого ли, что все произошло так, как и произошло, сотрудничал поэт Фатьянов с кинематографистами всю свою жизнь? Насколько легко, празднично и естественно переплелись в его сознании жизнь с иллюзионом, настолько легкими, праздничными и естественными стали позже его песни

для кинофильмов. И сам он при всей своей земной плотскости казался многим из тех, кто знал его, сказочным героем кино.

В передней части дома Ивана Фатьянова, в первом его этаже, размещались пивная и обувной магазин. В подвале стояли гигантские цистерны для пива. Они были сделаны на заказ, такие огромные, что не могли войти ни в одну дверь. Поэтому цистерны доставили сюда и разместили в будущем подвале еще до строительства дома. Пиво везли в бочках из Москвы, обувь шили при магазине, тут же валяли валенки и модные фетровые ботики.

Так появился «Торговый дом Фатьяновых в Вязниках», реклама которого была широко представлена в российской периодике начала двадцатого века. Дом этот был известен и по всей Владимирщине.

В переднем малом зале и втором зале, который побольше, семья принимала гостей. Но будничная, рутинная жизнь проходила во флигеле. Это была трехэтажная пристройка с правой стороны здания. В самом нижнем этаже находилась кухня и комнаты прислуги. Во втором и третьем этажах располагались спальни хозяев. Домашние комнаты были довольно скромны: основные доходы отец семейства тратил на образование детей.

Иван Николаевич оставался человеком широкой души.

По праздникам большая гостиная наполнялась городской детворой. Приглашались на карнавалы в основном бедные детишки, и Евдокия Васильевна хлопотала над подарками для маленьких гостей. Их щедро одаривали, с пустыми руками никто не уходил. О доброй и сострадательной атмосфере этой семьи вспоминала горбатенькая домработница Фатьяновых, которую все звали Дашонкой. Будучи уже совсем старой, она рассказывала Алексею:

— Пришла одна девчушка с мамынькой покупать желтые ботики…Облюбовала! Так они ей приглянулись. Пришли, а денег-то у мамыньки и не хватило. Мамынька, мол, это девчонку за ручонку ведет из магазина, а та плачет горючими слезами. Тут Иван Николаевич рядом случился, Царствие ему Небесное! Почто, мол, девочка горько плачешь? Ботики, мол, хочу… Он и купил ей их — носи, детка…

Иван Николаевич выписывал книги для богатой своей библиотеки, которой пользовались все читающие горожане. Он покупал музыкальные инструменты и сам, и все дети с ним музицировали. Не роскошь, но вкус и добротность царили в доме. И Евдокия Васильевна была его душой и духом. Строго религиозная и образованная, она дочерей отдала учиться в гимназию. Отец Меньшов гордился ею, укладом этот обустроенного ею дома.

Двоюродная племянница Ивана Николаевича Лидия, она же — тетка Марианны Федоровны Модоровой, училась в одном классе гимназии со старшими дочерьми Фатьяновых. И жила она вместе с сестрами, как своя. Старообрядцы могли отпустить девицу только в добропорядочную семью. Гимназистка почтительно любовалась Евдокией Васильевной.

В самый расцвет «Торгового дома Фатьяновых» появилась в семье еще одна дочь — Тамара. Шел 1916 год — близилось крушение патриархального русского уклада…

А в 1917 году имущество Фатьяновых национализировали.

Их дом оказался привлекательным для новых административных структур тем, что был велик, имел много помещений и располагался в самом центре города. В нем разместилась телефонная станция, обслуживающая революцию.

Семья с грудным младенцем на руках, подобно десяткам тысяч зажиточных русских семей, была «выброшена» на улицу.

И вновь родовое гнездо Меньшовых — дедовский дом — принял семью дочери.

В этот период обездоленности и родился последний ребенок — Алексей.

Мальчик появился на свет 4 марта 1919 года в комнате самого деда Меньшова. В современных Вязниках день рождения поэта празднуется 17 марта. Такая досадная неточность появилась в результате просчета одного из биографов Фатьянова. К записи в церковной книге «4 марта» было прибавлено две недели, корректируя дату на новый стиль. Однако, в 1919 году и церковь, и государство приняли европейский календарь. Добавлю, что сам поэт считал днем своего рождения 5 марта. Может быть, потому, что любил цифру «пять».

Перед появлением на свет своего «поскребыша» чета Фатьяновых была в гостях во Мстере. Евдокия Васильевна почувствовала первые схватки в доме у Сергея Александровича Фатьянова, двоюродного брата мужа. Спешно заложили лошадей и помчались в Малое Петрино…

Новорожденный стал любимцем семьи.

Это во многом повлияло на характер Алексея — дружелюбный, не чающий подвоха, открытый, уверенный во всеобщей доброте. Старшие Николай, Наталия и Зинаида учились в Москве. Приезжая на каникулы домой, они нежили и баловали маленьких Тамару и Алешу.

По вечерам в семье любили петь старинные песни, но не запрещались и новые. Родители понимали, что прошлого не вернуть, а детям жить в том государстве, какое случилось. Возможно, это было проявлением здравого смысла и

естественного обывательского конформизма. Как бы то ни было, а Евдокия Васильевна Фатьянова вместе с детьми чуть ли не пешком ходила в Москву на похороны Ленина. А когда понадобилось — валяли и валенки на Рабоче-крестьянскую Красную армию.

— Не бойся, Алеша, — тихо говаривал Иван Николаевич своему младшему, в котором души не чаял. — Руки-ноги есть — проживем… Не привыкай, сын, к сладкому — тогда ему всегда рад будешь. Привыкнешь — радость потеряешь… Бери, Алеша, пример с Николая…

Николая Фатьянова ставили в пример не одному лишь маленькому Алексею, а тысячам мальчиков России. Однако, Алексею было всего лишь три года, когда старшего брата не стало.

А история ранней и неожиданной смерти Николая доселе остается загадкой.

История забытого вождя

1. Человек с открытки

Из стихотворения Николая Фатьянова «Сенеж»:

«В вечерних сумерках, когда туман клубами
Застелет гладь немых сенежских вод,
Из темных камышей на озеро стадами
Плывет гагар, крякуш шумливый род.

И вот в такую глушь мы стройною толпою
Пришли под звуки песни молодой,
Своею твердою и дерзкою стопою
Нарушив сон лесов и озера покой…»

Это стихотворение принадлежит неизвестному поэту начала века Николаю Фатьянову.

С детства Николай был увлечен разведчеством — скаутингом.

Днем рождения российского скаутинга считается 30 апреля 1909 года.

Но во время Первой мировой войны, когда в русском обществе чувствовался невиданный подъем патриотизма, скаутское движение охватило свыше пятидесяти тысяч детей в более, чем ста сорока городах России. Николай Фатьянов стоял у истоков военизированного детского и юношеского движения и вошел в неписанную историю России Колей Фатьяновым — старшим Скаутмастором Москвы и губернии.

Николай был человеком глубоко верующим, проникновенным, вдумчивым знатоком истории, чтил родные традиции. Когда случилась революция, его соратник по Петербургу О.И. Пантюхов эмигрировал и возглавил скаутское движение русских детей за границей. Николай остался в России. Он, как и многие разумеющие добро люди, считал, что это умопомрачение масс скоро кончится и все вернется на круги своя. Он даже увлекся на какое-то время внешним благородством революционной идеи. В дни февральской революции 1917 года он создал первый свой отряд. Это тогда впервые по Москве прошли скауты не в защитных, коричневых и синих «галстухах», а в повязанных на шеи красных платках. Сбоку шел 19-летний юноша

в защитном френче и широкополой шляпе. Он весело улыбался, свободно разговаривал со счастливой ребятней, чьи глаза горели невыразимой радостью. Но это были не пионеры, а скауты. Скауты в красных галстуках. Потом, постепенно, они вновь сменили их на прежние синие, зеленые, защитные.

Тогда Николай получил огромную комнату в коммуналке на Ново-Басманной, в национализированном доме. Комната Николая в сорок три квадратных метра была теплая, хорошо отапливалась кафельными печами. Здесь — ванная, телефон, два туалета… Каждая семья, получившая коммуналку, по-своему ее переделывала. Николай жил в бывшей столовой, обшитой черным дубом. Жилище соседской семьи было отделано карельской березой. Первая комната от передней прежде значилась кабинетом, в ней долго сохранялись ореховые шкафы с зеркальными стеклами. Окна комнаты, где жил Николай, а затем — и Алексей Фатьянов, можно увидеть и сегодня. Дом выходит окнами на Курский вокзал. Если смотреть на первый подъезд со стороны тупика, это — первый балкон шестого этажа. Его можно определить по фрамуге, которую сделал муж племянницы братьев Фатьяновых — Ии Викторовны Дикоревой. Это — единственное в доме окно с фрамугой.

Студент философского факультета Московского университета, Николай по жизненной своей сути был хранителем воинского духа. Во многом он старался подражать своему святому покровителю — великодушному, скорому помощнику в воде и на суше святителю Николаю Мир-Ликийскому. Вторым его идеалом был сэр Баден-Пауэлл, автор книги «Юный разведчик», на которого до удивления был внешне похож штабс-капитан Олег Иванович Пантюхов — глава русских скаутов. В Москве была выпущена открытка, где статный красавец Коля Фатьянов стоял навытяжку в военизированной скаутской форме. От этого портрета так и веяло благородством строевой выучки русского офицерства.

Занятия скаутингом не мешали, а, казалось, лишь помогали молодому человеку зимой отлично учиться на философском факультете Московского Государственного университета. Там же учились его сестры: Наталия — на физико-математическом, Зинаида — на медицинском факультетах.

Николай от весны до осени бывал в скаутских лагерях и походах. Им были исхожены излюбленные скаутами места Москвы и Подмосковья: озеро Сенеж — будущая вотчина Союза архитекторов, Фили, Волынское, Немчиновка, Перхуха… Известно, что Николай возил свои отряды на Урал, на юг, к морю — это были экскурсионно-спортивные поездки, в которых

познавалась история и крепла любовь к такой разной, великой России.

Может быть, Николай казался чрезмерно аскетическим для юноши и потому ни в одном из рассказов о нем нет даже упоминаний о его девушках. А ведь он был красив, породист, литературно одарен…

Вот небольшой отрывок из рукописного анонимного сборника «Пятое», составленного запрещенными и ушедшими в подполье скаутами. Такие сборники издавались каждый год в память о Коле к пятому июня — дню его смерти.

«…Какое сильное впечатление он произвел на меня, когда я видела его в первый раз на экскурсии в Сенеже. Перед строем он делал выговор нескольким скаутам, которые безобразничали ночью и мешали другим спать. Он был очень рассержен, и его суровые, спокойные, грустные слова произвели на меня громадное впечатление. <…>Я сижу и смотрю на него и не могу оторваться от этого лица. Тема беседы — борьба за существование… Много потом я слыхала Колиных бесед, но ни одна не оставила такого яркого впечатления. Костер пылает. Кругом серьезные молодые лица, окаймленные пестрыми галстуками. Беседа кончилась песней «Братья, крепнет…», как нашего гимна. Но возможно ли вспомнить отдельно все минуты, когда Коля играл первенствующую роль? Я не могу. Его присутствие — это яркий отблеск света великой идеи на скаутской тропе, и воспоминание об этих отблесках навсегда осталось в моей душе, как олицетворенье той «светлой дали», о которой любил петь Коля. <…> Пока Фатьянов был жив, он был только наш и телом и душою…».

Когда Коля приезжал домой в Вязники, то водил барышень в кино. Барышни жили в Фатьяновском розовом доме на площади — племянницы, сестры. Приходили их подруги-гимназистки. И не беда, что кинотеатр был родительским, не беда, что девицы надолго теряли сон — Коля принадлежал всем вместе и никому в отдельности, а походы в кино были высшей милостью по отношению к ним, чтобы никому не было обидно.

К нему, по-фатьяновски ясному и целеустремленному, тянулась молодь, не исключая и детей членов советского правительства из дома на Набережной, где он часто бывал желанным гостем. Его уважал и с ним считался Николай Ильич Подвойский — один из первых революционных «боевиков», по-своему обманутых революцией.

Но скаутское воспитание молодежи не вписывалось в идеологические параметры, воцарившегося в бывшей Российской империи Интернационала под номером три. Молодежный вождь

Николай Фатьянов призывал своих соратников идти к детям рабочих слободок и вовлекать их в патриотическую организацию.

«Прошло три года, — пишет аноним в сборнике-мемориале о встрече с 22-летним Николаем. — Снова я в Москве. Лечу к Коле, сейчас увижу его, ясного, бодрого. Отворяю дверь, вхожу и сердце сжимается острою болью… Так вот какой он стал, Коля… Как он постарел, какой у него больной, измученный вид. Видно, недешево достались ему эти три года, и уж не обманули ли его мечты той светлой революционной весны?».

«…Мне вспоминается один из этих мрачных, зимних вечеров…» — пишет другой аноним. «… Мы сидели в Колиной комнате на Басманной. Был полумрак. Топилась печка. После целого дня беготни по учреждениям мы очень устали и в изнеможении сидели на диване. Не хотелось говорить. Но вот — стук в дверь. Вбегает скаут и, запинаясь, предупреждает, что через несколько минут Коля будет арестован. Фатьянов ни на секунду не растерялся. Быстро передал нам инструкции в случае своего ареста, после чего мы все быстро сбежали по лестнице. Поезд в Вязники уходил через двадцать минут. Можно было еще поспеть. Мы уговаривали Колю на время уехать. Но он наотрез отказался. Фатьянов не считал возможным покинуть организацию в этот критический для него момент. Личной безопасностью жертвовал он ради скаутинга…». Это было в феврале 1922 года, когда Политбюро решило ликвидировать ВЧК. И вместо него сразу же возникло ГПУ — новая «метла», которая стала «мести» со всем карьеристским рвением.

Еще верящий в здравый смысл происходящего в России скаут Фатьянов, похоже, искал компромисса с интернациональными властями. Он чистосердечно полагал, что власти любого государства, желающего сохранить свою и его, государства, независимость, заинтересованы в патриотическом воспитании молодежи. Но — увы! — русский патриотизм волчат оказался опасным для международных гиен. Он оказался в подчиненном положении в их международной политической конструкции.

«…Наступили тяжелые дни…Мы оказались непонятыми. Союз молодежи был против нас. Атмосфера сгущалась. Уже не пели «Будь готов». «Гимн борьбы» сменил его:

Братья, крепнет вьюга злая,
Нам дорогу застилая…

И вот в этой злой и опасной буре Коля стоял, как могучий, крепкий дуб. Никакие штормы его не колебали. Чувствовалось, что пока Коля жив, все гонения нам не страшны, нельзя было

жить с Фатьяновым и не верить в его идеалы…».

2. Судьба Арджуно

И все же старший Скаутмастор Москвы и губернии Николай Фатьянов пошел на компромисс с новыми властями, во что бы то ни стало желая сохранить содержание скаутинга, пусть и в иной форме. Потом были и Юнгштурм, и ОСОАВИХИМ, и «Зарница»… Они были тоже спортивно-патриотическими детскими организациями, но — лишенными национальной исторической идеи.

Как и все честные русские, Николай был жестоко обманут.

В феврале 1922 года при 16-й типографии многострадального Краснопресненского района Москвы, в Сокольниках и Замоскворечье были созданы первые красногалстучные пионерские отряды.

19 мая Всероссийская конференция комсомола — о чем можно прочесть в любой советской энциклопедии — постановила распространить движение пионерии на всю страну. Этот день стали называть днем рождения пионерской организации имени Спартака.

В празднично убранной Москве скаутское движение торжественно переводилось в пионерское. Тогда и был совершен идеологический подлог.

По Красной площади прошествовал детский парад, демонстрируя выправку и спортивность. Под волнующую барабанную дробь Николаем Ивановичем Фатьяновым и Николаем Ильичом Подвойским была подписана декларация о переименовании движения, после чего новоиспеченные пионеры организованно двинулись в Сокольники. Их вел туда старший Пионервожатый для возжигания первого пионерского костра. В Сокольниках Николай продрог, после чего слег с фолликулярной ангиной. По другой версии, Николай в тот момент заболел ревматизмом суставов, отчего смерть, наступившая через 15 дней, любому медику представляется невероятной. Однако, не будем делать никаких напрашивающихся выводов. История признает документ.

Как ни старались врачи и родные, молодому человеку поправиться было не суждено. Судьба его словно сделала выбор между смертью и унижениями ГУЛАГа, куда позже ушли многие из его соратников.

Пятого июня, через две с небольшим недели со дня рождения пионерии, скончался Коля Фатьянов.

«…С поникшей головой входили мы к этому маленькому

красному домику в больничном дворе. Все были в сборе. Друзья Коли и его недоброжелатели, русские и маккавеи — все были здесь. Лица давно порвавшие со скаутским движением пришли последний раз взглянуть на того, кто некогда водил их по чудесным тропинкам юности.

К гробу трудно было протиснуться. Запах ладана и монотонный голос священника с ужасающей убедительностью подтверждали реальность всего происходящего. Гроб был в цветах. Розы и много, много ландышей. В скаутмастерском галстуке с белой лилией в петлице лежало то, что некогда было Фатьяновым…».

После гроб стоял во Дворце пионеров на Кировской, где нынешняя станция метро «Чистые Пруды». Там дежурил почетный караул, шел поток людей проститься с легендарным человеком. Молниеносная романтическая жизнь патриотического идеолога и вождя русской молодежи оборвалась в 24-летнем возрасте под знаком Белой лилии, символизирующей скаутинг в России. Три ее лепестка говорят о трех частях Торжественного скаутского обещания. Это — служение Богу и своей стране, помощь близким, обещание жить по законам скаутов. Святой Георгий Победоносец, убивающий змея, на гербе московских скаутов говорил о том, что люди призваны бороться со злом. Все эти качества — и чистота лилии, и благородство в борьбе святого Георгия — характеризовали духовный портрет Николая Фатьянова, который, будучи известен в то время каждому взрослому и ребенку огромной страны, исчез из анналов ее истории.

Родные снесли его на Покровское кладбище Вязников.

И долго еще в Малое Петрино приходили родителям письма с посвященными их сыну стихотворениями и поэмами. Даже те, кто никогда не видел Николая, оплакивали его.

Теперь без тебя распадается братство,
Преследуют всюду нас Ненависть, Злоба.
Прости нас, Арджуно, прости нас, любимый.
Арджуно — это храбрый герой «Махабхараты».

Так выражал свою скорбь анонимный автор поэмы, посвященной памяти Н. Фатьянова «Повесть о светлом Арджуно».

…Даже крест на его могиле, вставший неподалеку от церкви, кому-то не давал покоя. По случайности ли, нет ли, он исчез вместе с исторической памятью о Николае. Восстановить могилу этого выдающегося человека удалось лишь в 90-х годах ушедшего века. Это сделали его сестра Тамара Ивановна, племянница Ия Викторовна и Галина Николаевна Фатьянова, жена Алексея

Ивановича. Месторасположение могилы установить уже было невозможно. Новый крест поставили, сверяясь с фотографиями у церковной стены. Но были все-таки люди, которые помнили о Николае. Он будто оживал в рассказах, воспоминаниях и легендах.

Сегодня возрождается в России скаутское движение. Во Владимирской области создан отряд имени графа Храповицкого, в Воронежской — Димитрия Донского и Игоря Святославича, В Ростовской — Дмитрия Менделеева. В Нижегородской области есть Сводный круг имени Николая Фатьянова, наряду со скаутскими дружинами и отрядами Екатерины Великой, Юрия Всеволодовича, Петра Великого и Цесаревича Алексея. Красивые, чистые, гордые имена.

Детство Алеши

1. От Малого Петрина до Вязников

Младший брат Николая — Алексей стал русским поэтом.

Ребенок жил в мире любви и семейного лада. Любил голубей и рыбалку, привычный мир Петрина, который прекрасен в своей хрупкой тогдашней простоте. «Все свое детство я провел среди богатейшей природы средне-русской полосы, которую не променяю ни на какие коврижки Крыма и Кавказа», — напишет Алексей в холодном декабре 1943 года.

Смеясь, он рассказывал Гале, что рано научился читать и что Иван Николаевич стал вынужден выписывать для него книги.

— Он говорит мне: «А ты еще капитана Фракасса не читал. Вот возьми в библиотеке и прочти…» Я ему отвечаю: «Читал!» Он не верит: «А ну, сын, перескажи!» Я — бах! — и выкладываю. Он удивляется. «Детские годы Багрова-внука» тоже пролистал?» «Тоже…» Он бровями шевелит и губы поджимает…

А смеялся он при этих воспоминаниях не всегда весело.

— Это оттого, что он скучал по своему детству, где остался навсегда, — говорила Галина Николаевна, сама становясь печальной. — И книги оставались его вечными и верными друзьями с тех самых времен и до самой кончины…

… Утренние часы Алеша так и проводил в библиотеке отца.

Его глаза, которые по определению Галины Николаевны были цвета спелого крыжовника, вбирали километры строк, а сердце — опыт чужих переживаний. Он рассказывал, что из иных книг ему не хотелось «выходить», а хотелось остаться там, внутри, вместе с героями. Он вспоминал и слова, которые произнес кто-то из великих: «Я представлял себе рай в виде библиотеки…». Так искусство поэта — чувствовать в себе боль и счастье многих людей — зарождалось и оттачивалось в детской душе. В той просторной библиотечной комнате стояли высокие до потолка шкафы. Они смотрелись существами из иного мира — величественными, одушевленными. Частенько Евдокия Васильевна заставала его там, сидящим на банкетке с отсутствующим видом. Ей становилось тревожно за младшего и единственного уже сына, витающего высоко над землей. Любовь и страх за него лечили мать от скорбной тоски по Николаю.

— Можно ли так много читать, Алеша! — тревожилась она. — Сходил бы на улицу побегал!

Не слышит. Шевелит губами, а ресницы не дрогнут.

— Может тебя врачу показать? Ты в своем ли уме, сынок?

Смеется. Значит, в своем.

— Мама, я притворяюсь! Пугаю тебя!

— Ах ты артист, ты мой артист!

Хочет прижать его к себе, да не принято это баловство в семье.

Евдокия Васильевна потихоньку оживала с Алешиным возрастанием. А возрастал он, как на опаре.

Когда же начался НЭП, Фатьяновым предложили выстроенный ими дом взять в аренду. Они вновь переселились на центральную площадь Вязников. В ту пору Алексею исполнилось пять лет. Иван Николаевич продолжил свое дело, возобновил механические мастерские, обувной цех, пивоварни. Маленький сын всюду следовал за отцом, приучаясь быть хозяином. Жизнерадостный, приветливый мальчик был любимцем рабочих — пивоваров, обувщиков, продавцов.

С 1924 по 1929 год Фатьяновы жили в Вязниках. После монотонного деревенского уклада Малого Петрина жизнь городского центра Алеше казалась праздничной, интересной, яркой. Город — это стаи голубей и фургон фотографа, нарядные прихожанки и усатые пожарные, красивые лошади конной милиции и «призраки города» — известные всем вязниковцам бродяги. В отцову лавку заходили прекрасные и занимательные люди, на которых можно было смотреть и смотреть, равно как и на очертания величественного Казанского собора или легкий, летучий Никольский храм, как на рыночную пеструю площадь.

Еще и после войны, ходил он — бывший солдат — по этой площади с ее торговыми рядами и лузгой от семечек, очарованный красотой бытия. Он словно искал призраки нарядных горожан и горожанок в городском саду, где некогда извозчики, торговцы рыбой, молочницы, пожарные прогуливались летними вечерами в лучших своих нарядах. Он все искал мир таким, каким тот открылся ему впервые: значительный и прекрасный в каждой мелочи…

Недалеко протекала Клязьма. Алеша бегал к рыболовам, с неутолимым любопытством наблюдая за ними. Так принял он в душу состояние рыбалки, где ловится не только рыба, но и особо светлые мысли и озарения. Они приходили, когда виделись небольшие грузовые пароходы, баржи, неспешное суденышко бакенщика, одинокая рыбачка в лодке, повязанная тугим платком. Чинно отходили от городской пристани пассажирские суда, увлекая за собою стайки реющих чаек. Врезался в память тонкий стан рыбачки в белом платье, развевающемся на ветру. Вода, как и огонь, притягивает человеческий взгляд, сообщая ему

нечто таинственное, вечное.

Там, у костра на берегу Клязьмы, Алексей становился поэтом.

А городской сад, где по вечерам бывали танцы под духовой оркестр — это первые свидания с оживляющей тишину музыкой. Алеша устраивался где-нибудь поодаль от эстрады на скамейке и слушал ее звучание, и смотрел, как послушно только что скованные стесненьем горожане и горожанки начинают кружиться в танце. Тогда он становился молчаливым и взрослым, словно забегал в туманное будущее.

Так входила в чистую душу музыка.

2. Мир этого дома

Став подростком, он увлекся голубями и занялся ими всерьез. «…На этой улице подростком гонял по крышам голубей»… Это — картинка из детства Фатьянова. Тогда еще не было радиосетей и Алеша с Костей Климовым мечтали наладить голубиную почту, чтоб писать письма всему миру. Друзья счастливо глядели в небо, вбирая его красоту в детские сердца. Но сколько их, этих детских лет! Наступают долгие зимы и по крышам не побегаешь. Крупнее сверстников по телосложению, Алеша никогда не дрался, чаще растаскивал задир и утирал им носы, как взрослый. Это великанское отношение к людям было для него естественным и как бы вне возраста.

Можно представить себе: в синие, зимние сумерки Алеша приходит с речки, где верховодил и маленькими, и постарше детьми, где они с визгом катались на санках и лыжах. Он, дитя гармонии, приходит с улицы, а в доме звучит «Жаворонок» Глинки. Это сестра Тамара, которая старше на два года, разучивает музыкальный шедевр — гимн жизни и лету. Алеша, по ее рассказам, обмирал и мог слушать долго, тихо, глядя в пространство перед собой невидяще, как на огонь… Он будто бы на ощупь, по-дедовски пробовал жизнь на ее добротность.

Тамара Ивановна вспоминает, что когда она пошла в третий класс, Алеша пошел в первый. Учеба его шла легко благодаря исключительно хорошей памяти, и вскоре он стал помогать ей решать задачи. К тому же отчаянно защищал ее от мальчишеских атак. Наверное, потому до конца своих дней он и называл ее «младшей сестренкой».

В те годы — в годы НЭПа — в дом вновь вернулись «старорежимные» праздники. Под Рождество в большой столовой появлялась елка, которая верхушкой упиралась в высокий потолок. Тамара и Алеша наряжали ее неизъяснимо пахнущими игрушками из глубоких картонок. Сценой для представлений

становился семейный обеденный стол из дуба. Он был умело декорирован марлей, ватой и самодельным серпантином. Платья старших сестер преображались в сценические костюмы и дети играли на «театре» с самозабвением, которого так не хватает иногда взрослым актерам. Естественно прививались сценические навыки и уходил страх перед подмостками. Иногда способность Алеши к сценическому перевоплощению помогала и в жизненных коллизиях. Он был, хотя и воспитанным в почитании старших, но озорным мальчуганом. Случалось, общие детские проказы заканчивались разорванными штанами или пальто. Тогда послом с челобитной выступал перед взрослыми Алеша. Дворовым мальчикам, страстным любителям подраться, но панически страшащимся наказания, он говорил, что правда всегда лучше лжи. Так его учили.

И подтверждение тому он нашел в одной из толстых книг, которую показал Тамаре.

— Ты Бальзака читала?

— Нет, — солгала она. — Это книги для взрослых, — хотя тайком почитывала «Евгению Гранде».

И тогда Алеша открыл книгу на закладке и прочел вслух:

— «…Правда — точно горькое питье, неприятное на вкус, но зато восстанавливающее здоровье…» Понятно тебе, Тома-кулема?..

Тамара только пожала плечами и вскинула недоуменно брови, показывая, что этот разговор неуместен — здесь нет лжецов. И лишь по прошествии лет вспомнила этот случай и поняла, что этот ребенок — ее братишка, — провидел, может быть, в тот момент тяжесть своего креста. Крест этот — пожизненное правдолюбие.

Детские дерзости не мешали мальчику оставаться увлеченным читателем. Он писал позже в автобиографических набросках:

«…Сказки, сказки, сказки Андерсена, Братьев Гримм и Афанасьева — вот мои верные спутники по проселочной дороге от деревни Малое Петрино до провинциального городка Вязники, где я поступил в школу…».

3. После нэпа

Крутилось кино, работали магазины, росли дети, пока не начала «колебаться» линия партии. Линия-то гнулась, а человеческие хребты ломались. Свернули нэп — Фатьяновых снова выселили, несмотря на валенки для РККА и красные галстуки их детей. Алеша успел окончить лишь три класса, когда

все имущество родителей пошло с торгов. Их «раскулачили» вторично.

Все происходящее было за пределами обывательского понимания и по православной традиции принималось «на веру». Семья покорилась судьбе, родители не высказывали зла на советскую власть и ее активистов. Однако, не дожидаясь более суровых последствий, Фатьяновы беспорточными переехали в Москву. А что они могли сделать? В большом городе легче выжить и затеряться.

Не избежали этих тяжких последствий те, кто остался. Мстерец Николай Александрович Фатьянов, двоюродный брат Ивана Николаевича, во время НЭПа владел мучной торговлей. Его сослали на Урал с пятью малыми детьми. Он был женат на Клавдии Александровне Модоровой, родной сестре живописца Федора Александровича Модорова. А семья художника в Москве имела литерный паек. Часть пайковых продуктов регулярно уходила на Урал. Маленьким высылали сладости и им было радостно не столько от конфет, сколько оттого, что их не забывают, что есть на свете родня. В 30-е годы Федор Александрович работал на Урале, как художник, и сделал своему родственнику протекцию. Мстерский Фатьянов устроился счетоводом в лесхоз, что помогло ему прокормить семью до окончания ссылки. Так нерушимо сохранялись связи между людьми, которых расставили по разные стороны злоумышленного фронта, распределили по черным и белым спискам.

Их попросту истребляли. Но люди оставались людьми…

4. Сестры

Наталья Ивановна тогда была уже замужем за Виктором Николаевичем Севостьяновым. Муж ее закончил политехнический институт, работал экономистом на электрозаводе. Жили они на Басманной, в комнате Николая, растили дочь Ию и заботились об опальной семье. Они сняли для родителей в Лосинке комнату с печью. А летом все ездили туда, как на дачу.

Зинаида Ивановна стала женой большевика-буденновца Исидора Федоровича Буренко. Он был членом партии, комиссарил в Туркестанском крае, где устанавливалась Советская власть. Зинаида Ивановна работала там же врачом-хирургом. Когда она с мужем уезжала отдыхать на юг, то брала с собой и брата Алешу.

Таким — ограбленным, настороженным, но не потерявшим достоинства и родовых связей — вступило большое семейство Фатьяновых в эпоху очередной русской Владимирки.

Лосиноостровская

1. Стихи и голуби

Фатьяновы поселились в недорогой комнате в подмосковном дачном поселке Лосино-Островская. Это была комната в первом этаже дома Марковых по улице Тургеневской, 32. Теперь это — улица Вешних Вод. Теперь перила на веранде поломаны, участок зарос бурьяном. Алеша мечтал жить в одной из красных башен на станции, куда местные жители и дачники ходили встречать паровоз. В поезде на паровой тяге приезжала сюда с родителями его любимая племянница Ия — маленькая девочка в бантах. Она тоже до сих пор помнит, что их остановкой были эти красные водонапорные башни.

Алексей всегда выглядел старше своих лет, но ему легче, чем взрослым, было привыкать к перемене мест.

Скоро еще недавно чужую станцию Лосиноостровскую он начал называть по-свойски — Лосинкой. Взрослые тоже обвыклись, притерпелись. Иван Николаевич устроился работать в Торгсин.

В их комнатке было бедно и уютно. Здесь теплилась белая кафельная печь. К ней жались железные койки. Простая мебель по степени своей добротности должна была пережить века. На высокой кровати с периной спала Евдокия Васильевна. Когда приезжала из Москвы Ия, бабушка укладывала девочку с собой. Та нежилась в мягких теплых подушках, Лосинка казалась ей сбывшейся мечтой о жизни сказочной принцессы. Других внуков Евдокия Васильевна при жизни не узнала. Когда же бабушка приезжала в Москву, она водила Иечку в церковь. Рядом с домом на Ново-Басманной был старинный храм Петра и Павла. Ия послушно держалась за бабушкин указательный палец и, поднимаясь по высоким церковным ступеням, простаивала службы. Они ей нравились с их ароматом цветочного ладана, медовых восковых свечей, с благоуханием свежих букетов. Московская традиция украшать почитаемые иконы гирляндами живых цветов тогда еще сохранялась. Дома длинноногий дядя Алеша нагибался к голове маленькой богомолки, вдыхал эхо этих запахов и спрашивал с серьезным видом:

— На тебя еще пчелы не садятся, дитя мое?

В Лосинке Алексей закончил среднюю школу.

После десяти лет ребенок становится взрослым. Он еще ощущает себя в прежнем детстве, но чувства находятся уже в

пригороде Судьбы. Тогда у Алексея появилась своя, полная хлопот жизнь: музыкальная школа, драматический класс, еще одна собственная голубятня. Все знали, что школьник мечтает о театральных подмостках. От полноты чувств он сочинял стихи, жег по ночам электричество, жег в печи черновики. С блаженной рассеянностью он шествовал по длинной зеленой улице с книгами подмышкой, тихо повторяя не заученный урок, а сочиненное за ночь нечто.

По вечерам Алексей ходил заниматься в драматический класс музыкальной школы, что находилась на другом конце поселка. Ее заведующая Г.Г. Беркгольц была одной из тех восторженных целеустремленных дам, что служат искусству, как святыне. Творческие силы педагогов школы дали толчок будущим знаменитостям — артистам Н.Н. Волчкову, К.Н. Головко, И.М. Сафоновой, Г.Д. Степановой. Они были чуть старше Алексея, но он умел держать себя со старшими на равных, не отставал от них ни в пении, ни в сценическом мастерстве. За годы учебы в классе он вжился в образы опричника Колычева в «Василисе Мелентьевой» А.Н. Островского, Яичницы в «Женитьбе» Н.В. Гоголя, музицировал, пел романсы.

Несмотря на то, что первые стихотворения юноши были весьма мрачными:

…Белым дьяволом у погоста
Улыбается тишина… —

ими бурно восторгались девушки к его вящему удовольствию.

Товарищи считали необходимым поощрительно хлопнуть по широкому плечу:

— Мощно сказано, Алеха!

Друг юности Фатьянова Георгий Глекин справедливо считал, что кладбищенские мотивы эти были наносными. Разумеется: откуда взять подростку драматический колорит, как не из недавно еще модных стихов декадентов? И стихи были в таком контрасте с веселым нравом дружелюбного парня, что вводили друзей-ровесников в трепет и ликование. Все знали, как Алексей любит похвастать голубями, которых лелеял, кормил изо рта ярым пшеном. Каждая пара голубей была предметом его гордости, прекрасной душевной болезнью. О голубях он мог говорить беспрерывно. Но друзья ценили Алексея именно за стихи. Это было время громкой славы поэтов. Еще был жив и дышал где-то рядом воздухом Москвы сам Маяковский.

Там, на Лосином Острове, Алексей впервые показал свои стихи взрослому другу. Учитель математики П.А. Новиков,

человек музыкально одаренный и добросердечно умный, увидел в мальчике поэта. Тогда появились знаменитые строчки:

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь.

Учитель Новиков был страстным почитателем модного тогда певца Доливо-Соботницкого. Профессор Московской консерватории по классу скрипки, Анатолий Леонидович концертировал как исполнитель народных песен. Он пел также романсы на стихи Андрея Глобы, модного поэта начала тридцатых годов. Алексей с Георгием стали верными поклонниками артиста, и за пять лет не пропустили ни одного его концерта. Малый зал консерватории и зал Дома ученых гудели от оваций, которые устраивали своему кумиру молодые люди. Они забрасывали цветами лосиноостровских палисадников и самого Доливо-Соботницкого, и его пианистку Марию Мирзоеву. Да так рьяно, что артисты скоро уже узнавали своих почитателей и приветствовали их со сцены. Теперь бы их назвали фанатами — впечатлительным юношам нравилась даже то, как щегольски артист носит свою трость и свою снисходительную улыбку, обращенную к многочисленным поклонницам.

2. И снова сестры

Уютная Москва тридцатых со звонкими трамваями, пышной зеленью и вековечным уютом Садового кольца была бесконечно привлекательна для одаренного юноши. На подмостках лучших театров страны играли известные всей стране актеры и актрисы, в садах пели соловьи и певчие люди, музеи влекли своей стариной. Алексей часто садился на паровик и мчался в древнюю столицу за неисчерпаемыми ее возможностями. Тогда он смотрел спектакль К. Финна «Вздор», режиссером которого был будущий его наставник Алексей Денисович Дикий. Может быть, в тот час и зародилась идея поступать учиться именно к этому мастеру. Необычный театральный почерк А.Д. Дикого не мог не пленить ребячески открытого Алексея, который мечтал стать прославленным актером.

А жизнь наращивала темпы, словно подчиняясь требованию человека: время, вперед!.. Тамара Ивановна в шестнадцать лет вышла замуж за офицера и уехала в подмосковное Пушкино. Там

она работала телефонисткой. Детские их с Алешей игры закончились давно и навсегда. Ночные дежурства сестры и ранние, нескончаемые хлопоты по дому сделали ее недоступно взрослой.

Судьба Наталии тревожила и родителей, и Алешу.

Еще до 1935 года ее семья жила спокойно и обеспеченно. Наталия Ивановна продолжала прерванную во время болезни матери учебу, а к мелочам быта приставлена домработница. В квартире за ужином часто собирались люди, пили чай с пирогами, оживленно разговаривали, ужинали. Потом вдруг стало не до пирогов — Виктора Николаевича арестовали с конфискацией имущества. Наталии же Ивановне предложили в 24 часа выехать за пределы Москвы. Так ее повела судьба на печально знаменитый «сто первый километр», в отстойник «антисоциальных элементов». Жилось более, чем трудно. Евдокия Васильевна и Иван Николаевич прятали Ию на Лосино-Островской, не хотели, чтобы девочка попала в детский дом. Сами же они переехали на Ново-Басманную, чтобы сохранить за семьей комнату их несчастных детей: Николая, потом — Наталии. Имущества не стало. На Басманной тогда еще что-то можно было найти от бывших жильцов. Собрали для дочери кое-какую мебель из заброшенных квартир, а то с уличных свалок, которыми еще долго была славна Москва. Нашли на такой свалке железную койку, крепкие еще стулья, притащили продавленный диванчик, старинную вешалку в полстены. Этой вешалкой отгородили кровать, благодаря чему получили спальню и кабинет.

Куда только не писала Наталия Ивановна, чтобы ей разрешили проживание в Москве. Ей помогла Н.К. Крупская, у которой Сталин грозился отнять статус вдовы вождя мирового пролетариата. Сестра вернулась, но очень долго ей не удавалось устроиться работать. Куда ни придет — не берут. От жены «врага народа» шарахались, как от прокаженной. Мужнины знакомые Луковы, что жили на Покровке неподалеку от свекрови, посоветовали:

— Наташа, ты не говори никому, что у тебя муж арестован…

Только смолчав где надо, Наталия Ивановна устроилась в бюро проверки метеорологических приборов. Это была работа со ртутью, которая считалась и являлась вредной. «Вредность» помогала жить: давали бесплатное молоко, премировали продуктами и деньгами.

Потом Наталию Ивановну послали учиться в Ленинград и присвоили ей звание инженера.

Едва оправившись от удара судьбы, она трудно начала привыкать к размеренной жизни. А в 1935 году скончалась

Евдокия Васильевна. Алексею тогда было шестнадцать лет.

На Ново-Басманной

1. Письменный стол

Москва постепенно приучала к себе, «приручала». Пришел срок, и она позвала Алешу, дав ему приют все в том же доме № 10 по Ново-Басманной улице. Когда уезжали с Ново-Басманной соседи, то оставили Севостьяновым большой буфет. Этим буфетом отгородили еще один угол — получилось три комнатки. Одна предназначалась Наталии Ивановне, вторая — шестнадцатилетнему Алеше, третья — Ие. Кабинет был без окна: закуток, в нем — письменный стол и диван. В комнате было всего два окна, одно из них балконное. Это был далеко не тихий уголок столицы. Балкон квартиры располагался прямо над рельсами Курской железной дороги. Паровозы в любое время суток громко приветствовали столичный вокзал зычными гудками. Эти паровозы словно готовили в истории место для образа своих собратьев, которые прибудут на «фатьяновскую» станцию в 1957 году:

Лишь составы идут за составами,
Да кого-то скликают гудки…

На Ново-Басманной выпускник и поэт делил письменный стол с десятилетней племянницей Ией. Стол был маленьким, однотумбовым, его не хватало для двоих. Тогда на него положили большую филенчатую дверь, сверху — прикрыли листом фанеры и застелили сукном. По этому своему столу скучал потом Алексей Фатьянов на фронте. А пока по вечерам присаживались к нему с двух сторон юный дядька и племянница. В одной стопке тесно лежали рукописи, во второй — школьные учебники. В одной тетради появлялись алгебраические уравнения, во второй — поэтическая клинопись чувств и мыслей. Когда девочка шла спать, Алексей располагался свободнее.

В доме напротив, через железнодорожные пути до поздней ночи светилась в чьем-то окне такая же зеленая лампа. По всей вечерней Москве горели тогда одинаковые зеленые настольные лампы… Алеша увлеченно фантазировал о том, что одинокая прекрасная девушка грустит в пустой квартире, ожидая счастливого дня встречи с ним — неизвестным еще поэтом.

Но не только романтические настроения навевала близость большой российской дороги. Однажды Алексей услышал, как на

железнодорожных путях женщина кричала о помощи. Он быстро отправил домой играющих во дворе ребятишек и один поспешил на помощь. Он силой удерживал шпану до тех пор, пока не подоспели вызванные им же милиционеры. Женщина была спасена, обидчики — наказаны.

2. Литератор Толстой

На Ново-Басманной у Алексея появлялись друзья. Он любил приходить в дом в Спасо-Коленном переулке, где жила семья малоизвестного тогда литератора Сергея Николаевича Толстого. Потомок небогатой тверской ветви Толстых, дворянин, человек высокой внутренней культуры, владелец обширной домашней библиотеки, он был на одиннадцать лет старше Фатьянова, но этой разницы не чувствовалось и юноша был в его доме желанным гостем. Домашняя библиотека Толстых, напоминала утраченную отцовскую — Алексей всегда уходил отсюда с книгой.

Сергей Николаевич Толстой, мыслитель, публицист и стихотворец, не печатался в силу своих убеждений. Он был хоть и молодым человеком, но личностью другой эпохи, иного государства, постороннего режиму склада. Все им написанное целых шесть-семь десятилетий находилось «в столе». И только в 2000 году вышел первый том собрания сочинений этого только теперь открываемого нами литератора. Изданием занялась его невестка, филолог, музыкант, семейный архивариус… Будущий ее муж, Николай Сергеевич, тогда, в конце тридцатых, был ребенком. Он помнит, как в дом приходил рослый парень Алеша Фатьянов, просиживал вечера, говорил увлеченно, но сдержанно и ровно, словно сохраняя дистанцию. С отцом они беседовали о литературе и жизни, открыто, не боясь друг друга, высказывались о перипетиях времени. Детская Коли, сына писатели, была вдалеке, в глубине трехкомнатной квартиры. Мальчик прибегал, садился рядом со взрослыми и смотрел, как они спорили, как разговаривали, как играли в карты. Можно лишь предположить, что Сергей Николаевич Толстой мог знать Николая Ивановича Фатьянова, скаута. Они жили рядом, их идеалы совпадали, их объединяла одна уходящая натура любимой эпохи. Будучи моложе старшего брата Алеши всего на 10 лет, мальчиком Сергей Николаевич вполне мог быть одним из юных скаутов-фатьяновцев.

Замечательным человеком в семье Толстых была Вера Николаевна Толстая, старшая сестра писателя. Эта удивительная женщина прекрасной и тонкой души опекала всю семью незримой и ненавязчивой заботой. Ее называли «мама Вера». Мама Вера

любила Алешу и подружилась с его сестрой. Вера Николаевна часто приходила на Ново-Басманную, интересовалась жизнью семьи, поздравляла всех с именинами.

Семья Толстых сохраняли русские традиции.

К Рождеству наряжали елку, на которую тайно приглашались дети друзей и единомышленников. Этот красивый праздничный обычай считался «пережитком прошлого» и мог быть наказуем. Алеша приводил на Елку в Спасо-Коленном переулке свою Ию. Тихонько шли они по морозным, совсем не праздничным московским дворам. Но на сердце было светло и хорошо. На Ново-Басманной, не страшась запретов, тоже наряжали небольшую новогоднюю елочку, которая стояла до Рождества Христова.

Алексей, вопреки столь частой юношеской неразборчивости в привязанностях, тяготел к знакомствам с крупными личностями. Там же, у Курского вокзала, жил Андрей Андреевич Андреев — бывший нарком путей сообщения и рабоче-крестьянской инспекции СССР, секретарь ЦК, действующий депутат, который провел большую работу по сплошной коллективизации и ликвидации кулачества, и как бы являлся прямым врагом «фатьяновского» сословия. Алешу же привлекала воля и целеустремленность этого человека, который начинал свой путь «мальчиком» в одном из московских трактиров. Андрей Андреевич за свою жизнь успел поработать официантом в ресторане «Гранд-отель», механиком на колбасной фабрике. Он лил гильзы к патронам в империалистическую, служил больничным кассиром, а с началом революции в первых рядах участвовал в большевистском движении…

В дом пятидесятилетнего чиновника из высшей советской номенклатуры Алексей был вхож из-за сердечной привязанности. Он был влюблен в дочь Андрея Андреева и Доры Хазан. Его приветливо встречали родители девушки и даже считали женихом. Однако, это увлечение быстро прошло. Коммунистический фанатизм родителей, недостаточно искренняя обстановка в семье, бессознательное, может быть, классовое неприятие оттолкнуло юношу от Андреевой-Хазан. И как-то позже, через полтора десятилетия он проговорился своему другу Сергею Никитину — писателю и дворянину, люто ненавидевшему «вещизм» мещанства, что ему становилось не по себе вдруг среди буржуазного уюта тогдашних «новых русских».

— Каждая вещь казалась мне виноватой в слезах детей… — сказал тогда Фатьянов.

Ему ближе были Толстые, которые во многом повлияли на миропонимание Алексея. Искренняя любовь к России, смелость

выражения своих мыслей, трезвая, мудрая оценка обстановки тех лет — таким было мироощущение Сергея Толстого. Юноша с Ново-Басманной, да еще единицы преданных друзей — вот все, кому он мог доверять. И не ошибся.

3. Старшая сестра

Наталия Ивановна была старше Алексея на 18 лет. Она приняла на себя обязанности его матери. Пришлось ей стать и сиделкой — Иван Николаевич чувствовал себя все хуже. Однажды он слег и оставил работу в Торгсине.

Тогда жесткие тиски бедности стали заметно и неумолимо сжиматься. Молодой разведенной женщине необходимо было кормить двоих детей и пожилого отца. Тогда же в медицинский институт поступил ее двоюродный брат Коля Меньшов. И он тоже жил на Ново-Басманной и привозил из походов в деревню гостинцы: сушеные вишни, сало, варенье. Однако, жили все равно голодно, продуктов не хватало.

— Я хорошо помню, как мама принесет полкило колбасы, порежет, — рассказывает Ия Викторовна о довоенной жизни. — Я пока соображу, что надо взять… А ребята молодые, есть хочется — и тарелка сразу пуста. Я помню, как мы пили чай. У нас были стаканы… Алеша как-то спрашивает: «Что это за стаканы такие?» — словно впервые их увидел. Я говорю ему: «А что стаканы? Стаканы, как стаканы!» Щадя его самолюбие и душевную уязвимость, я не сказала ему, что бабушка подобрала их ни весть где, когда маму высылали из Москвы…».

Наталия Ивановна не только кормила Алексея, она его и окормляла.

Брат всегда делился с нею своими личными переживаниями, показывал новые стихотворения. Эта сыновняя привязанность к сестре сохранилась у Алексея Ивановича до самых последних дней.

— Наталья! Я выучусь и не дам тебе жить в нищете. И в гроб я тебя положу в котиковой шубе! — Говорил он ей среди вопиющей бедности, а она понимающе улыбалась столь галантному обещанию брата. Его искренность часто была вызывающей, доходила до гротеска, дабы то, что он хотел сказать, было услышано. Близким на всю жизнь человеком всегда была Алексею и племянница Ия. В свою очередь он занимался ее воспитанием, помогал разбираться в чтении книг. Он без всякого сомнения будил ее по ночам и читал ей свои новые стихи. На тонком восприятии юной племянницы он испытывал еще и свое мастерство чтеца, проигрывая выученные басни, прозаические

отрывки.

В ту пору Алеша увлеченно готовился к поступлению в театральную студию А.Д. Дикого.

4. Абитуриент

Смущало же Алексея два обстоятельства. Первое — аттестат его был не блестящим. По главным предметам — русскому языку и литературе — стояли тройки. Второе: для поступления не хватало ему двух лет жизни, в студию принимали только с восемнадцати. Он успокаивал себя тем, что даже у Чехова были тройки.

— А насчет возраста — так внутренне я всегда себя чувствовал старше биографии, — оговаривался он на этот счет.

Он и был старше: душа поэта всегда знает о жизни гораздо больше своего возраста. А запись в свидетельстве об окончании Лосиноостровской школы говорила следующее: «Фатьянов выполнял общественную работу по драмкружку и стенгазете, дисциплинирован вполне и проявляет склонность к сценическому искусству». Отцу, Наталии Ивановне, Ие, нравились его голос, дикция, мимика. Вдобавок он был просто красивым парнем, имел в плечах сажень и в глазах — все богатство души. Близкие уверяли его, что он поступит в студию. А Иван Николаевич, сам по складу своему человек артистичный, видел в сыне состоявшегося себя. И говорил: «Алеша у меня будет известным человеком».

Он был уверен, что сын станет как минимум народным артистом, и его ждут успех и слава.

Никто не мог предположить, что парень станет народным поэтом.

К будущему абитуриенту приезжали на паровике друзья из Лосинки — студенты Виктор Шеманский, Георгий Глекин и хозяйский сын Вячеслав Марков. Алексей демонстрировал им свое актерское мастерство, а в паузах читал стихи, появившееся за последние ночи. Они слушали эти стихи и, как непревзойденные знатоки поэзии, давали советы, хвалили или безжалостно критиковали сочинителя. Алексей тоже часто ездил в Лосинку, скучал по товарищам. Чтобы уж наверняка быть уверенными в актерской состоятельности друга, они пригласили авторитетнейшего критика — студента театра-студии Николая Волчкова «посмотреть» абитуриента. Этот предварительный экзамен проходил в дачном саду Марковых и был выдержан блестяще. Коля сказал пророческие слова:

— Алеша, у тебя есть талант. Ты будешь знаменит. Дерзай!

Школа А.Д. Дикого

1. Атмосфера школы

Заметный юноша с броской внешностью, богатырь «володимирской породы», очаровал приемную комиссию. Без труда поступил Алексей в театральную школу при театре ВЦСПС, которой руководил А.Д. Дикий. До 1935 года, когда в нее поступил Фатьянов, школа называлась музыкально-литературной студией А.Д. Дикого.

Занятия проходили в двухэтажном клубе деревообделочников, в Бобровом переулке. Это было по-своему символично. Потому что «первоклассники» были еще не актерами, а лишь одушевленным пластическим материалом, из которого мастерам предполагалось вылепить актерские судьбы. Среди преподавателей, по мнению студийцев, были олимпийцы. Молодые Иван Романович Пельтцер, Константин Федорович Кочин уже тогда были знамениты. А прежде них, в бытность школы студией, в ней преподавали В.О. Топорков и К.С. Станиславский. Среди старших студентов были П.М. Ершов, Л.Н. Горячих, А.В. Миропольская, О.П. Солюс, А.Г. Ширшов, О.И. Якунина, С.И. Якушев. Георгий Павлович Менглет, поступивший в студию годом раньше Фатьянова, в первых же постановках получил главные роли — Любовника в спектакле «Ревнивый старик», Сервантеса и Сергея в «Леди Макбет Мценского уезда» по очерку Лескова в постановке Дикого.

Алексей Денисович Дикий был известен нашумевшими спектаклями «Человек с портфелем» А. Файко, «Первая конная» Вс. Вишневского, «Вздор» К. Финна, «Интермедии по Сервантесу», среди которых — «Саламанская пещера», «Ревнивый старик», «Два болтуна». Это были спектакли, направленные на раскрытие человеческой психологии при помощи яркой красочной театральности. Смелый режиссер, если это слово применимо к той эпохе эксперимента, был кумиром театральной молоди. Он не презирал традицию, но и желал на сцене видеть новое, уверенно вплетаемое в традицию. Это «новое» и было — «свое». Его принцип «идите нехоженными путями» действовал на начинающих актеров, как огонь на сухие березовые дрова. Студенты горели театром, зачарованные творческой манерой мэтра, они дорожили своим положением учеников этого буяна и ниспровергателя. Революционно гротескный Мейерхольд, маэстро светотени Таиров, сам Станиславский в их глазах бледнели перед

авторитетом Дикого. В год учебы Алексея Фатьянова Дикий ставил спектакли «Девушки нашей страны», «Матросы из Катарро», «К вершинам счастья», «Глубокая провинция». Звучные, новые названия пьянили и будили творческий полет. Алексей вместе с другими второкурсниками выходил в массовках на большую сцену. Он приобщался к сценической жизни актеров.

Поздно вечером, приходя из театра, молодой актер присаживался к письменному столу. Если не читал и не работал, то весь принадлежал домашним. Любил поспорить, особенно на театральные темы. И всегда оказывался прав, он просто не мог не победить в споре. Ия и Наталия Ивановна иногда вызывали его на турнир: они играли в слова. Алеша вступал в соревнование увлеченно, как будто доказывал, кто знает больше всех: «Ну, что я вам говорил?». Конечно, он всегда выигрывал.

2. Предощущение песни

Он по-прежнему ходил на концерты Доливо-Соботницкого со старыми друзьями. В компании появлялись девушки. Знакомые по театральному классу еще с Лосинки актрисы Ирина Сафонова и Галина Степанова теперь были однокурсницами Алеши. Часто они бывали на концертах вместе, и нам сегодня можно лишь предполагать: могло ли горячее сердце поэта оставаться равнодушным к девушке, сидящей в соседнем кресле партера. Да и какой юноша исподтишка не любовался золотистым профилем юной театралки, не восхищался хрупкостью ее запястий и глубиной взора? Кто не открывал себе женской красоты впервые, будто проснувшись, вглядевшись в черты знакомого лица, показавшегося вдруг божественно прекрасным?

Однажды он взял с собой племянницу Ию на спектакль «Глубокая провинция» по пьесе Михаила Светлова, а в антракте познакомил ее с автором. Девочка запомнила ощущение общения со знаменитостью на всю жизнь. Алексей пришел по личному приглашению поэта, чем гордился. Он любил стихи Светлова, восторгался его личными качествами.

— Это — личность! — взволнованно говорил он, и рысьи глаза его вспыхивали и зелено мерцали, когда он читал: — «… Отряд не заметил потери бойца и «Яблочко» песню допел до конца…»!

В тридцатые годы Алексею Ивановичу особенно близка была поэзия Михаила Исаковского. Это время вознесения Уткина, Безыменского, Жарова, Багрицкого, время обэриутов и прочих конструкторов-дизайнеров, перманентных революционеров. А у него, у бурного юноши, свой царь — Исаковский! Он был покорен

простотой ясных и певучих стихов. Ощущение, что они были всегда, просто росли где-то в лугах и садах, словно были плодами самой природы, а не ума человеческого, не давало покоя Фатьянову. Он хвастался ими, как своими, читал знакомым и радовался. Это были настоящие русские стихи, идущие от традиций Пушкина и Некрасова, гениальные в своей простоте. Пожалуй, еще тоньше Исаковского сумел Фатьянов выразить движения вечно тоскующей по утраченному дому русской души — спокойной соловьиной души замиренного ненадолго военного времени. Жаль только, что Исаковский не разглядел в Фатьянове этих достоинств. На одном из послевоенных семинаров Литературного института стихи песни «Соловьи» он назвал «мурой», за исключением двух строчек. Порадоваться удаче собрата — это, видимо, тоже особый дар…

3. Хлеб насущный

Алексей успевал везде. И сегодня нам можно лишь восхищаться тем, что всюду, даже у себя дома, он был всегда подтянут и опрятен. Никто не должен был знать, как трудно ему это давалось. И только маленькая Ия видела это и молча страдала вместе с ним и за него. Она была влюблена в своего дядю, как в лирический образ, и по-женски детским своим сердцем чувствовала его. Уже постаревшая эта девочка рассказывала мне о юношеских днях Алексея, и в словах ее и интонациях сквозили любовь и сожаление:

— Бедный гардероб, скудная еда повергали его в уныние, уязвляли бывшую в его характере барственность. Ему хотелось делать красивые жесты, бросать цветы к ногам театральных знаменитостей и хотя бы изредка угощать красивых женщин чашечкой кофе, а близким — дарить все, чего их душа возжелает. Но его представления о жизни никак не вязалось с внешними обстоятельства. Он был широким человеком… Пытался подрабатывать, но «массовочные» копейки не могли спасти положения. Он страдал…

Я сам починял ботинки
И ставил на брюки заплаты
И, чтоб не заплакать от горя,
Читал юмористов на сон… —

пишет юный Алексей в стихотворной повести «Этапы», конечно, про себя. Светло-серый костюм, единственный в его

распоряжении, носил на себе те щемящие знаки бедности, которые так мешают вести себя в обществе свободно, каким бы ты ни был выдающимся поэтом, артистом или философом. Единственные парусиновые туфли столь же красноречиво рассказывали о материальном положении их обладателя. Иногда Алеше приходилось сидеть дома оттого, что он выстирывал костюм и ждал, пока ткань высохнет. Глотнув унизительной нищеты в молодости, после он никогда не копил денег и не откладывал «про черный день». После войны его можно было назвать и щедрым, и расточительным. Бедность его угнетала. Казалось, всю свою недолгую жизнь он воевал за деньги, но против них…

Неожиданные перемены

1. В Театр Красной Армии

Шел 1936 год. Однажды Алексей пришел на репетицию в школу актерского мастерства, но оная не состоялась за отсутствием самой школы. Всего за одну ночь ее не стало. Театр ВЦСПС — закрыт. Дикий спешно уехал из Москвы.

— Куда «уехал»? Уехал или «уехали»? — волновались студенты, опасаясь, впрочем, высказываться публично. А вскоре выяснилось, что Алексея Денисовича перевели в Ленинград, в Большой драматический театр. Тогда многие его ученики устремились за ним. Алексею не позволило уехать безденежье. Судьба уберегла его от скитаний по богемным закуткам Ленинграда. В 1937 году Дикого все же арестовали. Его студийцы разбрелись, кто куда. Г.П. Менглет, например, уехал в Таджикистан с намерением там создать школу вроде театра-студии Дикого. Все актеры, воспитанные Мастером, хранили ему преданность и искренне любили своего наставника. Освободили же Алексея Денисовича лишь в 1941 году, когда на отечественных киностудиях начались съемки серии патриотических фильмов. Так получилось, что кроме А.Д. Дикого некому было играть великих — Нахимова, Кутузова, Сталина. А в 1949 за исполнение этих ролей он получил звание народного артиста СССР.

В 1936 году Алексей вместе с курсами театра ВЦСПС перевелся в театральную студию при Театре Красной Армии. В 1935 году его возглавил пришедший из театра Революции Алексей Дмитриевич Попов, с именем которого связан расцвет Театра Красной Армии. С 1934 года начали строить новое здание по проекту архитекторов Каро Алабяна и Василия Симбирцева… Этот фейерверк архитектурной фантазии должен был стать новым чудом света. Самый крупный театр в Европе строился в форме гигантской пятиконечной звезды, на плоской крыше «звезды» должны были бить фонтаны, цвести сады, возвышаться фундаментальные скульптурные группы. Но в 1937 году строительство нового театра «заморозили», поскольку все средства стягивались к другой архитектурной затее. На месте взорванного храма Христа Спасителя спешно строился дом Советов, который, как прорва, поглощал новые и новые вложения. Но новостройка стала невезучей, громадное здание с громоздкой скульптурой Ленина вместо крыши так и не появилось. И театр стали достраивать, правда, только после гневного письма

Ворошилову главного режиссера, А.Д. Попова. Государственным бюджетом был выделен миллион на завершение начатого сооружения. Торопливо сворачивая стройку к 1940 году, его авторы и воплотители лишились чудесных садов, двадцатиметровых фонтанов и романтически задуманных скульптур. Здание подвели под пятиконечную крышу. На том и закончили.

Но тогда, в конце тридцатых, актеры и репетировали, и выступали в Центральном Доме Красной Армии.

2. Актер или поэт?

Трудно было Алексею притерпеться к ровному и с виду обычному Попову после взрывоподобного искателя Дикого. Алексей к театру охладел.

Он играл небольшие роли, по-прежнему участвовал в массовках. В спектакле «Полководец Суворов» у него была роль Милорадовича, в «Воспитаннице» А.Н. Островского — барского сына Леонида, в пьесе по рассказу А.М. Горького «Мальва» он играл Сережу. Но прежнего знобящего волнения Алексей не чувствовал. Он скучал по общению с Диким.

В эти дни он старался подольше оставаться за письменным столом. Тетради пополнялись новыми стихами, и не только стихами. Он пробовал писать пьесы, сочинял газетные статьи и стихотворные фельетоны, мечтал стать автором замечательной поэмы, и в юности написал их пять. Среди них — поэмы «Заречье», «Лирические отступления», которые вошли в «Избранное» поэта.

Он откровенничал с отцом и Наталией Ивановной о том, что поэзия его увлекает все больше, а театр остается в стороне. Простой карандаш и общая тетрадь с той поры стали его постоянными спутниками. Даже когда появились ручки-самописки, он не изменил своей привязанности. Он взрослел и понимал, что он — поэт.

Алексей, при всей его любви к творческой Москве, не чувствовал себя «законченным» москвичом. Нередко, изнуренный торопливой жизнью большого города, он начинал тосковать по родным местам, друзьям, по Клязьме, вишневым улицам старых Вязников. Приезжая на несколько дней в гостеприимный дом Меньшовых, он рыбачил, отдыхал, набирался сил. Он ходил по Петрину и Вязникам в летнем белом костюме, красивый, высокий, импозантный. Над ним посмеивались: «Мотылек подкормиться приехал»! Но мальчишки были от Алеши в восторге, они ему подражали. За ним бежали гурьбой в городской сад, где в

сумерки назначались свидания. Приезды молодого актера были сравнимы в мальчишеском понимании разве с памятным приездом в Вязники Ворошилова. Было это в 1936 году, во время маневров. Все слои населения, и стар и млад, высовывались в окошки и смотрели, как внизу идут стройными рядами красноармейцы, браво замыкая шеренги лошадей, пушек, танков… А потом был банкет. Деликатесы подавали на парадной посуде из особняков бывших фабрикантов. Потом эту дорогую и по-своему уникальную посуду разворовали, рассовали по вещмешкам и списали, как побитую. Приезд Ворошилова, как всякое выдающееся событие в небольшом городке, стал для него и праздником, и бедствием.

Приезд Алексея так же волновал и будоражил город. Все владимирские, с которыми доводилось Алеше встречаться в Москве, становились его друзьями. В ТКА он познакомился с земляком Константином Панфиловым. Константин жил неподалеку от ипподрома, в доме на Беговой, где часто появлялся Алексей. Мать молодого человека была покорена ярким, воспитанным юношей, который был любезен, прост и необычен. Молодые артисты вместе ездили в Жуиху, где у Константина была дача. Там они варили уху над ночным берегом озера Бубнова, наслаждались порой сенокоса, уходили в лес по грибы.

Под летним небом Жуихи Фатьянов писал стихи, а Панфилов, боясь потревожить Музу приятеля, следил за ухой.

Критики говорят, что есть поэзия души, поэзия сердца и поэзия духа. Если им верить, то стихи Алексея тридцатых годов, вероятно, полностью подходят под определение поэзии юного сердца. Несчастная любовь, «горечь первой папиросы», слезы оставленного любимой матроса, глоток заздравного вина, радостное парение первых самолетов — вот круг его тем, уже напоминающих городские сентиментальные песни.

Несколько раз встречается в стихах тех лет образ философски настроенного мужчины с курительной трубкой и собакой. Небольшие опыты со злободневной патриотической лирикой были вялыми и, видимо, не вызывали у автора настоящего интереса. Но тогда же, казалось бы, легко образовывались стихи простые, музыкальные, общедоступные, традиционно настроенные, и уже несли в себе песенную, фатьяновскую интонацию.

Ия Викторовна Дикарева вспоминает, что тогда Алексей высоко чтил Маяковского. Ему нравилась отрывистая четкость фразы Владимира Владимировича, громогласная смелость и афористичность. И тогда же он начинал распознавать свою близость с творчеством любимого им поэта — Сергея Есенина.

3. Выпускник

В 1937 году утвердились слухи, что посадили А.Д. Дикого. Москва вела жизнь разную и разнообразную. Кто-то учился, кто-то веселился, кто-то плакал. Ходили слухи о том, что в роддомах ослепляют русских мальчиков, закапывая им в глаза смертельно опасные лекарства. Торжественно открывался Волго-Московский канал, поглотивший тысячи жизней советских заключенных. Шли по каналу пароходы в ярких лентах, девушки бросали букетики в воду «на счастье». Под землей бежали новенькие поезда метро, очередного чуда света, чуда под чудом — художественного метро под Москвой. В глазах некоторых идеалистов это выглядело, как приукрашивание ада. Далеко от Москвы, на российских окраинах намывали золотой песок раскулаченные крестьяне с безотрадной перспективой пожизненной каторги. Их, валившихся замертво в открытые мерзлотные шурфы, никто не считал. Шло в свой крестный путь священство.

В 1937 году от сердечной болезни скончался Иван Николаевич.

Благодаря своевременному бегству из Вязников, умер благочестиво, собственной смертью. Восемнадцатилетний Алеша остался круглым сиротой. Наталия Ивановна и Ия стали ему еще ближе.

В этом году Алексей заканчивал театральную школу ЦТКА. Как лучший выпускник, он был командирован с театром на Дальний Восток. Летом он побывал в Одессе, возможно, в гастрольной поездке. 5 июля 1937 года Алексей Фатьянов написал своему другу Георгию Глекину открытку следующего содержания:

«Егор! Разреши приветствовать тебя от имени бродяги. Непоседы. Одесса, я тебе доложу, город архаический. Слова русского не услышишь, хоть лопни. Даже мат, исконный русский мат, с вывертом произносится. Одесситы, я тебе доложу, нация великолепная. Море тут плещется под самым носом, а все же к родной березке и к гари болот тянет. Скоро в Москве буду, к тебе загляну. Каков стал молодец Егорушка выглядеть. Будь здоров. Алеша».

Теперь лежал перед ним путь на самую далекую, восточную окраину России.

Он впервые отрывался так далеко от дома. Театральная труппа оживленно прошла по Казанскому вокзалу, рядом со студентами несли свои дорожные чемоданы корифеи. С блаженной тревогой, вечной предтечей дальних путешествий, сели в купе вагонов. Качнулся вагон и поплыла Москва за

широким окном купе, и колеса стали отстукивать километры по стыкам великой Транссибирской магистрали. За почти двухнедельный путь на Дальний Восток Алексей видел сквозь окно немало российских городов и весей, пронзительно родных даже далеко от дома. О том, как ехали в поезде, он написал в дороге стихотворение «Товарищи едут в Комсомольск», которое тут же и прочел спутникам. Одобряя отзывчивость молодого актера, старшие решили попробовать «выпустить» его на сцену, как поэта.

Первым пунктом их гастролей был Комсомольск-на-Амуре. Потом — Хабаровск. Побыв там какое-то время, актеры сели на пароход, который величественно пошел по водам Амура. Театр вез спектакли пограничникам. Им первым Алексей читал со сцены свои стихи.

Первые гастроли

1. Письма Алеши

«…Мы делаем громадное дело, Егор. В праздники мы обслужили концертами пограничные, самые отдаленные точки, там никто не бывает… И ты не можешь себе представить, как тепло, с какой радостью встречали нас бойцы, люди, которые редко смотрят кино, не говоря о театре, ибо они сторожат нас, обеспечивая нам спокойную работу», — писал Алексей своему другу Георгию Глекину из Уссурийска 20 ноября 1937 года.

Земля, по которой в представлении людей с материка колесили на танке «три танкиста, три веселых друга», действительно, не была избалована посещениями артистов. Здесь уже к ноябрю окончательно утвердилась зима. В такую пору в дальневосточных городах на улицах — ушанки, тулупы да валенки, да скрип снега под ногами.

Актеры переезжали из городка в городок, останавливались в скромных, промерзших гостиницах. Оттуда их возили в машине на отдаленные точки погранзастав. Проезжая по заснеженной тайге, привычные к ограниченному городскому пространству люди словно исцелялись, вбирая просторы иного неба, тучную красоту приморских сопок. Они своими глазами видели службу пограничников в этом субтропическом поясе России, где каждая царапина на живом человеческом теле превращается в долго незаживающую рану. Еще не грянул, но уже зрел конфликт на озере Хасан. Артистов интересовал конфликт как суть спектакля, а театральная кульминация казалась отражением житейских коллизий…

В спектакле «Лес» Алексей играл Петра, Ольга Столярова — Аксюшу. Вместе они играли и в «Вассе Железновой». Ольга была старше на курс. Алексей был влюбчив, и легко очаровывался актрисами. Его чувства выливались в стихи. Несмотря на несовершенный командировочный быт, он безукоризненно следил за своей внешностью и одеждой, черный зимний костюм соблюдал в безупречной чистоте. Старшие замечали, что парень для своих лет довольно образован и зрел. Молодые женщины обращали на него высочайшее внимание старших актрис. Алексей отшучивался:

— Я — всего лишь профессорский сынок-лоботряс, начитавшийся книжек…

Многие и впрямь его считали сыном профессора. Среди

актерской молодежи организовывались вечера танцев. Алеша танцевал браво, как юнкер. Какое-то время стояли во Владивостоке. Актеры и актрисы жили в разных гостиницах. Вечером они валились с ног от усталости после мучительных пограничных переездов. Соседи Алеши удивлялись тому, что он по ночам не спит — сочиняет, читает. Почему-то ходил среди актерства такой слух, что у Алеши — больное сердце.

Это я слышала неоднократно и от других людей, которые утверждали, что все Фатьяновы были сердечниками.

Без пяти минут профессионалу Алексею Фатьянову здесь было хорошо. Он чувствовал себя самостоятельным человеком, уехал от стеснительного положения бедного студента, вдобавок, здесь ему часто везло с одноместными номерами. Стихи, написанные по ночам, он читал в концертах и познал уже волнение от аплодисментов, адресованных только ему одному. Стремясь поделиться радостью своих творческих, похожих на праздники, буден, Алеша продолжал писать своему другу Георгию письма.

«Сейчас ночь… В окно заглядывает большеголовая луна. Я сижу на столе и пишу стихи, стихи о жизни, о любви, о счастье, простом человеческом счастье. И я не испытываю знакомую тебе радость, радость художника, когда он творит без мучений и потуг. Творит легко, словно нижет нити, золотые нити, брильянты чудесных слов. И вдруг странное ощущение: словно в сердце ставят перегородку. Хочется сказать что-то большее, что-то очень близкое, но нет слов, нет таких бриллиантов на дне моей души. Нет, нет, это ужасное чувство. Я мечусь по комнате и ищу нужные слова. Я устал, очень устал.

Несколько часов тому назад был вечер. Легковая машина мчала меня по тайге, выкраивая светом ослепительных фар столетние деревья и мелкие, еще не привыкшие жить кусты из таежного вечера. Рдеет тайга, вдали огни… граница… Радостные возгласы и возбужденные лица встречающих. Я в зале. Зал… Пахнет свежим деревом и только что вымытым полом. Четыре окна. Сотня лиц. Читаю стихи… Много читаю. Долго, долго доносятся аплодисменты и крики. Подходит боец. Жмет руку. Ищу глаза. Рука ощущает сверток… Губы раскрывает улыбка: «Стихи. Мои.». И вот сейчас передо мной листки бумаг. Читаю. Оживают слова. Слова теребят сердце, теребят душу, задевают за живое, простые хорошие слова…»

Это письмо написано в Хабаровске 14 января 1938 года.

Его письма к Георгию были пространны и подробны. Алексею хотелось поговорить, рассказать о своих впечатлениях.

Томительное одиночество его продолжалось недолго. Скоро

появились новые знакомые.

2. Знакомство с поэтами Дальневосточья

Алексей Дмитриевич Попов был доволен молодым актером. При случае он упоминал о нем, как об одном из лучших. Обаятельный парень, пишущий стихи, по-хорошему озорной, благородный и старательный не мог не вызвать добрых чувств. Он был самым молодым в труппе, а нагрузку в концертах нес за двоих. Алексей Дмитриевич познакомил Алешу с молодыми поэтами Дальневосточья. Добрый внимательный режиссер, верно, чувствовал, что парню узок круг общения. Так Алексей познакомился со сверстниками-стихотворцами, среди которых оказался Евгений Долматовский. «Мы моментально, как это бывает только в юности или вдали от дома (а тут переплелись оба эти обстоятельства), подружились, и уже подразумевалось само собой, что наш дальнейший литературный путь един и неразлучен…» — вспоминает Евгений Аронович в своей книге «Было», в очерке «Алеша Фатьяныч».

В краевом отделении Союза писателей на Комсомольской улице Хабаровска молодые литераторы рассматривали столичного гостя. Он пытался показать себя весьма значительной персоной, но дальневосточники живо осадили его — им и самим было чем похвалиться. «Да и он по простоте душевной забыл, что собирался задирать нос. Фатьянов признан был «своим в доску» и уже тоже считал себя дальневосточником», — вспоминает Евгений Аронович Долматовский. Среди прочих Алексей декламировал стихотворение «Настя».

Начитанные товарищи высказались в том духе, что похожие стихи уже есть у Бориса Корнилова и Павла Васильева, и ни к чему было развивать уже раскрытую тему Насти. Стихотворения Фатьянову было жаль, отказаться от него он не смог, но согласился «убрать» название.

Алексей подружился с молодыми поэтами. В те дни, когда он не был занят в спектаклях, приходил в писательскую организацию. Там он незаметно стал властвовать благодаря своему неиссякаемому родниковому дружелюбию. Бывало, он приночевывал на диване, обтянутом облупленным, как мальчишка от загара, дерматином. Прежде на этом новом диване проходили редакционные летучки журнала «На рубеже». Но журнал был закрыт, как и многие другие издания тех лет.

С Евгением Долматовским Алексей Фатьянов ездил выступать перед пограничниками самого тяжелого участка. Это были места, сопредельные самурайской Маньчжурии. Алексею выделили

полуторку и поручили самому отобрать бригаду. Он был важен и горд этим обстоятельством, и царственно пригласил Евгения составить ему компанию. Проезжая от заставы к заставе, артисты чувствовали, что их там ждали, как теплую связь с Большой Землей. Заснеженные же склоны дальневосточных сопок таили непрестанную тревогу и глубинный холод близкой чужбины.

Спустя годы оба поэта написали по стихотворению о той поездке. Евгений Долматовский сказал о концерте так:

Дездемоне, пожалуй, не снилась
Ночь такая и Дальний Восток,
И что два отделенья влюбились
В чуть охрипший ее голосок.

В 1945 году у Алексея Фатьянова появились строки:

Первой роте сегодня ты ночью приснилась,
А четвертая рота — заснуть не могла.

Встретившись в том же году в Центральном Доме литераторов, Долматовский и Фатьянов пожали друг другу руки, приятно пораженные общим поэтическим ощущением довоенной юности.

Восемь месяцев длились гастроли по Дальнему Востоку. Прочувствовали молодые актеры на себе не только льдистый воздух амурской зимы, но и летний пик солнца, которое в тех краях иногда жарит по-африкански. Увидели они, как сказочно расцветают багульником сопки, как властно прибывает вода в половодье и крушит все на своем пути. Они дышали ароматами луговых жарков и тюльпанов.

Алексей осваивал военно-пограничную тематику, но все равно это была лирика. Он писал стихи о цветущих садах и свиданиях.

Перед призывом

1. В творческой Москве

Вернулся Алексей исхудавший, повзрослевший, более уверенный в себе, как поэт.

— Я стал профессиональным актером «третьей категории третьей группы», так здесь написано! — потрясал он в воздухе аттестатом перед счастливыми домочадцами. — Успеваемость признана хорошей! В чем и подписался сам Попов. И это еще не все — благодарность за спектакль «Голуби мира» и дальневосточные гастроли! А вы меня держали: «куда ты едешь, одумайся»… — Говорил он после своего возвращения восторженно притихшим Ие и Наталии Ивановне.

Тогда же Николай Погодин написал для театра ТКА пьесу о пограничниках «Падь серебряная». Актерам не нужно было мучительно вживаться в образ — помогла восьмимесячная чреда общения с хранителями государственных границ. Фатьянов играл в спектакле роль комбата Борисова. Венный китель, пилотка необыкновенно шли к его лицу. Алексеем любовались и зрительницы, и привычные ко всему актрисы.

Евгений Долматовский, приехав в Москву, написал к спектаклю песню на музыку Константина Листова. Исполнять ее поручили Алексею, ведь пел он прекрасно. Евгений приходил и садился в зале, ожидая, когда прозвучит его песня. И тогда Алеша подтрунивал над ним — придумывал свои строчки, по-свойски импровизируя текст. Возмущенный Долматовский приходил в гримерку, начинал было выяснять истину, но встречал наивное удивление. Алеша простодушно уверял, что пел так, как написал автор, ничего не изменяя. Евгений Аронович признавал, что Фатьянов песню не портил, а баловался, как богатырь, играл силой. Он любил розыгрыш, но никогда смех его не становился злым. Зато сам мучительно переживал обиду. От дружеской эпиграммы у него могло подняться давление, шли в ход валерьяновые капли и примочки. Тогда незадачливые обидчики переживали и кляли себя за то, что нарушили благодушие этого большого, доброжелательного, веселого богатыря.

Два года еще поработал Алексей в театре ТКА. За это время он сблизился с московскими литераторами. Все чаще он приходил в Дом литераторов. Тогда вошли в моду субботние вечера отдыха, куда писатели приходили со своими друзьями. Алешу часто можно было увидеть за столом в уютном зале, в

компании студентов литинститута. Как всегда, он оживленно спорил, непринужденно курил трубку, держался завсегдатаем. Горел камин, поскрипывала дубовая лестница, люди по-клубному общались. Михаил Матусовский, Лев Ошанин, Павел Железнов, Борис Мокроусов, Ирина Донская — эти люди входили в окружение молодого Фатьянова. Особенно он дружил с Матусовским, Мокроусовым и женой режиссера Марка Донского — Ириной. Молодая женщина была автором пьес и сценариев. Она заметно нравилась юноше. А юноша подражал Есенину. Стихи поэта казались ему гениальными, его облик — идеальным. Пшеничный чуб, вишневая курительная трубка, свободный светлый костюм, ночные бдения в кругу друзей, где читаются стихи и говорятся высокие вещи — таким был 19-летний Фатьянов. Возможно, Ирина Донская казалась ему его Асейдорой Дункан.

2. Встреча в поезде

29 августа 1939 году у Фатьянова произошла встреча, о которой вряд ли он вспоминал после. Это был один из рядовых дней и одна из рядовых встреч его жизни, но тем она и примечательна для нас.

Алеша ехал из Вязников в Москву. Этим летом он сфотографировался с вязниковскими девушками на поляне. Пожелтевшие фотографические карточки донесли до нас приметы солнечного дня, улыбки двух нарядных девушек, легкий полевой ветерок, беззаботное выражение лица поэта, поглощенного счастьем взрослого бытия… Кончалось лето, и он уезжал на сезонную службу в театр со станции Мстера. Наверное, он волновался, припоминая облик одной из подружек…

На станции случилось небольшое происшествие. Паровик остановился, и вагон стали штурмовать желающие уехать. Фатьянов заметил стоящих в отдалении двух девочек, вчерашних школьниц, растерянно поглядывающих на штурм вагона. Огромные, неподъемные для девчушек чемоданы красноречиво говорили о том, что юным пассажирками уехать не суждено. Алеша, пользуясь своим богатырским ростом, растолкал толпу, выскочил на перрон, схватил оба чемодана и через головы толпящихся поставил их в тамбур. Каким-то чудом и девочки вдруг попали в вагон. Алеша усадил их рядом с собой, на свободные места.

Это были шестнадцатилетняя Марианна Модорова и ее подруга. Девочки ехали в Москву поступать в артистки. Это была единственная встреча Марианны Федоровны с Фатьяновым. Кто

бы мог подумать, что она станет ближайшей подругой его вдовы?

Всю дорогу от Мстеры до Москвы разговаривали. Поезд был паровой, шел долго. Алексей угощал соседок большими яблоками, рассказывал, что едет из Вязников, что такие яблоки растут в саду его тети Капы.

Разговорившись, он отрекомендовался поэтом, членом союза писателей. Заметим, кстати, которым он не был. Поняв, что девушки увлечены театром, он показал свои богатые познания в этой теме. Рассуждал о театральной жизни Москвы, кумирах и новых спектаклях, но не признавался в том, что он — актер. Юные пассажирки удивлялась, как он хорошо и много знает… Алексей рассказывал о личной жизни режиссера Юрия Завадского, чем очень заинтересовал любопытных мечтательниц. Тогда Завадский расстался со своей первой женой Верой Марецкой, которая играла Лизу в «Горе от ума». Алексей высказался в том роде, что эта роль была ею сыграна неспроста: «она вышла замуж за буфетчика Петрушу». Девушки постеснялись спросить, а как это получилось, что это она за буфетчика вышла?!..

Кроме того, что он член союза писателей, Фатьянов приврал, что он богат, женат, и чемоданы его жены лежат на верхней полке. Такое необязательное, детское вранье было ему свойственно и в зрелости.

Одет он был очень хорошо, как настоящий писатель и джентльмен. На нем были модные серые брюки в полоску и вискозная полосатая сорочка зеленовато-серых тонов, хорошие ботинки. Видимо, одежду он купил во время гастролей на Дальнем Востоке. Там все можно было купить на заработанные выступлениями деньги.

Больше всего говорили о литературе. Алексей признался, что любит Льва Толстого. Он рассказывал, как читал «Войну и мир»: в первый раз — исключительно о войне… Марианна постыдилась признаться в том, что она как раз наоборот — читала все о мире, а о войне — пропускала. Потом он сказал, что его любимое место в «Войне и мире» — гибель князя Андрея во время Аустерлицкого сражения. «…Над ним не было ничего, кроме неба. Высокого неба, неясного, но все таки неизмеримо высокого с тихо ползущими по нем синими облаками», — когда Марианна училась в театральном училище, она зубрила именно этот отрывок. «…Он лежит и видит, как французский и русский солдат тянут банник в разные стороны», — репетировала перед зеркалом слова, которые полюбила благодаря своему попутчику.

3. Повестка

Москва становилось своей.

В ней были похоронены родители, подрастала любимая племянница, дом на Ново-Басманной оживлялся присутствием друзей. Как-то раз в предвоенном 1940 году Наталия Ивановна открыла почтовый ящик и увидела повестку военкомата. Отчего-то у женщины сжалось сердце. 21-летний молодой человек был уже вполне самостоятельным мужчиной, сам зарабатывал на жизнь и сам думал о дальнейшей своей судьбе. Служба в армии не казалась опасной в мирное время. Но предчувствия войны уже тревожили материнские сердца. По радио звучала бравурная музыка. Броня представлялась крепкой, и танки — быстрыми. Но чуткие женщины смотрели на своих мужей, сыновей и братьев так, словно прощались с ними…

Армия

1. Елецкий полк

В армию Алексей был призван в 1940 году, и уходил в нее с Ново-Басманной. Вместе с другими призывниками он был привезен в Елецкий полк железнодорожных войск Орловского военного округа. Этот совершенно мирный городок славился кружевоплетением и другими народными промыслами. Из открытых окон деревянных светелок доносился постук можжевеловых коклюшек, в палисадниках тяжело клонили головы первые майские цветы. Позже по нему прокатится жестокая война и тысячи бойцов навсегда склонят головы на этих черноземах. А пока живописный Елец даже в самых суровых сердцах будил лирические настроения. Городок гордился своим юным гением Тихоном Хренниковым. Сын чиновника, мальчик только десяти лет отроду увидел пианино. Но талантом, старанием и усидчивостью он достиг больших высот. В двадцатые годы на премьере оперы молодого композитора «В бурю» стоя ему аплодировал сам Сталин.

В военном городке была организована полковая художественная самодеятельность. Весьма кстати оказался здесь рядовой Фатьянов.

В окружном центре — Орле — был собран ансамбль песни и пляски округа, где проходили службу талантливые красноармейцы. Время от времени «на охоту» за новыми дарованиями выезжали руководители ансамбля. Ведь это армия — кончается срок службы, и солдаты демобилизуются, и недостающих артистов нужно кем-то заменить.

В такую «поисковую» командировку были посланы военнослужащие артисты. В число «искателей» попал красноармеец Алексей Подчуфаров. Занимаясь с артистами художественной самодеятельности Елецкого полка, он познакомился с Алексеем. Руководитель ансамбля Марк Блюмин, взглянув на талантливого парня, начал хлопотать о переводе его в Орел. Не прошло и трех месяцев с призывного мая, как Алексей оказался режиссером-постановщиком Окружного Ансамбля Орловского Военного Округа.

2. Артист Орловского Окружного Ансамбля

Его поселили в комнате с тезкой Подчуфаровым, как старого

знакомого. По ночам, бывало, просыпался он, а новичка в комнате не было. Нетронуто лежало казарменное суконное покрывало, белела наполеоновской треуголкой взбитая подушка. Потихоньку Подчуфаров входил в ленинскую комнату и видел дым коромыслом. Как в тумане, просматривал он сидящего за столом Фатьянова, который непрестанно курил и сочинял литературно-музыкальные монтажи для ансамбля, и, конечно, стихи. Эти стихи часто стали появляться в окружной военной газете и в областных «Орловской правде» и «Комсомольце». На девяносто процентов программы концертов состояли из его произведений. Алексей сам читал стихи, пел, вел концерт. Вдохновенно и радостно, он работал «на износ».

Традиция вести армейские альбомы и записи, наверное, завелась с тех пор, когда солдаты стали грамотны. В Красной Армии почти не было бойцов, не умеющих писать и читать. И рукописные альбомы вмещали в себя жизни солдатских душ, были очень личными, как почерки, несмотря на все единообразие заносимых туда песен и стихов. А тогда страна жила песнями на стихи Исаковского, Лебедева-Кумача, Суркова, Демьяна Бедного. Прозвучав по радио или с киноэкрана, хорошая песня тут же становилась народной, родной. Летела из уст в уста «Полюшко-поле…», завораживала надеждой «Катюша», поднимала дух «По долинам и по взгорьям». Лучше петь, чем плакать — тем и жили, тем и брали всегда бравые солдаты России.

Алексея трогало, когда он замечал, что красноармейцы старательно переписывают друг у друга слова. Стихи песен они носили в нагрудных карманах, близко к сердцу, вместе с материнским письмом и невестиной фотокарточкой. Тогда же с молодым композитором, рядовым Владимиром Дорофеевым, Алексеем была написана первая песня, вышедшая на сцену. Банальное название «Всегда готовы» соответствовало содержанию — эта песня могла быть написана кем угодно. Потому мы и не знаем ее.

Но зрело зернышко, ютились в душе поэта замечательные слова, хаотично наталкивались друг на друга, сливались, как тяжелые капли ртути, весомо неслись дальше. Эта буря волнения не давала спать, будоражила, звала, обещала свои откровения.

…Теперь на доме, где располагалась Войсковая часть 75–27, открылась мемориальная доска. Здесь еще до войны оживленно радовались успеху, искренно пели и делились житейскими переживаниями оба Алексея — Подчуфаров и Фатьянов. Здесь их товарищи рисовали стенгазеты и хохотали над анекдотами, хвастали вымышленными куртуазными приключениями и скучали по дому. Алексею все чаще вспоминалась подрастающая

соседка с Ново-Басманной Нина, чье лицо он отчетливо видел перед собой, оставаясь один…

13 июня 1941 года в «Комсомольце» появилась большая публикация, все материалы которой принадлежали Фатьянову. Это была письменная версия литературно-музыкальной композиции «Великой родины сыны», которая принесла ансамблю успех и славу. Эту газету артисты раздавали красноармейцам, объезжая с постановкой части. Чуть больше недели оставалось до начала войны.

Война. Рядовые дни

1. Начало

21 июня в лесу авиационного гарнизона Сеща Брянской области, о военной судьбе которого режиссером С. Колосовым снят один из первых советских телесериалов «Вызываем огонь на себя», проходил концерт артистов ансамбля Орловского военного округа. День был теплым, вечер — обманчиво тихим. Ласковая жара не обжигала, а только тешила молодых солдат, облаченных в форменные «хэбэ» цвета хаки. Артисты плясали, пели, читали стихи. Солдаты не хотели отпускать парней с летней эстрады. Последняя овация прозвучала уже в синей темноте, такой синей, какая бывает в жару. Разбрелись по казармам солдаты, отправились на ночлег артисты. Кто-то глубоко спал в эту ночь, кто-то едва смежил веки под утро, чтобы так и не уснуть, услышав рев чужих самолетов. То были первые гитлеровские армады. На сещинском аэродроме после них остались дымящиеся воронки. Такой встретил войну Алексей Фатьянов.

При свете настольной лампы, вяло отмахиваясь от ночных мотыльков и экономя бумагу, Алексей Фатьянов писал, скупо и медленно подбирая единственно нужные, как ему казалось, слова:

«Товарищ дивизионный комиссар, нет больше сил оставаться в прифронтовых полосах и заниматься литературной работой в то время, когда все мои братья, друзья и товарищи на фронте отдают свои жизни и кровь. А я за месяц войны истратил только полбутылочки чернил. Прошу отправить меня на любую работу на фронт, так как я могу владеть тремя оружиями — словом, пером и винтовкой…»

С первых дней войны рядовой Фатьянов слал по начальству рапорт за рапортом, требуя отправки на фронт.

Комиссар Печурнов не внимал. Как было обойтись без Фатьянова в ансамбле? Кто еще мог в считанные часы написать целую программу для фронтовых выступлений? Кто еще так быстро схватывал газетные материалы о новых героях и так умело перерабатывал их в стихи и песни? Кто мог кроме него в сумасшедших условиях военной дороги пристроиться на плече товарища и написать новый злободневный сценарий? У кого еще был так хорошо поставлен голос, кто еще так живо вел концерты, импровизировал, веселил? Никто. А Фатьянов мог работать и на сцене, и в темной землянке, и в трясущемся кузове полуторки, и на попоне в кавалерийской конюшне. Неудобства его только

бодрили. Он сыпал эпиграммами, частушками, шутливыми куплетами.

С первых дней войны ансамбль был ангажирован фронтами и прифронтовыми ближними тылами. Его площадками стали госпитали, поселки беженцев, эвакопункты, санитарные поезда, солдатские теплушки… Ансамбль давал по три концерта в день. Каждый день на войне мог стать последним для каждого.

— На миру и смерть красна, когда ты красноармеец, — бодро шутил Алексей и тут же записывал шутку в свою клеенчатую тетрадь в школьную клеточку.

2. «Ехал я из Берлина…»

Блокноты Алексея Ивановича, путешествуя по линии фронта, пополнялись не только стихами. Он успевал еще вести дневник своей жизни, которая слилась с судьбой собратьев по сцене. Из этих записей складывались статьи для военных газет.

«…В пути встречаются два эшелона. Один санитарный, везущий на фронт врачей, сестер, фельдшеров, другой — лихих кавалеристов. Вместе с ними едет и ансамбль. Узнав о том, что эшелоны должны будут простоять не меньше двух часов, артисты вооружаются музыкальными инструментами и быстро собираются на поляне. Через пять минут должен состояться концерт. Бойцы, командиры, врачи, санитары выходят из вагонов, рассаживаются на высокой насыпи вдоль полотна железной дороги… Как тепло, как радостно воспринимают они песни, стихи, пляски. Великая благодарность слышится в несмолкаемых аплодисментах, и артисты, еще больше загораясь, становятся вдвое талантливей и голосистей. Быть может, их зрители через 10–20 часов будут уже в бою!», — записал Алексей в фронтовую тетрадь 1941 года.

Бойцы ехали на фронт уже с песней. Такой всенародной песней в первые дни войны стала «Ехал я из Берлина» на стихи Льва Ошанина, музыку Исаака Дунаевского. Это был военный привет Фатьянову от товарища по литературному цеху.

Песня была и боевой, и необычной — линия фронта неумолимо приближается к Москве, а ошанинский солдат едет из побежденного Берлина. Такое удальство было по сердцу русскому солдату, и он с веселой мстительностью запел ее еще по дороге отступления на Восток. Дача семьи Ошанина находилась недалеко от станции формирования военных эшелонов. Слышно было, как солдаты с этой песней садились в вагоны. Немного позже появилась «Священная война» на слова Лебедева-Кумача, музыку Александрова. И сама песня стала священной, и слышащие ее становились чище. Спеть хором ее было сложнее —

ее могли исполнить только профессиональные хоры. Довольно сложная и грозно-соборная музыка величила душу и сокрушала страх и немощь. Для славянского сердца она стала духовной, так же, как и великий марш «Прощание славянки».

А простенькая «Ехал я из Берлина» оставалась обиходной — окопной, походной, кавалерийской, строевой. Алексей Иванович не мог не полюбить народность ошанинской песни, не впитать ее отчаянное здоровье. Как интонационно схожи были его радостные военные песни!

Ансамбль не раз подвергался смертельной опасности. Объезжая с концертами передовые позиции Брянского фронта, нередко артисты участвовали в боях. Приходилось даже отражать танковые атаки. Однажды глубокой осенью артисты попали в смыкающееся кольцо окружения и чудом вырвались из него через трое суток. С ними не было пищевых пайков. Друг холода — голод сковывал все настойчивее. Хотелось лечь в осеннее месиво грязи, завернуться в шинель и уснуть: будь, что будет. Тогда Алексей отыскал неподалеку обгоревшую полуторку, которая везла, да не довезла на фронт сахар. Пообедали сахаром — и пошли дальше. И все остались живы, музыкальные инструменты до единого сохранили и духа не уронили. А было их пятьдесят человек, полурота…

В конце ноября сорок первого года ансамбль попал в Подмосковье. Изредка протянет свою строчку пулемет, громыхнут артиллерийские орудия… Артисты отдыхали от душераздирающего воя пикирующих «мессершмиттов» и «юнкерсов». Печальным было зрелище воздушных поединков отечественных ЯКов и МИГов с германскими боевыми машинами, сделанными лучшими военными заводами Европы. Но Фатьянов веселил бойцов новыми стихами:

Летит Фанерный наш У-2
По бесконечной дали.
Ну где ж то видно, чтоб дрова
По воздуху летали?

В кромешной тьме наш тарантас
Летает, как по нотам,
И бомбы точно, в самый раз,
Что ложку в рот, кладет он.

Недаром славила молва
Ночной бомбардировщик.
Летит-гудит родной У-2,

Гремит лихой извозчик.

Он невелик, наш аппарат,
Часы, а не машина.
Ему, пожалуй, аккурат
Ангар в норе мышиной.

И летели родными небесами небесные тихоходы У-2, ведомые сильными духом людьми, с верой в высшую справедливость войны — возмездие.

Военная Москва. Школьники и студенты

Тот же 1941 год. Немцы идут к Москве. Шестнадцатого октября Москва бежит. У кого есть что и на что грузить — уезжают и уезжают. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь… Вместо школьных уроков — рытье окопов и противотанковых рвов. Студенты, те, кто постарше — валят лес даже в тридцати километрах от Москвы на станции Икша. Их уже обошли немцы. Еле выудили из Икшы студентов в ноябре месяце, полуголодных, заболевших, истомившихся без тепла. Возвратившись домой, они рядом со школьниками пошли «на окопы», тушат на крышах зажигалки, дежурят в ночных госпиталях… «Я увидала — один мальчик стонет, живот вот так разрезан, я всю анатомию вижу, я бегу сломя голову, ищу сестру, прошу помочь. Она — что там такое? Я говорю — ну, там черви… Она — пусть. Я — как пусть! Она — так надо. Спирта мало, а эти червячки съедают гной. Очищают», — вспоминает студентка тех лет.

Много силы духа было в том поколении.

Сейчас часто рассуждают о силе духа дворян, и умиляются политесами и балами, «русской рулеткой» и хожением на пулеметы в полный рост: мол, это было все взаимосвязано и так красиво. По этому поводу хорошо сказал Карен Шахназаров: «Сейчас такое впечатление, что одни дворяне жили». Их было так мало по сравнению с огромным населением России!.. Бесспорно то, что оно и выносило все тяготы войн, как артиллерийская упряжная лошадь. Где уж ей до лейб-гусарской! Мордой не вышла! А во время Великой Отечественной войны даже те, кто происходил из дворянства и остался на Родине, пели «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой». По глубинной исторической сути они были правы. Полезно иногда вспомнить, например, и документальные кадры похорон Ленина. Кто хоронил Ленина? Приезжали из отдаленных губерний, из Сибири крестьяне, бедняки, полуграмотные мужики. Лапти, валенки, обмотки, разодранные тулупы, ушанка — одно ушко есть, другого нет… Слезы, застывшие на глазах, потому что мороз был страшный… И люди шли, шли! Это другой вопрос — кого они хоронили, как хорошо они разбирались в политике… Одно ясно — люди чувствовали горе, они понимали, что соприкасаются с великой, грандиозной, решающей вехой Истории. Смерть Ленина для них была всенародным бедствием. К сожалению, другая смерть — гибель Помазанника Божия — оставалась всенародно неоплаканной. Вот где была трагедия истинная. Но разговор не об идеологических ловушках, а о купеческом сыне и советском

юноше Алеше Фатьянове, который стремился на фронт, сочиняя рапорты один задиристее другого. Мужья его сестер — купеческих дочерей Тамары Ивановны и Зинаиды Ивановны — уже воевали. Зинаида Ивановна тоже получила военный билет с записью «ординатор хирургического отделения военного госпиталя». Будущая жена поэта, 15-летняя Галочка Калашникова, внучка небедного ряжского мещанина Григорова, долбила лопатой мерзлую глину Подмосковья и зарабатывала себе туберкулез. Каждый был на своем «фронте». И хоть говорят, что «в семье не без урода», но все же народ еще был единой семьей, кровью своей помнящей неистребимое родство.

Играй, играй, рассказывай…

1. После битвы под Москвой

Немцы шли к Москве. Фронт подползал к столице. Ансамбль Орловского военного округа обслуживал передовую. Артисты привыкали к бомбежкам, кислому запаху пороха и залпам орудий. Давали по три-четыре концерта в день, доходя до полного изнеможения. Звучали со сцены стихи артиста и поэта:

Узнавшие горя. Хлебнувшие горя.
В огне не сгорели. В боях уцелели.
Никто не расскажет смешнее историй,
И песен никто не споет веселее.

Ну что ж, что гремят бесконечные залпы?
Взлетает гармошка, сверкая резьбою.
И, слушая песню, никто не сказал бы,
Что час лишь, как парни вернулись из боя.

Солдатам нравилось, что этот парень знает, как они в своих землянках хорохорятся друг перед другом, подшучивают, поют хлесткие частушки, вынесенные из родных сел на линию фронта.

После решающей битвы под Москвой в январе 1942 руководство ансамбля получило приказ эвакуировать артистов в город Чкалов, бывший и нынешний Оренбург.

Пребывание Алексея в Москве оказалось совсем коротким. Он лишь несколько дней провел на Ново-Басманной, собрал вещи, да немного погрелся после фронтовых землянок. В квартире было пусто — Наталия Ивановна с Ией эвакуировались в Бессоновку. Там отец Ии Виктор Николаевич Севостьянов работал начальником планового отдела. Ие нужно было заканчивать школу, в ополчившейся Москве многие школы закрылись. Устроилась на работу в Бессоновке и Наталия Ивановна. Алексею было одиноко без них.

В метро в эти дни он встретил друга юности Георгия Глекина. Оба они были в форме, оба спешили. Расцеловались, обнялись и — дальше, каждый по своей военной дороге. Алексей успел забежать в обезлюдевший, изменившийся с началом войны ЦДЛ. Там к нему за столик подсел Федор Майский, который составлял в ту пору справочник о современных литераторах. Он попросил молодого поэта написать для него автобиографию, на что

Алексей, скромничая, отшутился.

— Вы знаете, что такое «парадокс»? — Спросил он. — Это треугольник с двумя углами! Я еще не понял: поэт я или артист… Нужен третий угол.

Третьим углом, устремленным вверх, становились знаменитые фатьяновские песни…

2. Красноармеец Ал. Фатьянов

В феврале 1942 года они выгрузились из поезда в городе Чкалове и вольным строем направились к новому своему дому.

Теперь коллектив был преобразован в Ансамбль красноармейской песни и пляски Южно-Уральского военного округа. Давали концерты в основном в госпиталях Башкирии, Оренбуржья, Казахстана, Куйбышевской и Актюбинской областей. Часто выступали перед эшелонами, уже сформированными и готовыми отправиться на фронт.

В Оренбурге Алексей стал похаживать в окружную армейскую газету «За родину», где сразу пришелся по душе многим ее работникам. В разделе «На красный штык» среди сатиры часто появлялись эпиграммы и частушки с подписью «красноармеец Ал. Фатьянов». Здесь же часто бывали эвакуированные писатели молдаванин Петр Дариенко, ленинградец Иосиф Колтунов, москвич Александр Коваленков. Шла повседневная редакционная жизнь армейской газеты. Устраивалось нечто вроде литературных обсуждений. Фатьянов всегда с радостью приносил каждое новое стихотворение. Он располагался в редакции по-свойски, открывал фронтовой блокнот и читал новые стихи. Торопливости свойственны огрехи, что все-таки не грехи. И тогда его критиковали:

— Примитивщина, банальные глагольные рифмы!..

Он же дружелюбно отшучивался тем, что хочет «глаголом жечь сердца людей».

Против этого нечего было сказать искушенным редакторам. Алеша есть Алеша… Он верил себе и не видел нужды притворяться: вот, мол, что-то написалось, а хорошо ли, дурно, скажите… И не всем нравилось, что стихи его словно бы и не вяжутся с войной. На редкость цельное лирическое дарование Фатьянова взрослело вместе с поэтом, требовало выхода к людям.

Корреспондент окружной армейской газеты Михаил Зорин вспоминает, как Алексей принес в редакцию стихи «На солнечной поляночке», которые тогда назывались просто «Тальяночка».

«Лето 1942 года… Кровопролитные бои в районе Харькова и на Дону, оставленные города, жертвы, потери, трагедия Керчи,

величие и горе Севастополя. Шестая армия Паулюса, оставляя на своем пути кровавый след, рвется к Волге.

А тут стихи:

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь!

Стихотворение дали читать всем работникам редакции. Тут Фатьянову досталось. И рифмы банальные, и сюжет примитивный, и легкомысленное бодрячество, схожее с пошлостью… Алексей не мог доказать, не мог защищаться, не мог логично убеждать. Он ничего не мог противопоставить редакторской мысли. Фатьянов цитировал Симонова, Светлова, Уткина и произносил одну и ту же фразу:

— Но любовь осталась и в войну…

— Осталась, — улыбнулся главный редактор.

Стихотворение «На солнечной поляночке» было опубликовано на второй странице, заверстанное среди корреспонденции о тяжелых боях на фронте. И тот контраст настроений был так разителен, что сразу показался диким, нелепым бурно-шутливый тон фатьяновского стихотворения рядом с горькими сообщениями об оставленных городах, о злодейских преступлениях немцев, о приближении врага к Волге. <…> …На редакционной летучке Фатьянова крыли вовсю:

— Нет глубоких чувств…

— Цыганщина…

— Бездумная любовь…»

Но, прочитав печальные сводки информбюро, прокопченные степным солнцем и пороховым дымом, солдатики в отдаленных фронтовых землянках старательно вырезали из газеты опасной бритвой именно эти стихи о черноглазой невесте. И хранили их в нагрудных карманах гимнастерок, переписывали и отсылали в письмах девушкам, сестрам, женам…

Время показало, что тленно, а что вечно. Сводки с фронтов старели, сменяясь новыми, обнадеживающими. А «любовь осталась».

Где росли тополя

1. В эвакуационном Чкалове

Город Чкалов не был обделен вниманием артистов. Став эвакуационным центром, он принял под свой кров немало знаменитостей. В основном это были жители Ленинграда. Кольцо блокады смыкалось, из города спешно эвакуировали писателей, композиторов, артистов. Одним эшелоном с Ленинградским Малым театром оперы и балета был эвакуирован 35-летний композитор Василий Павлович Соловьев-Седой. За его плечами были уже балет «Тарас Бульба», песни «Казачья кавалерийская», «Гибель Чапаева», «Таежная», «Вечер на рейде». В чахлом скверике Тополя его встретили коллеги Дзержинский, Волошинов, Чулаки. Сквер стал прибежищем эвакуированных, местом встреч и знакомств. Бывало, летом здесь же и спали, расположившись на садовых скамейках. С жильем было туго, с продовольствием — того не легче. В Тополях встретился Василий Павлович с женой и шестилетней дочерью, которые приехали сюда из тылового же Куйбышева.

Соловьев-Седой не значился в штате театра. Поэтому он оказался без продуктовых карточек, без жилья. Долго искала измученная семья, где приютиться. И только в пригороде, неподалеку от элеватора, им согласились сдать комнату. Там и поселились Василий Павлович, Татьяна Давыдовна Рябова и Наташа. Пианистка Татьяна Давыдовна скоро нашла работу — она аккомпанировала певцам на фисгармонии. Выступала жена композитора в основном в колхозах, где «платили» мукой, овощами, молоком. Это — надежней денег и карточек.

«Я с Татьяной и Наташей живу в проходной комнате метров восемнадцать. Дома деревянные и зимой продуваются насквозь. Получил письмо от Сергея (родной брат композитора — Т.Д.). Он ранен, лежит в лазарете. Просит прислать папиросы (махорка ему надоела), а я сам папиросы не курил уже с полгода», — писал Василий Павлович о своей жизни сестре Надежде.

Пробиралось по тыловой России и письмо Алексея к сестре: «Родные, как вы чувствуете себя в этой самой Бессоновке? Карточки получил, спасибо. Они пришли как раз вовремя. Живу, вроде, ничего. Получил от военного совета премию 1000 рублей. А, что они, если стакан макарон стоит 80 рублей. Пишу сейчас мало, прошусь на фронт. Не пускают. 18 мая еду на полтора месяца в Уфу, потом обещают отправить на фронт. Хорошо бы. Из

театра получил письмо. Они в Свердловске. <…>… Театр живет в меру скучно. Здесь сейчас жара и столбы пыли. Одно слово — степь. Целую, обнимаю вас крепко. Пусть Ия напишет. Алексей». Это письмо написано в Чкалове, в мае 1942 года.

Как по-военному похожи эти письма двух людей, которым предстоит создать великие, вечные песни…

2. Встреча в сквере

Они не могли не встретиться и встретились в жаркий летний день, ища прохлады в тени молоденьких тополей городского сквера. Пыльные голуби выхаживали по дорожкам в поисках пропитания. Узнав круглые очки и рыжеватый чуб автора замечательной песни на стихи А. Чуркина «Вечер на рейде», Алексей подошел к нему. Высокий, в огромных сапогах, застиранной гимнастерке, щегольски запрокинутой набекрень пилотке на пышных волосах, он произвел впечатление на композитора. Соловьев-Седой воочию увидел русского богатыря, пришедшего в сороковые из сказок и былин.

Он как-то сразу расположил к себе Василия Павловича. Без вступительных слов и без тени лести, с присущей ему дружелюбной радостью похвалил его песни, которые слышал в исполнении Леонида Утесова, Ирмы Яунзем. Тут же напел свои стихи «Гармоника», продемонстрировав и прекрасный голос, и неплохие композиторские способности:

В бои — атаки жаркие —
Летит мой быстрый конь.
В дареном полушалке
Завернута гармонь.

Тот полушалок шелковый
Сняла невеста с плеч.
Тот полушалок шелковый
Поклялся я сберечь.

Гармоника, гармоника,
Нарядные меха.
Эх, путь-дорога конника
Далека.

У Алексея Фатьянова всегда вместе со стихотворением появлялась если не мелодия, то музыкальная интонация и

оригинальный ритм. Часто они становилось основой песни. Природное чувство песни, которым был одарен Фатьянов, остается редчайшим даром в людях.

«Если есть любовь с первого взгляда, то это был тот самый случай, — напишет композитор через несколько десятков лет в своем очерке «Алексей Фатьянов». — Не думал я тогда, не гадал, что этому парню суждено так прочно и навсегда войти в мою жизнь».

Там, глядя на темные воды Урала, Алексей рассказывал Василию Павловичу о родных Вязниках, где любят петь, взволнованно читал стихи, пел, и полностью покорил композитора своей открытостью. «Все в нем было русское и все — сродни песне. Я тогда сказал ему, что мы, пожалуй, сможем вместе создать что-то интересное». На другой день они уже пытались что-то сочинить. Сразу появилась песня для голоса и хора, та самая «Гармоника», которую солдаты называли «Полушалком»:

Мы мчались по пожарищам
Дорогою на юг,
Да лучшего товарища
Ранило в бою.

Ранен был осколком он,
Качнулся и упал,
Я полушалком шелковым
Его перевязал.

Песня эта не получила большой известности. Может быть, оттого, что была отголоском ложного, литературного романтизма недавней гражданской войны. Все же кавалерийская тематика не совсем вписывалась в картину этой железной войны, несмотря на конные рейды генералов Белова и Доватора и на то, что обозная конно-гужевая тяга не подводила. Исполняли «Гармонику» в ансамбле, но народ ее не подхватил. Но уже следующая, «Песня мщения», которая появилась на стихотворение Фатьянова «Я вернулся к друзьям», весь второй год войны была «в бою». Она была рекомендована к Сталинской премии, она скорбела о боли потерь:

Пролети над родным Приднепровьем,
Там пылает земля, как костер.
И окрашены реки там кровью,
Кровью братьев твоих и сестер.

Это была понятная и близкая солдатам стихия народной песни, народного слова. Скупые и точные слова могли стать рядом с гениальной песней о войне — выстраданном «Черным вороном», с песней-разговором «Ой, да не вечер…».

В проходной комнате продуваемого насквозь домишка, за кухонным столом, поэт и композитор просиживали часы и дни. Тут же лежали развернутые тетради со стихами, пришедшими в ночной казарме. Они то не могли наговориться, то принимались что-то напевать, мурлыкать, спорить, перекрикивая друг друга и пеньем, и речитативом. Татьяна Давыдовна предложила было раздобыть пианино и заняться композицией по-человечески… Но Соловьев-Седой только отмахнулся — что, мол, время терять на поиски инструмента, если уж суждено, то песня получится…

Они чувствовали родство своих творческих истоков. Скоро Василий Павлович, который был старше на двенадцать лет, стал называть друга «сынком», а себя — «папой». Может быть, в этом шутливом обращении скрывалась мечта его о сыне, которой не суждено было исполниться. Дочь Наташа родилась глухонемой и никогда не услышала музыки отца. Родители страдали вместе с девочкой, но не унывали, хотя Наташа и осталась единственной дочерью супругов.

Марш-марш…

1. Что может быть проще…

Во время войны всякое задание — боевое, даже если ты в тылу. Скоро поэт с композитором и инструмент получили, и сменили рабочий «кабинет» в комнатном проходе. Не по своей прихоти — по приказу командования. Им предстояло написать марш.

Маршируют и армии, и дивизии, и гарнизоны. Хорошо, коли сопровождает это действо собственный духовой оркестр. Тогда и трубы блестят, и барабаны грохочут, и шагается на марше веселей. Но в походных условиях никто не станет обременять бойцов тяжелыми инструментами или водить в бой музроты… Самая простая и легкая музыка — та, что всегда с собой: громкий хор солдатских глоток — строевая песня. Так решило политуправление Южно-Уральского военного округа. Решило и приказало явиться рядовому Фатьянову и штатскому Соловьеву-Седому. Им разъяснили задачу. И стали ждать чуда, ибо людям не творческим все, что рифмуется и поется, кажется нерукотворным и чудесным. Для сочинительской работы предоставили рояль в Доме Красной Армии, куда можно было являться в любое время суток: марш нужен был срочно — аллюр три креста.

Работа кипела, маршей было написано немало, друзья сорвали голоса, а того, единственно нужного, самого «южно-уральского», все не было. Василий Павлович домой являлся, когда Наташа уже крепко спала, обняв плюшевого мишку, и отец гладил ее по сбившимся во сне волосам. Неутомимый, потерявший сон Алексей, улетал в свою казарму, сочиняя на лету все новые и новые марши, а утром полусонный входил в Дом Красной Армии с планшеткой, где лежали новые варианты текста.

…Как-то, подустав, они загрустили. Их посетило то творческое опустошение, которое соседствует с куражом, а оттуда недалеко и до озарения. Они представляли себе, как идут по плацу солдаты в длинных шинелях, курсанты и генералы, все отдают друг другу «под козырек», они вживались в образ этого нескончаемого потока военного человеческого движения. Иногда Василий Павлович Поднимался из-за рояля и маршировал рядом с рядовым Фатьяновым, который был гораздо легче на подъем и быстрее в телодвижениях. Так родился марш, который не стоило предлагать воинскому братству, но много лет подряд знаменовал он собою начало их совместных творческих мук и озарений. «Что

может быть проще написать марш? Что может быть проще?» — твердили друзья, и эти необязательные слова получили нечаянное продолжение. Скоро от унылого сочинительства друзья перешли к бодрому маршеобразному пению «хором»:

Что может быть проще
Жену отправить к теще,
А самим пойти пока,
Выпить кружечку пивка,
Ведь дорога до ДК
Недалека, —

спели они с листка, брошенного Фатьяновым на пюпитр.

А Василий Павлович поэтически и музыкально импровизировал и солировал дальше:

Алеха, Алеха,
Придумал ты неплохо,
Не пойти ли нам пока,
Выпить кружечку пивка,
Ведь дорога до ДК
недалека!

После нескольких подряд исполнений произведения друзья взбодрились, хорошенько посмеялись, «разрядились» и — написали то, что было нужно Южно-Уральские дивизии:

Идут на бой, за родину, на бой!
Ты прощай, Урал,
Бережок крутой,
Где мы встречались, милая, с тобой!

Комиссии и любопытствующие, соседи и друзья — все хотели услышать «свою» песню. «Я проиграл его несчетное количество раз <…>, налегая на клавиши и горланя слова во всю силу своего композиторского баритона. Только тогда я понял, как тяжело, невероятно тяжело писать марши», — признавался в своих воспоминаниях Василий Павлович.

2. Парад над Уралом

«Товарищи бойцы! — призывала окружная газета. —

«Товарищи сержанты! Товарищи офицеры! Разучим бодрую, боевую песню южно-уральцев! Пусть она сопровождает наши роты и полки! Пусть она гремит и в походе, и на марше. Тверже шаг! Громче голоса! Споем, товарищи, «Южно-Уральскую»!». Далее публиковался текст марша. В нем было все, чем мог бы дорожить солдат, все, за что он шел воевать — и хлебные поля, и родные клены, и степь, и незащищенная, хрупкая девушка, и любовь, и ожидание любви.

Ты не стой, любимая, под кленами,
Не печалься за судьбу мою.

Есть такое профессиональное выражение — марш должен «лечь в ногу». Пригодность музыки для маршировки военный совет проверял под открытым небом. В тот осенний день роща блистала всем своим золотом, а военный оркестр — медью. Сияла чистотой парадная форма курсантов, сияли приподнятым настроением лица. Первыми выступали шеренги воспитанников музыкальной школы, за ними величаво, в скатках геликонов и туб, с пиками грушевых кларнетов и эгидами больших барабанов, шли оркестранты. После — курсанты военного училища, главные исполнители нового марша. На балконе Дома Красной Армии стоял Военный совет в полном составе, городские власти и скромные авторы. Колонна трижды прошествовала перед ними. То ли из-за прекрасной погоды того ясного дня, то ли от бравого марша молодых певунов, то ли по причине простой радости от удачи, стоящим на балконе и самим хотелось маршировать и петь. Не гневила, скорее веселила высокое начальство орава мальчишек, которая пристроилась в хвосте колонны. Сначала робко, потом — с открытым детским энтузиазмом, воодушевленно, звонко пели маленькие солдаты, для которых жизнь и игра еще не имели ясной границы.

Так зазвучал на улицах города Чкалова новый марш. Колонна остановилась у дома, где проживал композитор, как бы отдав ему честь. Уж коли детская «комиссия», неотступно бегущая за солдатами, принимает песню, то взрослой не принять ли? Фатьянов, как военнослужащий, был отмечен благодарностью. Василию Павловичу вручили ценный подарок — именной серебряный портсигар…

…О, военные портсигары, ценные подарки, отличные отметки за то, что не кажется самому подвигом и достижением… Сколько ностальгически грустных минут и счастливых воспоминаний пробуждают они в поседевших головах и надорванных сердцах через два, три года, пять, пятнадцать лет после войны! Случайно

ли попавшийся на глаза в без нужды выдвинутом ящике стола, он блеснет благородной серебряной боковиной и попросится в руки. Он желает приобщиться к остаткам человеческого тепла. Носил его мужчина на сердце, открывал, приветливо протягивал теплый свой портсигар знакомому и незнакомцу. Дорогой подарок войны, след войны, радость войны. Разве может быть на войне радость — скажете вы? Да, радость на войне может быть самая простая и незамысловатая — настоящая папироса из настоящего портсигара, предложенная настоящим другом…

И друзья — поэт и композитор — знали этому цену.

«Упаднические» стихи для бравых вояк

1. «Южно-Уральские дивизии идут» на Сталинградский фронт

Начало осени 1942 года.

Южно-Уральский военный округ питает Сталинградский фронт. По военной дороге тянут к фронту автомашины, груженые обмундированием, провиантом, питьевой водой, лекарствами. Идет пехота, скачет казачья конница-кавалерия, мчат выжженной степью бронемашины. На пунктах переформирования боевых соединений — сутолока и оживление. Южно-Уральские дивизии идут на героический Сталинградский фронт, они взбивают в пудру пыль на степных дорогах, пересохших от засухи, они поют свой марш. «Камо грядеши?» — «За Родину!», «За Сталина!», «За Отечество!». Никто не кричит — «За веру!», но почти у всех на груди есть оловянные крестики, в нагрудных карманах — маленькие иконки, материнское благословение Родины.

Выступая перед солдатами, Алексей Фатьянов все глубже проникался чувством вины перед ними и боли за них. Он мечтал оказаться на месте тех многих, которые, может быть, в последний раз в своей жизни отдыхали, слушая концерт. Алексей наиболее остро теперь чувствовал диссонанс, который складывался между патриотическими излияниями артиста и молчаливым патриотизмом солдата. Но рапорты его по-прежнему отклоняли, а вместо повестки на фронт выдавали концертную командировку. Время рядового действующей армии Фатьянова еще не пришло.

2. Необычный концерт

Он выполнял приказы. Он поднимался на подмостки, искренне улыбался, привычно и профессионально провозглашал реплики. Но однажды, потолкавшись среди солдат перед концертом, насмотревшись в их голубые и карие глаза идущих на заклание, он не смог читать и петь то, что полагалось по программе. И он своевольно «перечеркнул» в своем тексте восклицательные знаки. Не было в тот день ни рифмованных лозунгов, ни шуточных куплетов.

То был концерт перед дивизией генерала П.Ф. Лагутина. Готовые к отправке на Сталинградский фронт бойцы расположились в мирном поле, где еще недавно убрали хлеб. Сидя на пучках брошенной соломы, они опирались на автоматы,

как старые люди — на сучковатые посоха. Мирная из мирных картина, если посмотреть издалека. И если бы не гимнастерки цвета пожни, можно было бы подумать, что это отдыхают колхозники, наработавшись под еще жарким сентябрьским солнцем. Тут же сидел генерал Лагутин, которому в будущем суждено было стать героем Сталинградской битвы и сражений на Орловско-Курской дуге. В такой же гимнастерке, как и его солдаты, седой, «свой», он походил на генерала лишь природной, «генеральской» посадкой головы.

Спел ансамбль песни, «Выше голову», «Я вернулся к друзьям», «Гармоника», написанные Фатьяновым и Соловьевым-Седым. Вышел поэт — и полились стихи, простые, доверительные, совсем не концертные. Это был разговор о любви, родной деревне, матери и любимой, о таких же солдатах — бывших мирных гражданах, музыкантах, врачах, учителях, рабочих. Это они становились в строй и учились стрелять быстро и метко, ждали писем из родных деревень, кашеварили в осажденных лесах, прозябали в госпиталях, становились на костыли, видели над собой свое синее небо своего Аустерлица.

Когда концерт закончился, к поэту подошел один из бойцов — почти мальчик:

— Товарищ Фатьянов, ребята нашего минометного взвода просят, чтобы вы дали нам стихи.

Фатьянов диктовал, а парнишка, развернув помятую тетрадь, едва успевал записывать стихи.

«Мои стихи называют упаднические. Но почему же парень побежал к своим с исписанной тетрадью счастливый? — думал Алексей, провожая того взглядом. — Теперь мои стихи уйдут на Сталинградский фронт…».

Для себя он это расценивал, как солдатское поощрение, в пику критиканам из вечных литературных постовых.

Были и другие поощрения. Известно, что начальник бузулукского военторга Сафьян выдал рядовому Фатьянову баночку гуталина — небывалый шик, сродни хорошим папиросам. Голенища сапог Фатьянова артистически блестели. Благодарили за отзывчивую, открытую и любящую душу поэта, как умели — полевыми цветами, полевыми же аплодисментами до жара в ладонях, краюхой хлеба, кисетом махорки. В последние месяцы войны ему даже подарили трофейный мотоцикл.

Истории некоторых песен

1. «На солнечной поляночке…»

Время — всему судья. Оно пришло, и сама жизнь избрала и вынесла в военный мир стихотворение «На солнечной поляночке». Руганное-переруганное, приговоренное к редакторской «казни», вычеркнутое из литературы, как нечто непозволительное, оно попалось на глаза Василию Павловичу. И тогда вдруг зазвучало молодцевато, с изящной простотой. Эта песня стала настоящим военным шлягером, может быть, первым крупномасштабным шлягером военной эстрады, если можно применить эти слова к тому времени. Ее пели абсолютно все военные ансамбли. Все газеты страны публиковали ноты и текст песни, «Музгиз» выпустил ее в свет большим тиражом, любой гармонист включал ее и в песенный, и в плясовой репертуар. Она украшала радиоэфир, яркая и звонкая, точеная и крученая, как игрушечка. Тот, кто слышал ее впервые, не мог не вслушаться, не мог позабыть. Поэт и композитор стали популярны, как крупные военачальники.

В августе 1943 пулеметчик, рядовой Николай Старшинов был одним из солдат, которые столкнулись с песней на фронте. После утомительного марша по ночному лесу Смоленщины его часть вышла на опушку леса, на солнечную поляночку. Усталые солдаты, отягощенные винтовками, автоматами и пулеметами, взмокшие в поднадоевших маскхалатах, рухнули в сон-траву. И вдруг среди этой травы послышалось человеческое пение. Это ребята пели новую песню из чьего-то альбома. Она занималась просто, как заря и кончалась просто, как закат. Она оставляла надежду на новую зарю. И когда в послевоенной Москве поэты Фатьянов и Старшинов встретились, Николаю Константиновичу показалось, что они чуть ли не кровные братья. Настоящую песню каждый человек чувствует своей и о себе.

Исполнял «На солнечной поляночке» знаменитый Красноармейский Ансамбль под управлением Александра Александрова. Она была предтечей самого Фатьянова в этом ансамбле — не прошло и года, как автор «Тальяночки» стал его артистом.

Алексея любили, им любовались, и, наоборот — его не любили, ему завидовали, перед ним заискивали и над ним подтрунивали. По убеждениям солдат, но по своей поэтической задумчивости и рассеянности все же — мирный гражданин,

встречает он генерала в дверях штабной столовой. Теряется, смущается. Генерал его журит за то, что «товарищ боец» неправильно его приветствует. Алексей молчит — слушает. Рассвирепевший генерал готов едва ли не отхлестать бестолкового солдата по заалевшим ланитам, но сдерживается и требует назвать фамилию. Услыхав ее, интересуется, не однофамилец ли поэта этот олух. «Нет, я поэт Алексей Фатьянов»! О, да это же тот самый Фатьянов, что написал «Солнечную поляночку»! Тут уж «боевой» генерал на глазах превращается в радушного штатского, хлопает поэта по ладони, сознается, что и сам грешен: сочинил в гражданскую войну полковую песню. Спохватывается, поет ее, хочет услышать слова одобрения…

Этот случай рассказывал Алексей в редакции окружной газеты. Ему не верили, хватали телефонную трубку, грозили, что вот сейчас позвонят тому самому генералу и спросят — так ли это было на самом деле. Его кололи словесными шпильками и испытывали хитромудрыми намеками… Он лишь простодушно удивлялся, отчего ему не верят и часто виртуозно подыгрывал злобствующим, сочиняя какую-либо незамысловатую небывальщину. Они радовались — вот, поймали врунишку! Он хохотал громче всех. Он играл с ними, как большой ребенок, не думая о последствиях и о темных кладовых зависти с вечным резюме: везет же дуракам!

2. «Ехал казак воевать»

Газета вынуждена была напечатать «Тальяночку», но уже с другим названием, с нотами и с извинениями за взбучку в прошлом году. Опубликовала, потому что все издания страны это сделали — куда деваться? Но опять «попалась» окружная газета на том же и так же. Новому стихотворению Фатьянова «Ехал казак воевать» так же отказали в публикации. Убийственная резолюция гласила: «Сочинять в наше время такую пошлость просто стыдно, особенно автору боевого марша южно-уральцев». Стихотворение разбирали на летучке, Алексея отчитывали, как сломавшего березку пионера. Он ушел обиженный, рассерженный, но гордый и несломленный, как та березка.

…А меньше, чем через год запела армия песню на музыку Соловьева-Седого — песню про бравого казака, которых так много в Оренбуржье. «Казаки самый лихой народ и в бою, и в любви!» — говаривал Фатьянов. Оказалось, что советская армия думала так же. И пелось многажды по всем фронтам о том, как «девчата, не смутясь, хлопца целовали». И это стихотворение пришлось опубликовать окружной газете. Опубликовать и извиниться за

свою непонятливость.

3. Баллада об Александре Матросове

Осенью 1943 года повсюду опубликовали приказ о подвиге 18-летнего героя Александра Матросова. Его жертвенный поступок поразил общественность. Несмотря на то, что до него не менее семидесяти советских солдат закрыли своими телами амбразуры дзотов, именно подвиг этого паренька сразу стал легендарным. Может быть, так сложилось потому, что прежде не было больших успехов на фронтах, попросту говоря, наши войска отступали. Упомянутые на страницах прессы герои оставались безвестными до недавних времен. Подвиг же Александра Матросова был прославлен — можно ли принизить значение и смысл его воинского подвига? Можно ли упрекать, положившего «жизнь за други своя» в том, что не он первый сделал это? Война — не спортивные соревнования. А юность Саши и непростая, безрадостная детская судьба беспризорника, отдавшего жизнь за Родину, глубоко тронули святые чувства воюющего народа. И когда выяснилось, что Александр Матросов жил в Оренбуржье, Алексей загорелся непреодолимым желанием съездить по местам жизни героя.

Места эти оказались «не столь отдаленными». На фронт Саша ушел из Красно-Холмского пехотного училища. Туда попал, освободившись из заключения.

Воинская часть прилепилась к станции Платовка — одной из многочисленных станций оживленной оренбуржской железной дороги. Юная пехотурушка училась спать и бодрствовать под непреходящий грохот товарняков. В Красно-Холмское пехотное училище Матросов приехал из Уфы, где отбывал срок.

Алексей Фатьянов побывал и там, и там. Сам человек еще молодой, сам стремящийся на фронт и мечтающий совершить воинский подвиг, он хотел понять в юной жизни Саши что-то единственно главное. Может быть, заглянуть в нее, как заглядывают в собственную душу, постигая ее глубины. Он тревожился, он испытывал себя, он хотел написать о Матросове стихи.

Уфа встретила Алексея мелким дождем со снегом, запахом отживших листьев и грустным затишьем перед ветренной степною зимой. В одном из городских кварталов, что называли Старой Уфой, размещалась трудовая колония, где отбывал срок Александр Матросов. Его встретили воспитанники, подрастающие для фронта юнцы. Бритые ребячьи головы, детские любопытные глаза, худенькие шеи… Таким же был и Александр. Точно таким,

как эти.

Побывав в Уфе, Алексей Фатьянов не мог не узнать того, что Александр на деле был далеко не Александром Матросовым. Его дразнили здесь «башкиром», и не случайно. Башкирский мальчик Шакирьян Мухамедьянов, прошедший полный соблазнов и грязи путь беспризорника, в одном из детдомов сменил свои имя и фамилию. Он носил бескозырку и тельняшку, причем курточку слегка расстегивал, чтобы полоски были видны. Мальчик мечтал о море, большом корабле, ленточках за плечами. Он неплохо играл на гитаре, красиво пел патриотические песни. Он не думал о судьбе обывателя и порядочного семьянина. От младых ногтей он хотел стать героем. Из-за морских своих грез он и выдумал себе красивую, героическую фамилию. Она носила на себе знак детдомовского сиротства: «Кто твой отец, мальчик?» — «Мой отец — матрос и я сын матросов…»

У него были дом и отец в одной из башкирских деревушек. Но родная мать Шакирьяна умерла, когда он был еще младенцем, а с мачехами детям часто не везет. Как уж там получилось, но ушел мальчонка лет шести-семи из дому. Дальше были детприемник-распределитель НКВД в Мелекессе (Дмитровград), Ивановская режимная колония, детдом при ней, где лагерный режим заменял и родительскую ласку, и витамины. В первые дни своего пребывания в режимном детдоме парнишка сбежал в Ульяновский детприемник, да его вернули обратно. Видно, несладко жилось ребенку, коли мечтал он под сиротским своим одеялком о круглосуточной вахте на пограничном корабле. Там и назвался он Александром, отбиваясь от своих малолетних тиранов. Там и задумал он сладкую судьбу сына Родины. За два года до начала войны Александр Матросов окончил школу. Шестнадцатилетнего рабочего принял по распределению Куйбышевский вагоноремонтный завод. Но скоро парень перестал являться на работу, уехал из Куйбышева, захотелось глотнуть вольного воздуха. Может быть, ему просто хотелось домой, но угодил он за решетку за нарушение паспортного режима. До 1942 года Александр Матросов отбывал наказание в Уфимской трудовой колонии.

А в сентябре 1942 года, уже совершеннолетним, он попал в Красно-Холмское военно-техническое училище.

Фатьянову и группе корреспондентов, сопровождавших его на станцию Платовка, сопутствовали метели. Скорее, здесь они беспутствовали. Машина остановилась в чистом поле, и только очень близко подойдя, можно было различить здесь утонувшие в суметах землянки. Такой же студеной и тесной была землянка, в которой год назад жил и учился боевому искусству Александр

Матросов. Она была полна молодых бойцов. Алексей был задумчив, немногословен. Он был тих, как в детстве, приходя в церковь. Ему рассказывали, что Александр любил чистить оружие, что старательно, со всем рвением учился стрелять. Поведали, что однажды он один пронес через все поле станковый пулемет, помогая захворавшему напарнику, что тоже было подвигом. Он хорошо учился и должен был уйти на фронт лейтенантом в марте 1943 года. Но по причине дислокационной близости училища к Сталинградскому фронту, этот недоучившийся набор был отправлен через три месяца. Александр попал на фронт рядовым. На третий день своей личной войны с фашизмом он погиб под деревней Чернушка. «Из учеников — сразу в мученики… — думал Фатьянов. — Да вот сразу ли?» — мучительно искал он ответ, и большое сердце его стучало в сетку казарменной кровати так, что, казалось, не дает спать товарищам. «А я — смог бы?..» — и он ощущал телом лет свинцового огня, рвущего человеческую плоть.

…Машина по глубокому снегу возвращалась в Чкалов.

Газетчики дымили козьими ножками, смотрели сквозь щели кузова в широкие оренбургские степи. Говорить Алексею не хотелось. Качка, морозец навевали дремоту. То грезился ему невысокий пехотинец, волочащий на себе пулемет по непроходимым сугробам, то самодельная коптилка в солдатской землянке, и приглушенный разговор молодых голосов, то обрывки стихов наплывали и оставались в памяти, морской как янтарь на берегу…

До этой поездки Алексей хотел связать подвиги Александра Матросова и Ивана Сусанина. Эта параллель проводилась в статьях и очерках, посвященных Александру Матросову. Но он написал балладу. В ней шел снег, как тогда в Платовке, в ней была воля, которую ценить умели не многие, в ней маленький отряд пехоты шел на врага сплоченно, как «друзья»…

По волюшке, воле,
По чистому полю
Гуляют шальные снега.
Сквозь снежную россыпь
С друзьями Матросов
В атаку пошел на врага…

Василий Павлович написал музыку. «Баллада о Матросове» получилась широкой, повествовательной, раздольно-напевной. Она была проста в исполнении, легко запоминалась — ее пели сами бойцы в минуты отдохновения. Балладу разучил ансамбль

Южно-Уральского военного округа. Песня впервые прозвучала в той самой Платовке, в Красно-Холмском пехотном училище. В зале сидели и те, кто знал героя, и новобранцы. Гимнастерки, стриженые головы, детские еще лица… Казалось, что эта песня написана про каждого из них.

Думы о фронте

1. Середина войны

С последними листьями тополей из сквера Тополя, с первыми морозцами уехали из Чкалова поздней осенью 1943 года веселые друзья — Иван Дзержинский и Василий Соловьев-Седой. Как и Василий Павлович, Иван Дзержинский любил пошутить, был добродушен и остер на язык. Они будто увезли с собой студеные утреники, созданные специально для поэтов. Канули в бездну прошлого осенние листочки отрывных календарей, улетели военным небом стаи теплолюбивых птиц с холодных вод Урала.

Глубокая зима не бодрила, а будто вымораживала душу. Алексей скучал. Он словно резко повзрослел. Частые гастроли ушли на второй план и уже не занимали, ставши привычными.

Ненарочито, естественно они подружились с Иваном Дзержинским и написали цикл песен «Первая любовь». Эти стихи появились в дни, когда Алеша ходил в сквер на свидания с балериной из Ленинграда Галей. Молодость — это счастье молодость, а влюбленный поэт — «больше, чем поэт». Девушка, похожая на фарфоровую статуэтку, пленяла его воображение. Тогда поэту казалось, что она — его первая настоящая любовь. Василий Павлович потешался над страданиями «юного Вертера». Фатьянов злился. А теперь Соловьев-Седой уехал в столицу и поселился в гостинице «Москва», поскольку сердце начинало саднить при виде едва живого, распростертого в развалинах, но не растоптанного Ленинграда. Кому захочется сочинять музыку на руинах родного дома! Лучше бы он оставался в Чкалове со своими простыми шутками.

«Любыми путями хочу на фронт!» — писал Фатьянов друзьям. Они в гостиничных номерах разрезали его «треугольники» и читали, тоже по-своему тоскуя о ставшем на время «своим» Чкалове. Не было там слишком сладкой жизни, но было то, что не забывается — отрезок полноценной жизни, удачной работы, счастливые, насыщенные озарениями дни. Читали они послания Алексея и думали, о том, чем же помочь другу.

Редкие из мужчин стремились отсидеться в тылу.

Замполит ансамбля Южно-Уральского военного округа Петр Павлович Харланов ходил ходоком от всех артистов к начальнику политуправления округа. Оркестранты, певцы и плясуны требовали оружия, им стыдно было изображать фронтовиков на сцене, всеми силами они стремились на передовую. В

большинстве это были молодые, здоровые парни. Каково же было Фатьянову, на которого равнялись, как на правофлангового! В очередной раз явившись в штаб округа, лоб в лоб Харланов столкнулся с Фатьяновым, который потихоньку протискивался в приоткрытую дверь приемной начальника политуправления. Теперь они вдвоем, стоя перед начальником, не мямлили, а отчаянно требовали отправки на фронт. Их доводы были убедительны, мотивировка безупречна, желание безгранично, жестикуляция — угрожающа… Но вместо желаемого понимания они получили нагоняй.

— А вам, рядовой Фатьянов, стыдно должно быть вдвойне! Ваши песни давно воюют! — Сказал полковник высокопарно, в духе времени. И раздраженно выпалил в спину уходящему поэту: — Три наряда вне очереди!

— А что мне «губа»? — смеялся Алексей Иванович. — Только в неволе и создавались шедевры! Классические произведения были написаны в неволе, ведь так? — Спрашивали его глаза с лукавым простодушием.

2. Автобиография

В один из зимних вечеров, а именно 19 декабря 1943 года он вспомнил не слишком давнишнюю встречу. С думами о Москве, родных и друзьях, припомнился ему и ЦДЛ, куда он любил захаживать в мирное время. Оказавшись ненадолго в Москве в январе 1942 года, он забежал туда перед отправкой в Чкалов. Знаменитый Дубовый зал напоминал тогда военный штаб. Гардеробщики принимали серые суконные шинели. Поскрипывали под шагом не то ступени старинной лестницы, не то сапоги. По-военному пахло махорочным дымом — он сгущался под потолком в плотную дымовую завесу. Алексей вспомнил свою встречу с Федором Майским, кандидатом филологических наук, составителем нового библиографического словаря советских писателей. Узнав местонахождение Фатьянова, Майский теперь написал ему в Чкалов из эвакуационного Челябинска. Он напомнил свою просьбу и сообщил, что ждет ответа по-прежнему.

Автобиография была написана в короткую бессонную ночь и так вдохновенно, будто Алексей макал перо в воды Клязьмы. В Вязниках и Малом Петрино, видел он, цвели вишни. На книжную полку и портреты любимых поэтов падали бело-розовые лепестки. Алексей был силен и честен в любви, он не посчитал зазорным сообщить о своем поклонении лире Есенина, запрещенного поэта. Он искренне шутил над собой, со здоровым юмором писал о собственных неудачах и заблуждениях. Не имея привычки к

написанию энциклопедических статей, он невольно сбивался на дружеский тон письма:

«В Москве наряду с увлечением литературой безумно увлекся театром, и в 1937 году написал пьесу, которую предложил одному из московских театров. Там, прочитав ее на художественном совете и видя, что я кажусь человеком воспитанным, не стали мне грубить, а вежливо сказали, что-де в пьесе есть некоторые недостатки, и вернули мне рукопись, в которой я размахнулся почти по-шекспировски. Но, увы! Театр не понял автора и он, т. е. бедный автор, в недоумении проходил всю ночь от памятника Гоголю до памятника Пушкину, а утром зло принялся за вторую пьесу, которую, к счастью, не закончил.

Вскоре я стал сочинять песни, которых никто не пел, исключая разве соседскую домработницу, которая пела из уважения к тому, что я просиживаю целыми ночами за письменным столом, да разве еще старой тетки. Но тут, надо полагать, говорили родственные чувства».

Теперь — слава Богу! — он мог написать и об удачах. Фронт знал его песни, и труд его потому не был пустым и никчемным.

«Начало своей профессиональной деятельности отношу к дате вступления в ряды Красной Армии. Точнее — к началу войны. Только тогда я стал писать много и получал всяческую поддержку и поощрения в гуще красноармейских масс. Стал писать стихи, которые узнал фронт; статьи, очерки, которые узнала армия; песни, которые узнал и запел Советский Союз. Чувствую — голос крепнет. Может, не сорвется…»

Так Алексей вышел на искомую интонацию, и закончил благодарностью бойцам-красноармейцам за любовь к его песням. Текст автобиографии вместе с лаконичным, но незаурядным письмом, пошел в почтовом вагоне на Челябинск, дабы добраться уже и в третье тысячелетие, пережив автора с публикатором.

3. Новый гимн

Заканчивался еще один год войны. Она тяжело откатывалась на запад к своим истокам. Храня неистребимую традицию, люди готовились к Новом году. На рынках розовело свежее сало, манила солонина, пахнущая чесноком, стыли кутаные в теплое тряпье яблоки, ежились азиатские сухофрукты, золотился крупно порубленный самосад, далеко пахло на настоящем морозце настоящим ржаным хлебом. Спирт и самогон из-под полы отчасти заменяли шампанское.

Ансамбль Фатьянова был занят в новогодних концертах.

В клубах и школах стояли наряженные елочки. Тяжелые

звезды на их зеленых верхушках уходили от своего библейского смысла и казались украшением погон елочных генералов. Звенел мороз. Звенели бокалы и стаканы, стучали оловянные кружки в квартирах, казармах и землянках, завершая один и тот же тост о даровании Победы.

И артисты в своей казарме порезали сало, хлеб, разломили истекающего жиром язя, наполнили стаканы. В тот Новый год впервые звучал новый гимн СССР. Спокойная, величественная музыка Александрова, гордые, торжественные слова Сергея Михалкова и Гарольда Эль-Регистана доходили до сердца русского и марийца, якута и литовца, украинца и армянина… Весь «нерушимый союз» стоял навытяжку, почитая суровое явление нового гимна. Через секунду после заключительного аккорда пробили Кремлевские куранты во всю громкость репродуктора — они несли привет из отдаленной Москвы, окутанной снеговыми провинциями, как маскировочным халатом. Так для Алексея Фатьянова наступил 1944 год.

От Башкирии до Москвы

1. Концертные будни

В феврале 1944 ансамбль с новой программой двинулся в скотоводческую Башкирию. Видит ли гастролирующий артист новые города и веси, удовлетворяет ли в себе чувство познания окружающего мира? Нет, он бежит, он торопится с выступления на выступление, а их в день бывает от двух до пяти в день. И только утомленный беготней сопровождающий бодрится: «Вот, тут у нас достопримечательность, здесь было событие… В нашем городе летом жарко, как в Сингапуре, а зимой трепетно, как в ГлавПУРе… Ха-ха-ха….». Потом, когда все кончится, гастролеры вспоминают: «А-а, Башкирия? Были, были, как же… Красивая земля…».

Артисты бегут дальше, мчат на машине, взбираются по лестницам, расчехляют инструменты для следующих подмостков, разминают голоса, протирают сапоги, оглаживают гимнастерки. Они выступают отлично. Городские ДК сменяют колхозные клубы, школьные спортзалы — учебные полигоны на открытом воздухе…

Вечером, кое-как перекусив, ребята падают на скрипучие койки уездных гостиниц без последних сил. А утром — вновь румяны и свежи, инструменты их настроены, голоса в порядке. Змеится по коридору живая очередь к зеркалу над умывальником, перед котором бреются уже трое, вытягивая под полотна бритвы упругие молодые щеки. Глазастая горничная, как пушинку, несет тяжелый чугунный чайник с варом, чтобы водица не была студеной. По пояс голые, они не замерзают, ополаскиваются ледяной водой, ухают, брызжутся, смеются. У одного из них волосы на груди растут крестом. Естественный наперсный крест — во всю грудь. Знак Божий. Это — Алексей Фатьянов. Он весел и свеж, как майский ветер, он огромен и легок, как летнее облако. Он играючи покоряет зрителей, он пишет жизнелюбивые стихи и ждет перемен — он получил письмо от Соловьева-Седого.

2. Большие перемены

В феврале 1944 года, перед командировкой в Башкирию, Алексей получил это письмо от Василия Павловича. «Я еще не был у Царицына, но тобой усиленно заинтересовался Александров для своего ансамбля, так что, если это тебя трогает, напиши по адресу: Гостиница «Москва», мне». Алексей

обрадовался и написал, что мечтает быть там, где и его соавтор. Тем более, что ансамбль Александрова всегда выступал на передовой и вписавшись в его коллектив, он неминуче оказался бы на фронте. Теперь он ждал, когда закончится его башкирская зима, зацветет весна, и наступит лето. Наметившийся перелом в войне после Курской дуги стал значительным, и казалось, что уже этот год будет решающим.

Зима помогла русским воевать. Мороз возник, как стихия Божия. Сверхъестественная помощь фронту не оскудевала. Броневой мороз держался до последнего природного предела, а потом из-под его брони прорвалась стремительная молоденькая весна. И в самый разгар Башкирской весны закончилась командировка красноармейского ансамбля Южно-Уральского военного округа.

Когда вернулись в Чкалов, в штабе округа лежала телеграмма Главпуркка, которая определяла новую судьбу рядового Фатьянова. Алексея вызвали в штаб и вручили ему командировочное предписание в Москву. Наедине, затворившись в казарме, он прочел еще раз официальный листок:

«С получением сего предлагаю вам отправиться в г. Москву для служебной командировки. Срок: со 2 июня 1944 года по 5 июля 1944 года. Основание: телеграмма Главпуркка № 16669.

Начальник штаба ЮжУрВО генерал-майор, военный комиссар Богданович».

Фатьянов, конечно же, не вернулся сюда ни пятого июля, ни пятого августа, ни после. Дорога ему лежала совсем в другие края, судьба его складывалась не хоровой и не ансамблевой. Поезд стремился к северо-западу, в вагоне мерещился московских воздух, монотонное тиканье колес манило, наконец-то, выспаться. В вещмешке лежали гостинцы для сестры и племянницы. Но охватывало такое волнение, что сон не шел.

3. Поэт? Адвокат? Любитель?

По приезду в Москву он показался себе моряком, только что сошедшим на берег после кругосветного плавания. Мудрая тишь провинциального Чкалова, уличная широкая свобода, к которым он привык, не вязались с московской сутолокой и торопливостью. Он задевал плечами прохожих, качаясь, как после бортовой качки. Он отвык от плотного потока людей. Трамвай довез его до дома. Три коммунальных звонка оповестили Дикаревых о том, что к ним пришли. Дверь открыла исхудавшая, почти взрослая Ия и заплакала, увидев дядю…

— Мы ждали тебя каждый день, не думали, что жив. Ты когда

научишься писать письма, дядя Алеша?

Да, он был скуп на письма. Последнюю весточку о нем Наталия Ивановна с Ией получили еще в Бессоновке в 1942 году. Два года тревог и волнений были годами ожидания. По радио они слышали песни своего Алеши, но там ничего о нем не говорили.

— Хоть бы пару строк своим химическим карандашом нарисовал: жив ли, здоров ли, не ранен ли, где он, на каком фронте или в каком тылу?

Но вот явился Алеша. И шутит:

— С каждой песней я передавал вам привет, а вот этого по радио не передашь, — и поставил на стол солдатский вещмешок.

Были там продукты, которых давно не видели мать и дочь, были и какие-то немудреные вещицы, любовно хранимые им для родных. Ия тем летом поступила на исторический факультет пединститута. Алексей слушал семейные новости, рассказывал о себе. Его комната за громоздким буфетом снова стала жилой…

Ранним утром Алексей уходил в гостиницу «Москва», где жил с семьей Василий Павлович. Оттуда они вдвоем шли «по инстанциям». И вскоре Алексей был зачислен завлитом в Краснознаменный ансамбль песни и пляски Союза ССР. Отметить это событие пришли вдвоем же, как заединщики, на Ново-Басманную, а позже Василий Павлович стал душевно тянуться к гостеприимному этому дому. А однажды все вместе ходили в гости к какому-то генералу, где ели пельмени, которые лепила собственноручно генеральская жена.

Теперь уже Алексей снова ежедневно уходил из дому на московские репетиции. А ночами, выкладываясь, как на марш-броске, писал концертные программы и сочинял поэтические репризы.

А Василий Павлович стал знакомить Алексея с друзьями-композиторами, причем Фатьянову в этом случае выделялась роль знаменитости. Композиторы интересовались поэтом, чьи песни звучали по радио так часто. Кто же он, откуда? — рассуждали, гадали. Ходили слухи, что этот одаренный человек — пожилой адвокат, который балуется стишками, оренбуржец, случайно повстречавшийся Соловьеву-Седому. Иные утверждали, что он — татарский национальный поэт, которого «делает» переводчик-аноним. Споры эти не рождали истину, а выдвигали новые и новые запутанные версии сословного происхождения и статуса автора «На солнечной поляночке», «Ничего не говорила», «Застольной», «Звездочки».

О том, как встретила Фатьянова композиторская Москва, вспоминает Сигизмунд Кац: «Все эти сплетни и слухи сразу опроверг приезд Фатьянова в Москву из города Чкалова летом

1944. Он оказался красивым, высоким, широкоплечим блондином с приятным открытым русским лицом — этакий Добрыня Никитич в солдатской шинели. Он сразу вошел в наш «песенный круг», и мы быстро подружились».

Конечно, в июньской Москве, славной своей огнедышащей жарой, в зимней шинели ходить было бы невозможно. Скорее всего, Сигизмунд Кац увидел в поэте эпическую фигуру Русского солдата, для которого шинель — и броня, и постель, а зачастую и кров.

Многие композиторы хотели бы поработать с Фатьяновым, но он, как верный товарищ, как благородный и благодарный человек признавал среди них до поры только Соловьева-Седого. Да и равных по простоте и изысканности мелодий этому композитору не было. Да, Фатьянов, казалось, принадлежал всем, широкая душа. Но, несмотря на широту, в нем была некоторая настороженность по отношению к новым знакомым, свойственная цельным людям. Его дружелюбие люди часто принимали за дружбу. Но будучи очень ранимым в отношении своих стихов, он внутренне боялся нарваться на скептицизм, иронию и бестактность в их оценке. Оттого он не впускал в свой творческий мир новых людей, ограждая себя свойственной только поэтам «поэтической» целомудренностью.

Тем летом случилась еще одна радостная встреча. На противоположной ему стороне улице Горького Алексей выхватил из толпы прохожих лицо Александра Подчуфарова.

— Сашка! — закричал он и, увидев, что обернулись два десятка «Сашек», кроме нужного, прибавил голоса: — Чка-а-лов!

На остановившегося с широченной улыбкой «Чкалова» не успели налюбоваться зеваки, потому, что он прыгнул через ограждение и с распростертыми объятьями побежал через проезжую часть туда, где, как на голубятне, высоко размахивал военной фуражкой высоченный и мало кому знакомый в лицо Алексей Фатьянов.

…Они зашли в знакомое местечко выпить по сто граммов «наркомовских». А после того, как разговор от бурных междометий перешел в плавное течение, Александр сказал:

— Вот так, Алеша, оказывается приходит слава — твои песни поют везде! Твоя фамилия звучит, как фронтовая гармошка!

— Какой Слава приходит? — притворно удивился Фатьянов и подмигнул: — То-то, брат! А я что говорил?

Подчуфаров подмигнул в ответ и поправил:

— А мы что говорили!

На обоих были военные гимнастерки, и оба разъезжались из Москвы. Александр вскоре отправлялся опять на фронт. Алексей

вместе с ансамблем готовился к гастрольной поездке в освобожденный Харьков.

Ансамбль песни и пляски Алескандрова

1. Из истории ансамбля

Самый главный военный ансамбль страны принял молодую знаменитость. Несомненно, он стал козырем ансамбля, третьего в своей творческой судьбе, первого среди всех. Александр Васильевич Александров был доволен. Он любовался молодым богатырем, который знал толк и в пенье, и в пляске, мог сочинить по случаю яркую репризу, реплику. Казалось, этому талантливому «крестнику» Соловьева-Седого любая нагрузка — по плечу. О нем давно твердил Александрову композитор, являясь на репетиции собственных песен, и, оказывается, был прав. Фатьянов стал находкой для его возлюбленного детища, он истинно был достоин «его» ансамбля.

Стареющий музыкант делил свою отчую душу между восемнадцатилетней женой и ансамблем. В каждом молодом артисте он мог бы предполагать соперника, а все они были красавцы на подбор… Но убеленную сединами голову он держал с достоинством Цезаря, а любящее его сердце умело отличать любовь от легкодумной страсти.

Он создал и полюбил этот грозный и красивый ансамбль. До 1928 года в стране ничего подобного не было. Не однажды Александров говорил с друзьями о том, как неплохо бы было иметь государственный военный ансамбль. А друзья — военный культработник Феликс Данилович и театральный режиссер Павел Ильин — вдруг приняли его невероятные мечты, да и «благословили» его, и взялись помогать. Климу Ворошилову весьма понравилась эта затея, и с его поддержки скоро такой ансамбль появился при Центральном Доме Красной Армии. Возглавил его профессор Московской консерватории Александр Васильевич Александров. Сам Иосиф Виссарионович не остался безучастен, он профессору по-человечески симпатизировал. Они могли подолгу разговаривать в затворенном кабинете, Александров заходил к нему запросто, без церемоний. Еще в дореволюционной Москве, да и в церковной России регент Александров пользовался высоким музыкальным авторитетом. А Сталин, как известно, когда-то учился в Тифлисской Духовной семинарии.

Сталин так и не смог в духе времени презреть это свое прошлое. Он иногда появлялся на Елоховской улице в Богоявленском соборе, где Заступница Казанская внимала его

горячим молитвам. Он верил, что его молитва спасительна для России, как молитва Государя. Но он не был Государем, увы.

Бывший семинарист Сталин молчаливо доверял последнему регенту храма Христа Спасителя Александрову. Он знал, что тот родился в Рязанской губернии, в семье безупречной церковной репутации. Воспитанный в привычке к частым богослужениям, с детства познавший все грани клиросного послушания, Александр закончил консерваторию по классу композиции. К двадцати двум годам он дошел до такого мастерства, что стал регентом архиерейского хора Твери. Также он воспитывал и сына, с младенчества понимающего различия между церковными гласами. Бориса он растил своим соратником и продолжателем. Дискант сына возносился под величественный купол храма Христа Спасителя, послушный мановениям отцовской руки. Катастрофа духовной жизни страны 1917 года не помешала 35-летнему регенту продолжить свой путь выдающегося музыканта — он стал преподавать в Московской консерватории. Тринадцатилетний Боря продолжал учиться музыке, а юношей стал любимейшим студентом Р.М. Глиэра и С.Н. Василенко. Он шел по стопам отца, рано начав преподавать в консерватории. Это он в созданном отцом ансамбле был и администратором, и секретарем, и капельмейстером. Только он один мог бы и поддержать, и заменить отца на его блистательном поприще. Да, Иосиф Виссарионович с симпатией относился к этому семейству. И ему также пришлась по душе идея военного ансамбля.

Первыми артистами были двенадцать парней, одетых в гимнастерки с отложными воротничками с лирами на петлицах, в галифе и мягких концертных сапогах с узкими голенищами. Не нужно было думать над сценическими костюмами для коллектива, который назывался Ансамблем песни и пляски Красной Армии. Церковная дисциплина сродни военной, понятие долга не имеет комментариев. Скоро Александров возглавил в консерватории военно-капельмейстерский класс.

Теперь их было около сотни, целая рота. Оркестр, мужской четырехголосный хор, смешанная хореографическая группа — вот до каких масштабов разрослась маленькая группа артистов. Их знали в Европе, и в 1937 году из видавшей виды эстетской Франции они увезли в «варварскую» Советскую страну «Гран при». Маленькая женственная Франция тогда пережила эстетический шок. «Калинка», спетая удалыми молодцами, после этого стала символом России во всем мире. А двумя годами раньше они приняли, как святыню, почти боевую награду — Красное Знамя с орденом Красной Звезды на нем.

2. Завлит Алексей Фатьянов

А теперь они пели «Калинку» перед фронтовиками, и плясали так, что у зрителей перехватывало дыхание. Отлаженное до эффекта невесомости исполнение рассеивало и пороховые тучи, и тяжелые думы. Они пели «Священную войну» на музыку самого Александрова, и даже немцы по ту сторону линии обороны, бывало, заслушивались и исполнялись неуверенности и страха. Артисты воистину воевали на сцене. Этот ансамбль был вторым храмом Христа Спасителя и для своего пожилого капельмейстера, и для своего служилого зрителя. Как в Храме во время соборной молитвы о Родине, пряталась в раннюю морщину солдата невольная слеза — слеза в оправдание жизни и смерти за Отечество.

Алексей Фатьянов знал, что с Ансамблем песни и пляски Советской Армии он побывает на фронте. Но не ведал он, что недолго задержится здесь, и что отсюда его поведет прямая дорожка на передовую. Он репетировал до полуночи, упиваясь самим воздухом Центрального Дома Красной Армии. Он любовался руководителем и чувствовал его мистическую силу. Александров был для артистов почти божеством, таким, как прежде был Дикий для своих студийцев. В 1943 году, после победы в Сталинградской битве, Александр Викторович получил звание генерал-майора. Генеральский мундир не мог не красить отца-героя. Поговаривали, что о нем, живом, пишется литератором Поляновским книга.

В августе 1944 года, получив новую форму одежды, «бойцы» ансамбля отправились в Харьков. Наталия Ивановна и Ия опечалились, что в Москве Алеша задержался так ненадолго. Они пришли провожать его в погожий вечер на Киевский вокзал, где потерялись в гуще одинаковых, защитного цвета гимнастерок. Эти гимнастерки заполнили перрон, воскрешая привычную картину мобилизации. Прохаживался величественный Александров с юной женой, все ждали отправления поезда. Наконец, перрон опустел, и их Алеша исчез в двери вагона. Прозвонил вокзальный колокол. Поезд ушел.

Была «отыграна» провальная Харьковская операция сорок первого года.

Харьков, освобожденный год назад, только теперь начинал привыкать к мирному течению жизни. Город все еще лежал распластанным, похожим на призрак. Полной разрухой и руинами он встретил артистов. Не хотелось ни петь, ни смеяться, как на похоронах. Хотелось говорить шепотом, как у постели тяжело больного. Артисты молча расселились в гостинице.

Завлит Ансамбля Фатьянов получил маленькую отдельную комнатку-кабинет. Чуткий Александров похлопотал об этом, он знал, что для творчества нужно уединение. Алексей спешно сочинял песни, программы и репризы, вникая в нюансы каждого предстоящего выступления. Шок от увиденного прошел, и Алексей уже шутил по поводу своих уединенных трудов:

— У меня не кабинет — у меня здесь комбинат!

Началось вдруг непривычное для южного лета похолодание.

Гостиница не топилась — артисты мерзли. Никто не запасся теплыми вещами, поскольку ехали в лето. Никто не думал, что в августовском южном Харькове будет так холодно. И только у Алексея было тепло — уж очень маленькой была комнатушка. К нему приходили продрогшие товарищи попить чайку, послушать стихи, подымить да погреться. Временами, отрываясь от литературных набросков, он глядел в окно, откуда видны были воронки от бомб и разрушенный, жилой некогда дом. И снова ему казалось, что он заливается краской стыда. Тянуло к оружию.

«Уйти на фронт солдатом…», — начинал он думать и вдруг понимал, что думает стихами, что они — в его крови, душе и плоти. И он не знал, что скоро будет на фронте не рядовым артистом, а рядовым бойцом.

3. Наказание

Галина Николаевна Фатьянова хотела с нею встретиться… Она знала, что вдова Александрова жила в знаменитом сером доме у каменного моста — «доме на набережной». Но эта женщина умерла, и тайна осталась тайной. Известно только, что из-за нее заведующий литературной частью рядовой Фатьянов был отчислен из ансамбля после рапорта Александрова и отправлен в войсковую часть на фронт.

По словам Галины Николаевны, дело было так.

…В тот день солисты ансамбля во главе с Александровым выехали на концерт в прифронтовую полосу. Алексей остался в гостинице потому, что не был солистом. Он был завлитом, и ему надо было выполнить задание руководителя — подкорректировать программу очередного выступления. Он писал вставки, соединения между песнями, небольшие четверостишия о бойцах, которые хорошо себя проявили в боях. Как это уже упоминалось, в гостинице было холодно. Он сидел в своей маленькой комнатке, сидел на стуле за столом, и писал. Сам он был крупный, а комнатка — маленькая, и в ней было относительно тепло.

А генеральские хоромы Александрова было не протопить. Его

жена, бывшая танцовщица ансамбля, Лаврова, продрогла. Она шла по коридору и стучала во все номера, дошла и до комнатушки Фатьянова. Заглянула — он «дома».

— Ой, как у тебя тепло, — обрадовалась Лаврова. — Я замерзла. Можно, я у тебя посижу?

— Можно, сиди… — ответил Алексей. И продолжал увлеченно писать.

В комнате был всего один стул, на котором сидел Алексей. Гостья присела на кровать, согрелась и задремала. В это время вернулся ансамбль. Александров не обнаружил жены в своем номере, он повторил ее маршрут — так же шел по коридору, стучал во все номера, и нашел ее у Фатьянова. Он сидел за столом, писал, а она — спала на его кровати. Ситуация, разумеется, двусмысленная. Но ведь надо знать Фатьянова. К тому же, не спи Лаврова и не уйди глубоко в работу поэт — нашлось бы время для ретирады: ансамбль приезжает шумно, а в гостинице — тишина.

Все парни в ансамбле были красивые, молодые, яркие. Но все они были простыми исполнителями, а Фатьянов все же был выдающейся личностью. В нем стареющий Александров мог почувствовать соперника. Но таких ли романических побед желал Фатьянов? Более всего он мечтал о прямом участии в боях за Большую Победу.

Последовало наказание. По рапорту от 30 августа 1944 года поэт попадает в действующую армию.

Он в ножки мог бы поклониться и Александрову, и его жене за такое наказание.

Все происшедшее и не было наказанием для него, вымаливающего приказ «на фронт». Теперь он мог уже со всей полнотой чувств написать:

…Пришла и к нам на фронт весна…

Осень сорок четвертого

1. Размышления о штрафбате

Сведения об этом периоде жизни Алексея Фатьянова носят путаный, сбивчивый, отрывочный характер. Автор попыталась выстроить мозаику из воспоминаний и архивных документов, дабы прояснить истину. Хочется думать, что мне это удалось. Например, не менее как два авторитетных биографа Фатьянова (Г.Н. Фатьянова и Ю.Е. Бирюков) сообщили мне, что Алексей Иванович после описанного инцидента попал в штрафбат. Об этом неоднократно писали журналисты и литераторы, в том числе и я, о чем сожалею. Теперь, проанализировав ситуацию всеми доступными способами, я уверилась в том, что это не так. Во-первых — стал ли бы позорить свои седины сам генерал, предавая огласке сей некрасивый случай. Бойца отправили в штрафбат… Но за что? В штрафбате воевали в основном зека. Отправить туда могли лишь за серьезное преступление. Суровое требование «послать в штрафбат» нужно было обосновать. Нужен и приговор военного трибунала. Ведь послать в штрафбат — это сослать на верную гибель. Верит ли молодость в верную гибель? Лермонтов, будучи разжалован, шел в свой штрафбат на Кавказ с бравой радостью. Может быть, и Фатьянов испытал бы схожее чувство, получив такое суровое взыскание. Но он не был в штрафбате.

Как мог бы обосновать Александров требование такого серьезного наказания? «Ввиду того, что он был замечен соблазнителем молодых жен»? Но любой, читающий подобный документ, невольно домыслил бы ситуацию иначе. Молодая жена генерала, пользуясь некоторой властью не только женских чар, стала бы в этих домыслах соблазнительницей поэта, чем сразу был бы унижен знаменитый супруг. Оклеветать Фатьянова, приписать ему какой-то другой проступок? Но это был не обычный подчиненный, а знаменитый поэт, который не проглотил бы обиду молча, тем более, что дело касается не только женской, но и мужской чести. Мог ли Александров — человек истории, человек, естественно пекущийся о своем реноме, поступить столь опрометчиво? Вероятнее всего версия, что он просто поспешил избавиться от вызывающего в нем тревогу молодого человека. Рискну предположить, что он вызвал Фатьянова и спросил: — «Куда же, мол, голубчик, тебя теперь девать?»… Таким образом давая поэту возможность изъявить символическое «последнее

желание». А куда мог попроситься Фатьянов? Военных ансамблей было много и фронтов тоже. Фатьянов мог попроситься только на передовую. И, скорее всего, Александр Васильевич учел это прошение. Трудно вообразить себе, как ощущал бы себя этот старомодный и воспитанный в благородных традициях человек, если бы с его подачи Фатьянов попал в штрафбат и погиб безвестным героем в какой-нибудь из лобовых атак. Вероятность такого развития событий очень мала. Вероятней, что командир удовлетворил просьбу подчиненного и отправил того подальше от греха, издав следующий приказ, который — в отличие от мнимого приговора военного трибунала — сохранило для нас время:

«Артист красноармеец Фатьянов А.И. направлен на пересыльный пункт для службы в рядах действующей армии.

Начальник Краснознаменного ансамбля песни и пляски Союза ССР профессор, генерал-майор Александров. 30 августа 1944 года».

Ни о штрафбате, ни о трибунале нет речи в этом приказе, найденном в грудах пыльных архивных документов и опубликованном литературоведом и журналистом Татьяной Малышевой в ее книге о Фатьянове. Это во-первых.

Второй довод еще более убедителен, на мой взгляд. Мог ли рядовой штрафного батальона быть награжден знаком боевого отличия, каким бы непревзойденным мужеством он не отличился? Никак не мог. Алексей же Фатьянов за участие в кровопролитных боях под Секешфехерваром получил медаль «За отвагу». Медаль эта наиболее уважаема среди других. Ее достоинство в военной среде велико и неоспоримо. Это один из высших знаков солдатской доблести, который невозможно получить по штабной разнарядке.

И все это вместе взятое позволяет всерьез усомниться в том, что в некоем штрафном батальоне числился рядовой Алексей Фатьянов. Нужно лишь добавить, что при освобождении Венгрии легло 200 000 наших солдат и офицеров и что «штрафбатом» на этом направлении была вся передовая…

2. Когда написаны «Соловьи»?

Следующее несоответствие связано со знаменитой песней «Соловьи». По одним данным, она была написана в последние декабрьские дни 1944 года, по другим — в 1945 году, по третьим — и вовсе в начале войны… Есть воспоминания Петра Любомирова, однополчанина Алексея Фатьянова, где он описывает свое знакомство с поэтом в конце 1944 года: «Еще на фронте, услыхав в первый раз «Соловьи», еще тогда я подумал об

авторе этой песни, как о солдате: «Этот — наш. До последнего дыхания…» А когда Фатьянова увидел — даже обрадовался: он и на самом деле оказался солдатом, рядовым, носил такие же, как ты, погоны — без звездочек, даже без лычек». Согласно общепринятой версии, воспоминаниям автора музыка В.П. Соловьева — Седого, воспоминаниям о первых исполнениях песни, а также в соответствии с местонахождением поэта, которое установить оказалось нетрудно, она была написана в последние дни 1944 года, перед Новым, 1945 годом.

Но есть еще одно свидетельство более раннего знакомства с «Соловьями» — поэта Николая Старшинова. Поэт пишет, как будучи рядовым пехоты, он в августе 1943 года услышал песню «На солнечной поляночке». Далее он вспоминает: «А потом пошли одна за другой — «Соловьи», «Ничего не говорила», «Звездочка» и, наконец, «Давно мы дома не были»». Известно, что «Давно мы дома не были» написана сразу после победы, в 1945 году, «На солнечной поляночке» прозвучала в 1943. Если Николай Константинович называет песни в хронологическом порядке, значит, «Соловьев» он услышал в первые годы войны. Как могли слышать бойцы «Соловьев» раньше 1945 года? Откроем «Избранное» Алексея Фатьянова. Стихотворение датировано 1942 годом. Могла ли быть написана музыка к нему раньше 1944 года? Видимо, да. Это подтверждает известный музыковед и исследователь советской песни Юрий Евгеньевич Бирюков, который говорит о том, что была написана еще одна музыка к стихотворению — композитором Марком Фрадкиным. Может быть, первый вариант песни не получил столь широкого распространения, как второй. Песня на музыку Соловьева-Седого сразу же была записана на радио и скоро стала широко известной. Добавлю, что «первых» исполнителей этой песни насчитывается около десятка… Но это уже совсем другая история, сценическая.

3. В Ивантеевке

Итак, в первых числах сентября 1944 года после не скучной, но томительной актерской жизни Алексей Иванович попал в запасный полк на переформирование. Этот был Пятнадцатый самоходно-артиллерийский полк. В подмосковной Ивантеевке были собраны люди, для которых само переформирование оказалось больше, чем курортный отдых. Почти все они прошли не только фронты, но и госпиталя, имели на своих выносливых телах ранения, знали о боях не из газетных публикаций. Многие из них осваивали здесь новую военную специальность, по

состоянию ли надорванного здоровья, недостающую ли в ротах. Неспешно входили солдаты в столовую, наслаждаясь неторопливым, спокойным ритмом жизни, простая еда без привкуса порохового дыма им казалось вкусной, как дома. На гимнастерках некоторых поблескивала маленьким солнцем медаль «За отвагу», как некий негласно принятый народом ореол воинского дерзновения. В казармах играло радио, и бойцы отлеживались под его ненавязчивый разговор. Они, как могли, наслаждались ходом тылового времени, ожидая следующей отправки на фронт. Довольно часто голос радиодиктора вещал: «— А сейчас прозвучит песня на стихи Алексея Фатьянова…».

Алексей чувствовал себя здесь «своим среди своих». Он легко сходился с людьми, любил поговорить, любил послушать. Он был одной из версий Василия Теркина на войне. И не случайно позже к нему так потянулся и пожизненно прикипел Александр Трифонович Твардовский, словно увидел в нем воплощение своего литературного персонажа. Фатьянов же был счастлив тем, что стал однополчанином этих настоящих героев. Он без стеснения пристраивался к группкам ребят у клуба, столовой и казармы, он предлагал им свой табак и слушал их немудреные, мужественные рассказы. Его слава поэта тут же облетела весь полк, о нем шептались, дергали друг друга за рукав, когда он проходил рядом — «Фатьянов!..».

Однополчан хорошо веселило то, что известный поэт молод и здоров, красив и не горд. Он был таким же, как они — шутником, балагуром, добряком, и так же, как они, ходил на учения, исправно стрелял, с аппетитом ел столовскую «шрапнель». Новая форма была настолько ему к лицу, что, казалось, он и родился в ней. Некоторые молодые солдаты не стыдились, показывали ему свои фронтовые тетради со стихами, посвященными любимой, с патриотическими гневными строками. Он бережно правил их, хвалил ребят, подбадривал. Однажды к нему подошли ходоки из роты связистов:

— Написали песню о связистах, взгляните…

— Неплохо, — улыбнулся он и «прописал» строки химическим карандашом. На другой день на занятиях по строевой подготовке связисты гордо маршировали под собственную песню, выправленную Алексеем.

В эти дни из Ленинграда в Москву приезжала фарфоровая балерина Галя. Она казалась взрослее его, стала примой балета, получила хорошие роли. Балерина разыскала квартиру на Ново-Басманной, позвонила… Ия возила ее в Ивантеевку на паровике. Галина с трудом шла по гравийке в белых туфельках на артистически высоких каблуках. Алеша не ожидал ее видеть. Он

обрадовался, пригласил девушек в свою комнатку. Жил поэт прямо на сцене, в отгороженном кулисами закутке. Это и насмешило, и умилило девушек. Алеша тут же отпросился, его отпустили, и они с Галей несколько дней гуляли по теплой сентябрьской Москве.

Это была настоящая любовь, скрепленная страданием и расставаниями. Тревожными фронтовыми ночами, серыми днями, небритый, уставший от набрякших от грязи сапог и бессменной шинели, он припоминал с благодарностью те короткие летние часы. Кружилась голова от той радости, что она тосковала о нем, разыскала его в полудеревенской Ивантеевке, не пожалела дорогих туфелек, которые совсем испортились от дорожного щебня. Казалось, точеная балерина на сцене и его теплая, родная Галя — два разных человека, по-разному умеющие жить и любить. Со схожим чувством благодарности многими десятилетиями позже биограф Алексея Фатьянова Татьяна Малышева разыскала Галину. Она приехала в Ленинград, пришла в ее дом, позвонила. Но постаревшая балерина не захотела ее впустить, не пожелала говорить, и предпочла остаться неузнанной. Конечно, она осталась по-своему права.

К середине сентября войсковое подразделение, в которое был зачислен рядовой Фатьянов, вошло в состав Шестой гвардейской танковой армии Второго Украинского фронта. Ее части стояли в Ивантеевке, Нижнем Новгороде, Днепропетровске…

4. Фронтовой корреспондент

Пришло время — бойцов и технику погрузили в эшелон, который двинулся к фронту. Теперь время шло быстро, отсчитывая километры, как секунды. Скоро они высадились в Днепропетровске, где некоторое время стояли в вч 05916. Были по пути и другие воинские части, да они не задерживались в памяти из-за краткого в них пребывания.

Рядовой Фатьянов получил приказ принять на себя обязанности фронтового корреспондента 6-й гвардейской Танковой армии. В редакции армейской газеты «На разгром врага» ему выдали «лейку», планшет, набор карандашей. Там же ему в знак благодарности за песни дали новенькую офицерскую форму «п/ш», что значит — полушерстяная. Это было, несомненно, вольностью для рядового. Но в песенном искусстве Фатьянов давно уже не был рядовым. Неважно, что во всю мощь аршинного плеча лежали солдатские погоны. Переступив европейскую границу, он сфотографировался на свою лейку в красивой форме, с щегольски выгнутой в зубах «козьей ножкой».

Классический фронтовой корреспондент: лейка, планшет, козья ножка…

По двадцати-тридцати километров в день войска продвигались маршем вперед…

Непрестанно шли и затяжные дожди европейской осени 1944 года. Венгерская равнина раскисла. Танки и самоходки разворачивали за собою пласты жирной грязи. Вдоль лесных дорог стояли гигантские грибы, никем не собранные, пропитанные дождем. Зажиточные господские усадьбы смотрелись сиротливо, заброшенно, их пожилые владельцы, свекры-господари — подавленно. В погребах провисали копченые окорока и слоился пересыпанный красным перцем шпиг. Венгры неприветливо встречали русских, не совали им с улыбкой домашних гостинцев. Всем надоела война. Хозяйки в белых фартуках запирали ворота и жестко смотрели из-за коротких занавесок своих коттеджей вслед уползающим в распутицу танкам. Их лица казались Алексею некрасивыми.

Уже в середине октября 1944 года Второй Украинский фронт через Румынию вышел к границам Венгрии и Югославии. Южнее, по румыно-югославской границе, развернул свои войска Третий Украинский. Часть боевых сил Второго Украинского фронта уже вышла на подступы к Будапешту. Военные чувствовали, что впереди — кровопролитная битва за Венгрию, мужчины которой воевали на стороне гитлеровской Германии.

Советские танки уже двигались от города Дебренеца к озеру Веленце.

Озера Балатон и Веленце вместе с перешейком между ними были укреплены знаменитой линией Маргариты. Подступы к линии Маргариты — испещрены сетью каналов и водохранилищ, которые по причине мягкой зимы не замерзали еще в декабре. Этот оборонительный рубеж протяженностью сто десять километров, обращенный фронтом на юго-восток, противостоял нашим войскам. Чтобы обойти Будапешт с запада, не было иного пути — только через этот ощетинившийся огнем перешеек.

По сводкам не узнаешь ты,
Что ветер стих, что плохо спится немцам,
Что с наступлением темноты
Вскипает бой у озера Веленце…

Стихотворение «Вчерашний бой» стало тогда своеобразным газетным репортажем.

Полуторка прыгала по кочкам обочины в хвосте бронеколонны. В ней размещалась походная типография и

редакция армейской газеты.

Алексей перемещался на головных машинах. Он жил этими непролазными серыми буднями, считая, что должен видеть происходящее сам, сам должен участвовать. Готовые фронтовые репортажи и очерки он передавал в редакцию ежедневно, а иногда и чаще.

Армии же, подошедшие к Будапешту с востока и юго-востока вели смертельные, многотрудные бои.

Военачальники знали, что если, ложась костьми, не выйти в тыл будапештской группировке гитлеровцев, то те смогут мобилизовать для обороны новые силы и средства, а это грозит нам еще большими потерями.

Через пару дней после занятия нашими войсками обороны началась их перегруппировка. Офицерам стало ясно: удар нацелен на главный оборонительный узел, город Секешфехервар. Бои за него позже войдут в историю той войны, как одни из самых кровопролитных.

Вероятно, Фатьянов видел ту знаменитую артподготовку, о которой один из пленных венгерских офицеров рассказывал: «… снаряды ложились один около другого. Позднее налетели русские самолеты — это был сплошной ад, нельзя было высунуть носа…». Плотность огня тогда была такова, что каждый залп уничтожал все живое на линии в шесть километров — вал огня прокатился через линию Маргариты. Семь с половиной тонн снарядов выпустили советские пушки, но гул разрывов не прекратился — «работали» штурмовая и бомбардировочная авиация. Слышался стрекот бьющих по нашим самолетам «эрликонов». Авиационные офицеры с НП хрипло выкрикивали в микрофоны корректировочные команды. Разрозненные гитлеровские части отступали в направлении Секешфехервара, как и предполагало командование.

Можно представить, как горячили эти бои юношеское беззрассудство Фатьянова, и что репортерская работа отошла в тыл, на запасные позиции! Как хотелось ему даже ценой собственной жизни доказать себе, друзьям и Отечеству, всем живым и мертвым, что он не поэт, не артист, а в первую очередь — воин. Шли сообщения, что какие-то подразделения Третьего Украинского вошли в пригород Секешфехервара, и захваченные ими немецкие орудия уже бьют по врагу, что город защищают три танковые и одна пехотная дивизии немцев с поддержкой двух дивизий венгерской пехоты…

И советские войска вошли в город в ночь католического Рождества. В костелах шла праздничная месса, но мало было молящихся. Те, кто остались дома, с вечера не решались

подкрасться к рождественским индейкам. Они так и оставались в остывших печах, а жители города — молились по темным углам и дрожали от страха. В ту ночь в небе не видны были звезды. Из-за сплошного огня оно становилось белым, как днем. Старые набожные венгры догадывались, что просто так в святую ночь не могло быть такого ада. Значит, в чем-то они провинились перед Младенцем Христом…

Автоматчик Алексей Фатьянов был в самом первом советском танке, ворвавшемся в город. Здесь он получил пулевое ранение, после чего — направление на перевязку, медаль «За отвагу» и десятисуточный отпуск домой.

«Соловьи, соловьи, не тревожьте ребят…» Снова фронт

1. «После декабря приходит май…»

На Киевском вокзале Москвы шел новогодний снег. Голос дикторши был ровен и мелодичен, как в мирное время. Мягкий снег сыпался на рельсы, убеляя и уравнивая все кругом. Близкое предчувствие победы переполняло спешащих к вагонам людей. Могло бы показаться, что нет войны, и снова начинается жизнь вместе с наступившим 1945 годом, сулящим мир. Но все пассажиры вокзала были мужчины, и серые их шинели красили праздничные дни в цвет военного пороха. Алексей шел по перрону в сопровождении племянницы Ии, крепко вцепившейся в рукав его шинели. Ей было трудно оторваться от Алеши, который хоть ненадолго скрасил их с матерью жизнь. Теплые влажные глаза, глаза беременной женщины, смотрели на него с тоской и лаской. Отец будущего ребенка оказался из армейских ловеласов и оставил Ию. Дядя, единственный мужчина в их семье, снова уезжал на фронт. Алексей подбадривал ее, шутил, обещал вернуться и понянчить «внучка». Ие становилось радостней от его привычного с детства сильного голоса.

Наконец, он вошел в солдатскую теплушку и снял шинель. Музыканты играли полный трагизма марш «Прощание славянки». За стеной вагона поплыл перрон, унося в прошлое пребывание Алексея в Москве.

Солдаты в вагоне спали. Они знали, что такого «дежурного блюда», как сон — на фронте не подают. А фронтовой корреспондент Алексей Фатьянов вновь приступил к своим обязанностям, доставая из планшетки тетрадь и химический карандаш. Он уже писал о разоренной стране, о молодках и старухах, которые на полустанках тянут к солдатикам руки с кукурузой, салом, яблоками… Он записывал жадно, всем своим чистым и большим сердцем веруя, что его свидетельства — это свидетельства человека сопричастного к трагической истории Родины и творца самой этой Истории.

Бои не прекращались. В поле — две воли: кому Бог поможет. А Бог правду любит.

Фатьянов вернулся в военную Венгрию. Места расположения противоположных войск были настолько близки, что иногда до нашего лагеря долетала популярная в то время песенка:

После декабря всегда приходит май…

Как-то в занятом фашистском окопе Алексей с удивлением увидел патефон и следы недавнего пиршества: обертки шоколада, сверкающие банки из-под тушенки. В солдатском блиндаже даже сквозь пороховой дым и чад пахло одеколоном. На столике — недописанное письмо некоей Магде, в котором ее просили ждать Курта с победой. Немецкие солдаты хорошо питались, щедро разламывали шоколадные плитки, слушали патефон. И плохо обмундированная и оснащенная, израненная советская армия побеждала только неколебимым чувством справедливости возмездия. Слова той патефонной песенки действительно были пророческими. Только чей это был декабрь и чей май? Выдержав жесточайшие бои в декабре под Секешфехерваром, русские солдатики уверенно шли к «своему» маю. Недокормленные, недобритые, недоспавшие, мечтающие «курнуть»… Они шли к победному маю, шли, чтобы в один из Пасхальных дней сотворилось чудо — закончилась Великая и, как мнилось, последняя, война.

2. Верный «Харлей»

Этот рядовой, казалось, был «на особом положении». Он мог запросто поговорить даже с командующим армии генералом Кравченко, бравым красавцем помкомом Потаповым. Кому еще могли простить непорядок в форме, позволить нацепить солдатские погоны на офицерскую форму? Но Фатьянову это позволялось, потому что его репортажи были сердечны, а песни становились частью народной души…

Однажды Фатьянов попал на концерт как зритель. К самоходчикам приехала бригада самодеятельных артистов, состоящая из танкистов, разведчиков и автоматчиков. Бойцы расположились в «зрительном зале» — в парке за порушенной усадьбой. Медлительно рассаживались на заснеженных обломках фонтана, осколках разбитого дома. Венгерская зима для русского солдата казалась терпимой. Больших морозов не было. А если из боя — в бой, то она оказывается попросту жаркой. Начиналась оттепель. Снег лежал волглый, стоптанный. Ощутимо дышали весной темнеющие, влажные деревья. Было пасмурно, и вражеские самолеты не решались уходить в сиреневое небо, они концерту не помешали.

Алексей не без ностальгии смотрел его. Выступал молоденький поэт-ведущий, вихрастый и остроумный. Баянист в

перерывах между игрой прятал озябшие руки в большие варежки. Много пели звонкими, окрепшими на морозцах голосами. И Алексей подпевал им свои песни. Он порадовался, услышав их в репертуаре бригады.

Фронтовой корреспондент сделал несколько снимков. Солдаты, узнавшие, что здесь присутствует поэт, написавший их любимые песни, устроили овацию, расходились довольные. Алексей подошел к недавнему знакомому Олегу Чепелю и рассказал ему о Москве, заснеженной и дальней, о своем отпуске, похвалил концерт. Они вдвоем помолчали, покурили со смаком привезенные из Москвы папиросы. И тогда Фатьянов поведал ему о новой песне. А потом — и спел, да и околдовал ею молодого артиста. Расставаясь, он спешно «строчил» текст в блокнот Олега. А потом очертания его богатырской фигуры, обвешанной фотоаппаратами, скрылись за парком зажиточного господаря. Он двинулся по разбитой дороге в поисках попутки.

Спустя время, он вновь повстречался с ансамблем, в котором пелись уже его «Соловьи». Олег Чепель волновался, когда исполнял песню. Ему очень хотелось понравиться автору. Услышав песню, Фатьянов был по-детски рад и до того расчувствовался, что захотел читать стихи. Он прочел поэму «Скрипка бойца». Солдаты сидели на клочках соломы в хлебном сарае, и не отпускали его, заставляли читать и читать. Смеркалось. А ранняя распутица совершенно разбила дороги, кругом буксовали полуторки. Алексей вяз по колено, путался в полах шинели, тяжелой от налипшей грязи. Думая о том, что снова нужно перемещаться пешком по разбитым танками дорогам, поэт посетовал на незавидную судьбу весеннего пешехода. И новые друзья взялись ему помочь.

Прежде Олег Чепель служил в трофейной команде, которая занималась сбором вражеской техники после боев. Его товарищи, узнав, для кого понадобился транспорт, постарались — они выбрали крепкий, мощный мотоцикл «харлей» с пулеметом в коляске, испытали его и доставили Фатьянову. Неприхотливый «Харлей» стал редакционным. Он резво носил своего нового седока по размолотым уходящей войной и грядущей весной дорогам Венгрии. А фронтовые новости становились все оптимистичней.

3. «Далеко родные осины»

К концу февраля, как это бывает, приморозило, и наступило зыбкое на войне затишье. Алексей уходил в европейскую рощу, окованную куржаком. Маленькая березовая роща, несколько

деревянных домишек, сугробы — все это напоминало русскую деревенскую околицу. Тянуло домой, родина казалась брошенной, как малое дитя. В блокнот вписывались торопливые строки, выплескивающие это настроение человеческой души:

Далеко родные осины,
Далеко родные поля.
Как мать, дожидается сына
Родная сторонка моя.

…Россия, Россия, Россия,
Мы в сердце тебя пронесли.
Прошли мы дороги большие,
Но краше страны не нашли.

Этому стихотворению была судьба стать песней, наполненной звуками сыновней грусти. Кто услышал ее сердцем — не забудет.

Неожиданно наступил март, сухой и теплый. Возобновились, словно оттаяли, бои под Секешфехерваром. В одном из них погибли комбаты танковой армии Скакулов, Смирнов и Лопатников. На левое крыло гвардейцев двинулись 43 немецких танка. Потери были велики. Лейтенант Козлов, батарея которого подбила 12 «тигров», лишился в бою глаза.

Вышло солнце вешнее,
Льнет к цветочку каждому,
Но люди мы нездешние
И все здесь не по-нашему, —

писал в те дни Фатьянов.

Все шли, и все погибали солдаты — нездешние, как говорят в русских селах, люди…

13 апреля советские войска, наконец, овладели Веной. И — как плотину прорвало: русский солдат нацелился прямиком на Берлин. Площади и парки Вены тем апрелем были покрыты цветами, целыми полянами пестрых цветов. А рядовой Фатьянов получил новое назначение. Теперь ему предстояло служить в Краснознаменном ансамбле Балтийского флота.

Артист ансамбля Балтийского флота

1. Соловьев-Седой вернулся с войны

К дому на Старо-Невском подъехал автомобиль. Из него вышли слегка погрузневший Соловьев-Седой с Татьяной Давыдовной и Наташа, их дочь. Они вернулись к дому, но не домой. Пока Василий Павлович с шофером доставали чемоданы, Татьяна Давыдовна поднялась в свой этаж. Квартира их была на то время занята. После звонка открыли дверь незнакомые люди. Это была семья из разбомбленного дома, которая вернулась из эвакуации раньше Соловьевых. В тот момент им некуда было идти, и они заняли пустующую квартиру. Теперь некуда было идти композитору с женой и дочерью. А сознание общего горя не позволяло затевать квартирные дрязги.

Татьяна Давыдовна подыскала пустующую и почти целую квартиру неподалеку. Кое-где в оконных рамах сохранились стекла. Они вновь поселились на Старо-Невском, и первое, что увидели из этих окон — ледоход. По Неве шел лед, заставляя обмирать сердце забытым предчувствием мирного лета. Город оживал. Сюда возвращались его люди, оставшиеся в живых. Василию Павловичу сразу же было предложено собирать концертную бригаду для выступлений на фронте. И он тут же вспомнил «сынка» Алешу Фатьянова. Своей творческой жизни — а для композитора это то же самое, что жизнь вообще — он уже не мыслил без Алеши. Тщательная «разведка» и умелая «тактика» дала результаты — в Ансамбле песни и пляски Краснознаменного Балтийского флота Фатьянов оказался нужен. И пошла государственная депеша через Европу, оставляя позади Прибалтику, Польшу, Румынию — прямо в Австрию… С получением той депеши рядовому Фатьянову приказывалось отбыть в Таллин, в распоряжение ансамбля моряков Балтики.

2. Победа

Ранним утром 18 апреля 1945 года Алексей Фатьянов прибыл в Таллин вместе с ценным трофеем — пишущей машинкой с немецким шрифтом.

В Таллине весна только начиналась. Алексей был рад, что жизнь ему дает возможность встретить весенний первоцвет еще раз. Он с удовольствием прошелся влажными улицами прибалтийского города. Встречались ему на пути в основном

мужчины в военном. Были среди них раненые, все говорили по-русски. Он миновал несколько госпиталей, успел заметить, что в городе очень чисто, как будто только что прибрано. Готические силуэты католических церквей здесь сочеталась с островерхими крышами небольших домов на экономно узеньких улочках — Европа. Прошла розовощекая эстонка, ведя за ручку белесого малыша, толкуя ему что-то на йокающем чухонском наречии. Алексей спросил, где находится улица Пикк, и она дружелюбно разъяснила ему дорогу. Переступая через звонкие апрельские ручьи, он спустился по горбатой улице, свернул, и вышел на улицу Пикк. Здесь, в доме номер шестьдесят семь, расположились репетиционные классы ансамбля и жилые помещения.

Фатьянов сразу сдружился с обитателями особняка, многие из которых тоже побывали на фронте. Были среди них не только композиторы и солисты, но и поэты. Алексею было о чем с ними поговорить, он чувствовал себя в своей атмосфере. Особенно сблизился Алексей с белорусом, ленинградцем Владимиром Сорокиным. Это был композитор, с которым ему суждено было написать несколько песен. Иногда Алексей уединялся, и тогда стрекотала его трофейная немецкая машинка за тонкой стеной. У него «шли» стихи, сценарии концертов. Да и война уверенно шла к своему завершению. Ощущение душевного подъема от приближавшейся победы вдохновляло.

Вскоре Алексей уехал с Василием Павловичем в Восточную Пруссию, выступать на передовой. Проезжая по знакомым местам, Алексей чувствовал себя бывалым воякой. В Европе уже господствовала весна и на фронте повсюду звучали их с Василием Павловичем «Соловьи».

Закончилась поездка, друзья разъехались, один — в Ленинград, второй — в Таллин. А вскоре Алексей получил возможность приехать в Ленинград, и два друга встретились на уютной домашней кухне. Василий Павлович крепко обнял своего «сынка» Алешу. С фронта шли хорошие новости. И появлялись новые песни, много песен. Той весной, свежей и ясной, Соловьев-Седой написал музыку к привезенному с фронта Фатьяновым стихотворению «Далеко родные осины», к стихам «Далеко иль недалечко», песню о Ленинграде «Наш город». Звуки песни надолго стали позывными радио Северной Пальмиры.

30 апреля 1945 года Алексей получил воинское звание сержанта. Ну что ж, это было, хоть и небольшое, но повышение.

А ранним утром 9 мая, в среду Светлой Пасхальной седмицы, многие проснулись от звуков автоматной пальбы. Сонные люди еще не совсем понимали, что происходит. В открывшихся в дни войны храмах шла служба, посвященная празднованию

Касперовской иконы Божией Матери. Пели в церквах благовестное «Христос воскресе из мертвых…». Молящиеся тревожно прислушивались к уличным звукам — звукам учащающейся пальбы.

Но эти выстрелы были предтечей долгожданного победного салюта.

Начиналось всемирное, всемерное и всенародное торжество… Такого празднования Пасхи Христовой не видал белый свет. Великая Победа свершилась на крови, унеся жизни двухсот миллионов советских людей против четырех миллионов жизней фашистов… Но все оставшиеся в живых не могли и не хотели скрывать праведного ликования. Они радовались тому, что жизнь продолжается, и они остались для нее, чтобы вернуться домой. «Давно мы дома не были», — как и Фатьянов говорили сотни тысяч солдатских уст. «Поскорее возвращайся домой», — отвечали каждому миллионы женских и детских сердец.

3. «Горит свечи огарочек…»

В Восточной Пруссии еще сопротивлялись остатки разбитой немецкой армии. Шел мистический «последний бой». Сопротивление перед концом жестокое и волевое.

В первой половине мая Соловьева-Седого вызвал маршал К.А. Мерецков. Ставка была встревожена изнурительными боями под Кенигсбергом. Бойцов необходимо было духовно подбодрить. И маршал обращался к композитору с просьбой выступить перед солдатами. Список частей, в которых следовало побывать, был уже подготовлен.

Василий Павлович вышел с аудиенции озадаченным. Нужно было сейчас же собирать не только дорожный чемодан — надо было спешно собирать бригаду. Согласятся ли те, с кем он ездил ансамблем с самого начала года, завтра же отправиться в поездку? И он принялся звонить своим друзьям…

Рано утром следующего дня помятый трофейный автобус подъехал к дому на Старо-Невском. Из подъезда к нему вышли Василий Соловьев-Седой, Татьяна Рябова, гостивший у композитора Алексей Фатьянов, солисты Федор Андрукович и Ефрем Флакс.

— Куда едем-то опять? — бормотал сонный Андрукович.

— Тут рядом, — отвечал Фатьянов. — Поехали…

Поехали.

Эта поездка была исполнена трудностей и одновременно напоминала кадры комедийного фильма. Первый концерт бригада должна была дать в предместьях знакомого уже Алексею

Таллина.

— Как настроение? — Спрашивал Василий Павлович, беспокоясь за морально-волевые качества наскоро сколоченной бригады.

— Как на мину наскочим — станет приподнятым! — Серьезно отвечал Фатьянов.

И громовой хохот в ответ на эту реплику говорил о том, что настроение у всех рабочее. Шофер оказался веселым и компанейским парнишкой. Он был горд тем, что везет знаменитостей и старался не оплошать.

— Я веду машину, объезжая мину! — гарантировал он безопасность, строчками из новой фронтовой песни.

— Если вдруг наедешь — я авто покину! — тут же обещал Фатьянов — и снова смех, как на школьном уроке.

Однако дряхлый штабной фургон никак не мог взять в толк шоферских стараний. Раздолбанный еще немцами, видавший все виды неестественных и естественных препятствий на фронтовых дорогах, он вполне мог бы стать почетным металлоломом. И когда выехали на прямую дорогу к Таллину, пассажиры на себе ощутили все «возрастные болезни» «старичка». Дороги были разворочены танками и самоходками. Фургон подпрыгивал выше собственной крыши на бесподобных колдобинах, пассажиры чертыхались. А им предстояло в дороге написать новую песню — написать и разучить. Время от времени мотор чихал, хрипел и лязгал металлом шестеренок. Иногда глох. Тогда шофер как будто с радостью разводил руками:

— Гитлер капут! — И выпрыгивал на пересохшие комья глины, подхватив инструменты. Пассажиры тогда выходили на лесную дорогу, и после бензинового чада легко дышали стойким еловым воздухом.

— Воздух! — Громко и одобрительно сказал Алексей. Водитель споро нырнул под машину.

Слышалось ровное пение моторов наших «ястребков», рядами пролетающих на запад.

Запоздало и дружно грянул хохот. Выпрастываясь из-под фургона, но не поднимая головы к небу, опытный водитель говорил:

— У них дорога — вот это дорога! Ни тебе ухабов, ни проверок, ни этого чих-пых!

— Плохо одно — под самолет при зенитном обстреле уже не залезешь! — Подтверждал Фатьянов.

И снова — дорога.

Навстречу им шли потрепанные и плененные немцы. Некоторые из них приветствовали трофейный автомобиль,

взмахами рук.

— Ты погляди, а?! — Орал водитель возмущенно. — Улыбаются фрицы-то! С чего бы это фрицу радоваться?

— Живы остались — и тому рады…

На перекрестках стояли военные регулировщики, которые флажками показывали объезды взорванных мостов и не обследованных саперами участков. Мимо бежали легковые автомобили, санитарные машины, танкетки, проносились мотоциклы. И снова автобус ломался, временно капитулировал, и вскоре пассажиры окрестили его «гитлером». Всех мутило от нескончаемой тряски и частых поломок. Стало понятно, что они опоздают к началу первого же концерта. Но и в таких привычно нестандартных условиях шла пристальная работа над песней, которую обязательно нужно написать. Хотелось порадовать фронтовиков новой песней.

Достали было карандаш и бумагу, да на очередном толчке они вылетели из рук и исчезли в потаенных «гитлеровских» катакомбах. Времени было мало. Поэтому работали все сразу. Фатьянов сочинял стихотворение, вслух импровизируя строчку за строчкой. Соловьев-Седой тут же импровизировал подходящую мелодическую тему, его жена расчехлила аккордеон и подбирала аккомпанемент. Ефрем Флакс поддакивал ей своим аксамитовым басом.

И слова этой песни складывались как бы сами собой. Простые и ясные, они говорили о том же, о чем могли говорить сейчас все поголовно солдаты, от генерала до сына полка. Все они давно не были дома, все они наливали по фронтовой чарочке под звуки недальнего боя, все они, освободившись от многолетнего напряжения, впервые могли попросту строить планы на будущее. Во всех землянках горели свечные огарки, самодельные лампы из гильз, дымные самокрутки… Мелодия складывалась такая же дружеская, легкая, как разговор по душам. Скоро пели все, хором, заглушая рев автобусного мотора. Аккордеонистка лихо поддавала аккомпанемент, все были счастливы — песня удалась! Вдруг на очередной кочке и в аккордеоне что-то хрустнуло — он смолк. Видно, напрочь отлетели планки. Но Ефрем Флакс, который стал первым исполнителем песни, репетировал ее под звонкие, распетые голоса попутчиков. Это длилось долго, так долго, что всем захотелось помолчать и посидеть в относительной тишине. Но время от времени кто-то, забывшись, начинал снова:

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой…

На нарушителя тишины все смотрели с мольбой и угрозой. Тогда Фатьянов снял пилотку и объявил, что любой, кто запоет песню, потерпит взыскание. Долго ждать не пришлось. Ефрем Флакс, который боялся ее забыть, без возражений отдал носовой платок.

Наконец, на одном из перекрестков регулировщик обрадовано сообщил водителю, что они прибыли как раз в нужную им часть.

Вечерело. Наскоро попив солдатского жидкого чайку, артисты вышли «на сцену». Их встретили радостными возгласами и громкими рукоплесканиями. «Сцена» была сымпровизирована на лесной поляне, на нее светили мощные «огни рампы» — фары нескольких автомобилей. Вся полянка была аккуратно усыпана мелким морским песком.

Концерт начался.

«Фатьянов читал стихи, Флакс пел много, вдохновенно и трогательно, не щадя ни голосовых связок, ни аккомпаниатора, не опасаясь ни фатьяновских штрафов, ни налетов вражеских самолетов,» — вспоминает В.П.Соловьев-Седой. Новую песню пели три раза, и всякий раз последние ее аккорды тонули в овациях. Бойцы как будто ждали именно эту песню, говорящую о елочке у родного крыльца, о месяце, таком ярком в родном небе, о девушках, нетерпеливо ждущих возвращения своих героев из далекой стороны… Этот концерт длился два с половиной часа, и мог бы продолжаться еще и еще. Вполне насладившиеся прелестями военной дороги артисты готовы были выступать хоть до утра, и уже согласились было заночевать в этой части… Но одно маленькое обстоятельство заставило их вновь сесть на «гитлера». Краснея от осознания собственной дерзости, командир сказал им, что выступали они не в той части, в которую ехали. Просто артистов обманули, заманив к себе. Просто очень хотелось послушать концерт… И никто не стал сердиться на командира. На войне, как в бане, все равны. Они быстро заняли свои места в фургоне и поехали вглубь войны. А далеко за полночь нагнали нужную часть.

…Два месяца выступала бригада перед артиллеристами, летчиками, моряками, танкистами, пехотинцами 2-го Прибалтийского фронта. Давали по три концерта в день. Почти два месяца, изредка и ненадолго возвращаясь в мирные Таллин и Ленинград, питались они из одного котелка, спали в привычном дряхлом «гитлере», накрываясь солдатскими байковыми одеялами.

А новая песня уже давно их опередила.

— «Горит свечи огарочек» будете петь? — Спрашивали гостей

солдаты.

— Будем! — Отвечал Ефрем Флакс и улыбался таинственно и душевно, как оперный купец «Садко».

Близкий друг Соловьева-Седого, он стал первым исполнителем многих его песен.

…Кто были его родители — трудно установить. Скорее всего, они были партийными деятелями, которых постигла участь без вести пропавших. Одинокий маленький Франя беспризорничал. Ночевки под котлами и в теплых зимних подвалах, горечь хлебной краюшки и сладость вдавленного в мостовую окурка — все это испытал Франя на собственной шкуре. Его с другими мальчишками периодически ловили милиционеры. И однажды он из детского приемника-распределителя попал в детдомовский хор. Пел в самодеятельном хоровом кружке, «живой газете», где его и приметил концертмейстер — студент ленинградской консерватории. Он настойчиво требовал, чтобы парень поступал в консерваторию. Это казалось невероятным — Флакс не знал ни единой ноты, общее образование его было слабым. Он свыкся с жизнью ломового извозчика, которым поступил в отрочестве — такая работа его устраивала. Но студент едва ли не силой затащил его к профессору И.С. Томарсу. Ефрем спел профессору арию Варяжского гостя, которую выучил на слух с патефонной пластинки. Больше он ничего из классики не знал. Профессор Томарс был редкостно привередлив. Однако он пообещал взять Ефрема в свой класс, ежели тот сдаст экзамены и чисто помоет руки.

Юноша-ломовой помыл руки с песочком и приехал на экзамен в телеге, на послушном своем битюге Мальчике. Привязал его к фонарному столбу и отправился в экзаменационный зал, где по всем предметам потерпел поражение. Его приняли на рабфак только за блестящие певческие способности. Однако Ефрем принялся учиться так пристально и прилежно, что вскоре пошел, переступая в год по два курса. Его репертуар становился все больше и разнообразнее. Неожиданно даже для себя самого он из оперного класса перешел в класс камерного пения профессора А.Б. Меровича. Так и началась его сценическая судьба, и появление на эстраде молодого певца Ефрема Флакса стало событием. Среднего роста, красивый, стройный, жгучий брюнет с красиво посаженной головой и взглядом оперного Мефистофеля, он покорил зрителя с первого концерта.

В первые дни войны Ефрем Борисович вступил в дивизию народного ополчения. Профессиональный шофер, он стал помощником командира взвода автомобильной роты. Его голос

тоже помогал ратному делу. Певец служил в агитационном взводе, работал с Соловьевым-Седым в фронтовом театре, бесконечно записывал новые песни на радио. С Василием Павловичем и Алексеем Ивановичем его связывали искренность характера, талант, добрая душа. В конце войны они приноровились ездить на выступления все вместе, прихватив с собой обладателя столь же прекрасного лирического тенора Федора Андруковича. Они с Флаксом пели дуэтом.

Обаятельный, благородный, вежливый, Ефрем Борисович, как ребенок конфеты, любил молоко. Он просто жить без него не мог. Частенько на фронтовых дорогах, почуяв сердцем присутствие рядом коровы, он просил остановиться у очередной покосившейся калитки. Добрые хозяюшки старательно угощали красавца-певца.

— Видали, какая молодка? — Говорил он, ставя на стол кринку так, чтобы не расплескать молоко. — Женюсь!

— Погоди! — советовал Алексей.

— Чего годить-то, Алеша? Женюсь!

— Молоко на губах обсохнет — тогда и женись. Да не заводи коровы! А заводи патефон — и слушай наши песни!

Оба смеялись от души, от ощущения молодой силы, оттого что впереди — вся жизнь.

Новые песни сержанта Фатьянова

1. «Потому, что мы пилоты» и другое

В промежутках между поездками в Восточную Пруссию Алексей возвращался в Таллин. Ансамбль по-прежнему базировался там. Отлеживаясь, он много читал и сочинял. В противоборстве казарменной строгости и лирических дней середины мая образовался новый творческий дуэт Владимира Сорокина и Алексея Фатьянова. Они написали цикл песен, посвященных победе: «Вспомним походы», «Ждут невесты женихов», «Гармошка поет» и «Возвращение».

Студеные ветры на море Балтийском,
На море Балтийском туман.
Возьми-ка, товарищ, наш верный, наш близкий,
Наш самый хороший баян.

Они были написаны в самых лучших традициях русской песенной культуры. Их безотлагательно записали в Москве в редакции Всесоюзного радио, готовился к выходу клавир. Осенью цикл передали «Последние известия» по радио в исполнении заслуженного артиста РСФСР А.П. Королева. Тем же летом были написаны с Соловьевым-Седым «Тропки-дорожки», «Веселая песенка о начальнике станции» и «Про Васеньку». Соавторы «облегчали» жанр, согласно требованиям тогдашнего искусства: ничего мрачного, только веселое, светлое, яркое… Тогда же им было предложено написать песни к фильму про летчиков малой фронтовой авиации. Назывался кинофильм «Небесный тихоход». Снималась эта черно-белая героическая комедия на Ленфильме. Автором сценария и режиссером был Семен Тимошенко, который набрал для работы замечательных актеров. Это была двадцать вторая роль в кино Николая Афанасьевича Крючкова, восьмая — Василия Васильевича Меркурьева. Снимались в фильме также Фаина Раневская, Василий Нещипленко, Алла Парфаньяк. Трое друзей — персонажей Меркурьева, Крючкова и Нещипленко — пели голосами актеров песню на стихи Фатьянова «Потому, что мы пилоты». Веселая, бодрая песенка с интонациями мужского здорового кокетства очень понравилась актерскому составу. Другого мнения были критики, но народная слава подминает под себя все, даже авторитетное мнение уважаемых искусствоведов. Вот уже почти шестьдесят лет эта песня не просто существует —

она живет, и поныне вызывает жизнеутверждающую улыбку. Ее хорошо чувствуют дети, чье чистое сознание не потрясено идеологическими ухабами.

И не было дня в 1945 году, чтобы не звучали фатьяновские песни на радио. Они шли целыми блоками, по нескольку раз в сутки. Слушали его песни и родные — Наталия Ивановна и Ия.

2. Крестник Андрюша

Алексей хотел приехать в Москву. В марте родился Андрюша — ему не терпелось увидеть внучатого племянника. А летом он получил командировку в Москву для работы на радио с песнями на музыку Сорокина. Вот и оказия.

Рано утром Алексей, наконец, прибыл в город своей юности и вышел из мягкого вагона «Красной Стрелы». Москва была красивой — красной, лето — красным, пахло терпкой пыльцой бархатцев, влажными после дождя улицами. Прозвенев, подошел красный трамвай. Алексей вскочил на подножку.

Он ехал домой.

Своим ключом он открыл дверь. Знакомая до щемящей сердечной истомы комната была озарена утренним солнцем. Оно ликовало на полу, на мебели, на корешках книг, оно трепетало на занавесках. На скрип петель вышла Ия, бесшумно заплакала и обняла Алешу. Из колыбели требовательно, радостно и громко вострубил младенец. На зов малыша прибежала с кухни Наталия Ивановна, да так и осела на подставленный ей стул:

— Алеша! Приехал…

…Крестили Андрюшу в Елоховском Бого-Явленском храме, главном соборе Москвы. Крестными пригласили Алексея и соседку по Ново-Басманной Женю Волкову. Скромно и тихо отметили Крестины, пригласили соседей. Алексея одни соседи очень любили, другие же — относились с иронией, потому что он всегда шумно, восторженно делился впечатлениями от новой прочитанной книги. Теперь пересмешники критиковали Фатьянова за привезенные им с войны трофеи: пишущую машинку с немецким шрифтом, несколько махровых полотенец и несколько бокалов из венского стекла.

— Чванов привез ножного «Зингера» и восемь бостоновых отрезов! — Шептала Ие молодая соседка с пятого этажа. — Три фарфоровых пастушки, три гобелена и настенные часы! А на этой машинке он что: немецкие деньги печатать будет?

— Наш Алеша не такой — он поэт, поймите! — пыталась объясниться Ия, едва не плача.

Пришел на выручку Алексей, по обрывкам разговора поняв о

чем идет речь. Улыбнулся, снял с руки часы:

— Возьмите! Я на следующей войне еще награблю!

— Да что вы, Алексей, что вы! — Засмущалась соседка, но часы взяла.

На Крестины приходила еще одна соседка, Ирина, которая вдруг показалась Алексею самой красивой и милой девушкой, которую он когда-либо встречал. Вспомнились длинные дни в армии, еще до войны, когда он думал об Ире. Военная любовь, красавица Галина, устраивала свою судьбу без него. Не долго думая, Алексей сделал предложение Ирине и пообещал, что скоро вернется. Нужно было уезжать. Работа на радио закончилась, заканчивался и короткий отпуск военного сержанта.

Проезжая Россию из Москвы в Петербург, он думал об Ирине.

После войны

1. Солдаты говорят о песнях

Шел к закату 1945 год.

Поэт продолжал служить в ансамбле. Он выступал в инсценировках, читал стихи, занимался режиссурой. Здесь пелись его песни «Наш город», «Не тоскуй, моя царица», «Влюбленный штурман», «Давно мы дома не были…». И кругом — по всей стране, во всех ансамблях, в любых захудалых самодеятельных коллективах — везде звучали его песни. Этому триумфальному шествию фатьяновских песен, необычайно популярных, востребованных жизнью народа и государства, казалось, не будет предела.

«Осенью 1945 года судьба забросила меня на Дальний Восток, в Порт-Артур. Там я воевал, и там на стихи Фатьянова доводилось слышать песни. «Кто же он такой, этот Фатьянов? — размышлял я. — Судя по всему, тоже солдат, у которого война оставила зарубки на сердце…» — вспоминал постаревший солдат Дмитрий Моисеенко.

Другой солдат, Иван Гегузин, словно вторил ему: «После тяжелого ранения, полученного при штурме Кенигсберга, я без малого год пролежал в разных госпиталях — и в Восточной Пруссии, и на территории Союза. Вот здесь, на госпитальной койке, я впервые и услышал неизвестное мне до того имя Алексея Фатьянова. Песней, скажем, «На солнечной поляночке» я восхищался много раз <…>, но почему-то ни композитора, ни поэта не называли. А теперь по радио чуть ли не ежедневно передавались чудные песни — «Давно мы дома не были», «Соловьи» и другие. И имя Алексея Фатьянова хорошо запомнилось, как автора именно тех песен, которые были особенно близки солдатскому сердцу. Как-то получилось, что имя его лидировало в то время среди широко известных советских поэтов, работающих в песенном жанре».

«На что уж я — вообще никогда не пою, но и во мне они как-то сами собой пелись — «На солнечной поляночке», «Давно мы дома не были», «Дорога, дорога», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» и многие, многие другие изумительные песни. <…> Его песни — это гордость нашего поэтического поколения, наше волнение, выражение нашей любви к Родине, России, к жизни», — так тепло вспоминал о Фатьяновском творчестве третий солдат, литератор Михаил Луконин.

Разные люди — простецы и интеллектуалы, ходоки и чиновники, продавщицы и школьники — весь народ песни Фатьянова слушал с открытым сердцем.

В феврале 1946 года Алексей Фатьянов демобилизовался. Публично была зачитана характеристика на бывшего «поэта-режиссера». В ней говорились об Алексее хорошие слова. «Прекрасные литературные данные в сочетании с большой трудоспособностью завоевали тов. Фатьянову большой авторитет среди личного состава,» — ровно и торжественно сообщал лейтенант Веретенников, заменивший в тот момент начальника ансамбля.

За творческую работу во флотском ансамбле Алексея наградили орденом Красной Звезды. Пожалуй, это был единственный случай в жизни Фатьянова, когда сказали что-то о его заслугах и достойно их почтили. Далее были только хула и порицания. А уж о наградах не могло быть и речи.

Гордый, орденоносный, приосанившийся, шел он по Москве в привычной своей шинели. Ему было жарко от счастья, и он словно не замечал февральской метели. Он вошел в свою квартиру, увлекая за собой морозный воздух. Заснеженный, улыбающийся, он стоял посреди комнаты и с удивлением рассматривал подросшего Андрюшку.

Пошли дни хорошие, молодые, полные надежд.

2. Стихия Москвы

Узнав, что Алеша вернулся, на Ново-Басманную стали приходить его друзья по довоенному ЦДЛу. Поэты Семен Гудзенко, Павел Шубин, Михаил Луконин, Алексей Недогонов, Александр Межиров, Ярослав Смеляков — кого только не было там из молодых литераторов послевоенной поры! Сюда же сходились молодые соседки, подружки Ии, чтобы послушать стихи, посмотреть на поэтов, да и покрасоваться. Семен Гудзенко ухаживал за Ией, они целовались в сумерках коммунальных коридоров, счастливые и таинственные. Читали стихи «на тему». И тему и стихи придумывали тут же. Читали стихи, принесенные с фронта. Потом вдруг срывались — и бежали гурьбой к назначенному часу на вечер в Политехнический, на Манеж, или в Университет. Там выступали вчерашние солдаты, так быстро вновь ставшие мальчишками, они еще не были известными поэтами — кроме Смелякова и Фатьянова, которых знали все. Алексей и держался гоголем, и выглядел старше, и цену себе знал. Ия с соседками сидели в зале и слушали стихи своих поэтов. Слушала стихотворения своего назначенного жениха и

Ирина. Но им пожениться было не суждено. Девушка была латышкой, ее мама, превозносящая достоинства своей нации, воспротивилась этому браку. Наталия Ивановна бесконечно ходила к ней на переговоры, пытаясь убедить в несомненных достоинствах своего брата. Но все было тщетно. Девушка поплакала и успокоилась. Алексей вынужден был подчиниться обстоятельствам. Да и творчество требовало многих душевных сил.

Бывали на Ново-Басманной композиторы — Соловьев-Седой, Кац, Сорокин. Алексей скучал по Соловьеву-Седому и одно время даже намеревался переехать поближе к другу, в Ленинград. Но все-таки Москва ему казалась теплее. Тогда он принялся уговаривать Василия Павловича бросать Ленинград и перебираться в древнюю столицу… Сигизмунд Кац пошутил, предлагая друзьям обоим переезжать в Бологое, которое располагалось на полпути к Ленинграду.

Однажды Алексей пришел домой вместе с Василием Павловичем и принес новую обувную коробку. Он был внимательным человеком. Трудно было с одеждой, обувью. Ия училась в пединституте, а туфли у нее были совсем изношенные… Алеша не мог видеть на женщине залатанную одежду, разбитую обувь. Нищенскую юность он болезненно вспоминал всю свою жизнь. По пути домой они с композитором зашли в магазин и без примерки купили племяннице модные коричневые туфли. Ия прыгала от счастья. Туфли были ей немножко великоваты, но она напихала в носочки ваты и была довольна.

Весной и в начале лета по выходным Ия и Алеша ходили в сад имени Баумана.

На эстраде стоял рояль, Алеша садился к нему, открывал крышку и пел свои песни. Статный, красивый парень привлекал внимание, люди собирались и слушали. Ия гордилась своим молодым дядей, любовалась им. Они были близкими друзьями, хорошо чувствовавшими друг друга.

От вязниковцев, часто наведывающихся в Москву, Алексей узнал о том, что неподалеку от Ясной Поляны погиб его детский друг Костя Климов. Он глубоко переживал эту потерю. Костя тоже писал стихи, мечтал о счастье. Мальчишки вместе разводили голубей, ходили на утреннюю рыбалку. Теперь их судьбы остались по разные стороны войны.

Не радовала и другая новость: Тамару оставил муж. Он был полковником, воевал, и после победы вернулся в чужой дом. Тамара все так же стучала по кнопочкам на телефонной станции городка Пушкино и одна растила свою Нелли.

3. «Когда проходит молодость»

В 1946 году Алексей часто ездил в Ленинград. Он по-прежнему работал и с Соловьевым-Седым, и с Владимиром Сорокиным. Однажды Владимир его встретил с распростертыми объятиями, да и завлек к себе домой. Там, в квартире на Нарвском проспекте, мама и братья молодого композитора сразу полюбили Алексея, он остался у них и недельку пожил. Песни друзей звучали на радио, входили в моду. Каждый день пребывания Фатьянова в доме на Нарвском они сочиняли по песне. Тогда появились «Возле горенки», «Возвратился из похода», «Ухажеры», «Море синее». Они были молоды, вдохновенны, одержимы творчеством и идеями. Двадцатишестилетний поэт написал тогда стихотворение «Когда проходит молодость». Может быть, на его настроение повлиял отказ Ириной мамы. Владимир сочинил хорошую музыку. Песню прекрасно приняли в Министерстве культуры СССР. На заседании репертуарно-редакционной коллегии Александр Жаров стихи назвал тютчевскими. Это была высочайшая похвала. Впоследствии песню исполнял ансамбль под управлением Бориса Александрова. А Леонид Утесов записал ее на пластинку. Кто не помнит его ностальгического речитатива по проходящей молодости?.. Он пел «Когда проходит молодость» тридцать пять лет своей сценической жизни, у него не было ни одного концерта без этой песни. Позднее ее спела Людмила Гурченко для фильма «Песни военных лет».

Все эти песни, написанные на Нарвском проспекте, сразу приняли в Ленинградской госэстраде и в Москве, на Всесоюзном радио. Популярная Ирма Яунзем записала на пластинку «Возле горенки», Краснознаменный ансамбль песни и пляски балтийского флота пел «Ухажеров».

4. Затянувшийся роман с госпожой критикой

Успехи Фатьянова были редкостными, непрекращающимися, вызывающими у людей разные чувства. Как он все успевал, представить немыслимо. За короткий период с февраля по июнь 1946 года он написал не меньше десятка песен, присутствовал на съемочной площадке кинофильма «Большая жизнь-2», выступал, ездил, встречался со зрителями, пропадал на радио, занимался литературным трудом. При том, что на него щедро сыпались удары «агитпроповской» критики.

Вышел на экраны фильм «Небесный тихоход» — критика отнюдь не положительная. В газете «Ленинградская правда»

появилась статья «Дешевая музыка на пустые слова». Громил Фатьянова критик Георгий Поляновский в статье «О песне военной и послевоенной» за песни «Про Васеньку» и «Про незадачливого штурмана». Не тот ли, что писал биографическую книгу об Александрове?.. Казалось бы, собрат по перу и даже соавтор Фогельсон (впоследствии в соавторстве с Фогельсоном было написано несколько песен, в том числе «Золотые огоньки»), сочинил эпиграмму о «творческой несостоятельности» поэта. 3 октября 1946 года в «Вечерней Москве» вышла статья Н.Исакова «Размышления у нотной витрины», где автор слишком много своего внимания уделил текстам поэта. Критики-литературоведы и музыковеды Нестьев, Рейкин, Бочаров… Кто сейчас знает эти фамилии? В чем была суть их нападок? В желании на унижении поэта стать знаменитыми, красивыми и хорошими?.. Скорее, кто-то «заказал», как сейчас говорят, Фатьянова на тогдашнем «черном рынке». Поэты-песенники были в свое время одними из самых высокооплачиваемых специалистов в литературном цехе. Фатьянов становился слишком крупен и занимал весьма много места у «кормушки».

Поэт Илья Сельвинский говорил об этих неискоренимых тенденциях: «… агитпроп еще во время войны начал выделять… десяток литераторов со «связями» и, превратив их в литературное начальство, расставил на всех участках литработы. Одни и те же люди являются заправилами в ВССП, и в журналах, и в альманахах, и в редсоветах издательств, и, наконец, в Комитете по Сталинским премиям. Естественно, что всесильные эти люди за счет взаимных амнистий имеют полную возможность утверждать себя, самым решительным образом искореняя своих соперников…».

О чем тут говорить, если не получили премий ни Михаил Пришвин, ни Андрей Платонов, ни Ярослав Смеляков, ни многие другие мастера литературы. Получали их А. Рыбаков (Аронов), Л. Шейнин, А. Чаковский, Б. Горбатов, Б. Брайнина — где они сейчас, эти «писатели»? Может быть кто-то решится их переиздать? В кино не получали премий ни Довженко, ни Пудовкин. Однако шесть Сталинских премий получил Ю. Райзман, пять — Роом, четыре — Эрмлер.

Заглядывая в будущее сороковых-пятидесятых, вспомним, как была ругана «Одинокая гармонь» Исаковского, а автор музыки этого шедевра Борис Мокроусов так и вовсе был обвинен в позорной несостоятельности. Долгое время он не признавался, как композитор. Строчки, слова, сочетания звуков могли стать поводом к тому, чтобы песня не вышла за пределы стен архива…

Но кому — критика, кому — награды.

Василий Павлович пожинал лавры своего композиторского труда. Он получал награды за песни. В 1943 году композитор был удостоен Государственной премии за свои лучшие произведения первых лет войны: «Играй, мой баян», «Вечер на рейде» и «Песню мщения». Стихи последней принадлежали Фатьянову. Спустя четыре года, в 1947 году, он вновь был награжден Сталинской премией за четыре песни, в числе которых были «Стали ночи светлыми» и «Давно мы дома не были» на стихи Фатьянова. Василий Павлович получил огромное количество поздравительных писем, больше сотни телеграмм, множество телефонограмм. Ему несли цветы корзинами и приглашали на банкеты, посвящали газетные полосы и часы радиопередач. И теперь, и дальше вся слава доставалась добряку-композитору. А поэт, как всякий настоящий поэт, всегда оставался «с носом». Не скроем, ему было обидно такое подчеркнуто невнимательное отношение к его труду. Он сочинял свои песни сердцем, не поддаваясь легким изящным чувствам. Но потихоньку притерпелся к побоям, от которых его талант только крепнул.

Известный советский журналист Василий Песков спросил у Жукова, какие песни военных лет он больше всего любит. Великий полководец назвал три: «Эх, дороги» на стихи Ошанина, «Священная война» на стихи Лебедева-Кумача и «Соловьи» на стихи Фатьянова — три великие песни войны.

5. Прощание Александра Александрова

В 1945 году на Белорусский вокзал прибыл из Германии состав с несколькими автомобилями «мерседес». Иосиф Виссарионович Сталин один из них подарил Александру Васильевичу Александрову в благодарность за создание советского гимна. Теперь шестидесятитрехлетний генерал, перенесший инфаркт, ездил с комфортом. Повсюду его сопровождала жена, полюбившая мягкий ход дорогой машины.

…В один из ранних вечеров 1946 года к подъезду великого дирижера и автора гимна шофер подал иностранный автомобиль. В его уютный салон села молодая женщина, принаряженная и спокойная, лихо, по-молодецки запрыгнул сам генерал. Мерседес плавно набрал скорость и направился к Белорусскому вокзалу. На перроне ждали руководителя артисты ансамбля. Поездка предстояла по знакомым с войны местам — по городам Европы. Александров легко прошелся по перрону, держа под руку жену свободно и картинно, словно юный унтер-офицер. Высокий белоголовый не боевой генерал еще не казался старым. Его омолаживал юный лик бывшей танцовщицы, впрочем, уже

немного усталой и поблекшей. Болезнь мужа никогда не красит жену, даже если ей всего двадцать лет. Они вошли в комфортабельный вагон, заняли мягкое купе, попросили принести ситро. К полудню ансамбль высадился в Праге.

Блестяще прошло несколько концертов в Чехословакии. Руководитель отечески подбадривал ребят. Да он и был их отцом, который кормил, поил, учил, пестовал. Он был на каком-то подъеме: собирался с ансамблем на днях ехать в Берлин, строил планы на следующие гастроли… Вечером, после выступления своих мальчишек, он вернулся в номер, присел на кровать и на какое-то время почувствовал рядом вселенную. Он увидел наплывающий на него гигантский купол взорванного в 1934 году Храма Христа Спасителя, себя на клиросе помолодевшим, поющим… Потом все исчезло. Он умер на чужбине.

Дом в Хрущевском переулке

1. Жильцы

В одном из красивейших московских особняков в Хрущевском переулке до революции жил ювелир-ростовщик Фролов. Убегая от революционно настроенных сограждан за границу, Фроловы остановились в Одессе из-за болезни дочери. Девочка в дороге захворала скарлатиной и умерла. Их ждал пароход, звал настойчивыми гудками занять выкупленную каюту, но убитые скорбью родители в последний миг не решились покинуть родину. Смерть любимицы они восприняли как знамение, и вернулись в Москву. Теперь в их доме обитали люди разные, в каждой комнате — семья.

Жили там семьи писателей Фибиха и Симакова.

Фибихам досталась парадная столовая красного дерева, которая располагалась в эркере дома. Братом писателя был известный рентгенолог Фибих, их семьи жили вместе. Над ними, во втором этаже, обосновалась огромная семья профессора ЦИТО, доктора Наталии Ивановой. Сказочник и фольклорист Симаков с домочадцами поселился рядом с лестницей. С этой комнатушкой соседствовала бильярдная белого мрамора, которая тоже была заселена.

Во втором эркере проживали Горелики, обеспеченные и замкнутые люди. Все кое-как пробавлялись и могли похвастаться лишь своею бедностью. А у Гореликов была машина, она стояла во дворе — и это в то время, когда даже наручные часы казались несказанной роскошью. Поговаривали, что Горелики прибрали к рукам фроловский клад. Иначе чем объяснить их заносчивую, нарядную жизнь? «Знатоки» убежденно доказывали, что из их комнаты есть ход в подвал, изобилующий кладами ростовщика.

Сам «бывший» Фролов с семьей, впрочем, тоже жил здесь. Доживал свой век Фролов в дубовой бильярдной собственного дома. Этот оригинальный человек как-то разнообразил картину быта остальных жильцов большого коммунального дома — казаков и казачек, приехавших сюда на заработки из Ставрополья.

2. Калашниковы

В бывшей столовой особняка, красивой, шестигранной комнате в высоком первом этаже жила семья Гали Калашниковой — мама, отчим и сестра Людмила. Громадные двустворчатые

двери парадной столовой были всегда закрыты. Если бы их отомкнуть большим оловянным ключом, то можно было бы пройти к Фибихам. Роскошь залы, отделанной черным дубом, украшенной печными изразцами, вступала в жгучие смысловое несоответствие со скудной жизнью семейства. Правда, она, эта жизнь, стала более сытой с той поры, как мама вторично вышла замуж. Женщина необыкновенной красоты, Анна Николаевна работала администратором в Китайском колониальном чайном магазине. В магазин захаживали люди состоятельные. Однажды молодой генерал Александров, однофамилец известного капельмейстера, зашел сюда и влюбился. К тому времени конфликт Анны Николаевны с отцом дочерей Николаем Павловичем Калашниковым перешел уже в хроническую форму. К концу войны они расстались. Бравый военный ей понравился. Да и он, приглядываясь поближе к красивой женщине, нашел в ней массу достоинств и вскоре сделал ей предложение. Романа не было — сразу была семья, дружная семья в дружном доме № 3, что в Хрущевском переулке. Анна Николаевна происходила из семьи Ряжских мещан Григоровых. Родители умерли, когда девочке было три-четыре года, потому она росла у бабушки. Бабушка была с крутым характером, очень требовательна и к себе, и к людям. Благодаря этому Анна умела делать все. Так же воспитывала она и своих дочерей Люсю и Галю. Семья Григоровых была зажиточна, когда-то имела собственный парк вблизи города Ряжска, в парке — большой пруд с лодками и кувшинками.

Родной отец Гали Калашниковой Николай Михайлович тяжело переживал развод, тосковал, но все же женился на соседке по имени Дуся и ушел жить к ней в полуподвал. Муж тети Дуси погиб на войне. Она была очень простой и доброй женщиной. Все удивлялись: почему его выбор пал на тетю Дусю. Все знали, что у него был роман с женщиной-врачом, она часто приходила во двор и была в него влюблена. Все думали, что Николай Михайлович на ней женится. А он спустился вниз, в подвал. И у него все спрашивали, удивлялись, отчего же он променял такую красивую жизнь на подвал… А он отвечал:

— Я хоть из подвала, да Анины ноги видеть буду.

Проживали в доме и родные сестры отца Галины — в большой кладовке тетя Тоня, в одной из комнат — тетя Настя. Когда у Фроловых заканчивались деньги, дядя Костя — а так звали бывшего ростовщика-ювелира — брал заступ, стучался к кому-то из жильцов, извинялся и принимался за работу. Иногда он наносил небольшой ущерб полу, или потолку, или печному кафелю. Тогда постояльцы невольно чувствовали себя

обведенными вокруг пальца. Оказывалось, что они каждый день ходили по золоту или клали в топку дрова рядом с брильянтами. У Калашниковых усатый дядя Костя тоже вскрыл одну половицу и достал тяжеленькую коробочку. У тети Тони немного пострадал кафель. Но чванливые, высокомерные Горелики никого не впускали, даже самого дядю Костю. Все были уверены, что подвал напичкан богатством, и Горелики буквально ночуют в нем, снуют по подземному ходу туда-сюда, как теперешние челноки — заграницу.

Во дворе стояли многочисленные постройки: каретный сарай, конюшни, гараж, флигели для прислуги, где тоже жили люди.

Девчонки лазали по подвалу с утра до вечера, искали клад, но ничего не нашли. И опять грешили на Гореликов — мол, ничего уж не оставили…

— Надо идти, надо искать, там есть клад, — говорила подруга Гали Иришка.

Галя охотно брала молоток и спускалась по холодной лестнице, отвлеченно простукивая булыжник за булыжником…

Любовь с первого взгляда

1. Знакомство в гостинице «Москва»

Подросли подружки Галя и Ириша, искательницы кладов. Закончилась война. В Хрущевский переулок вернулись мужья к поседевшим женам. Ирина приехала из эвакуационного Иркутска и теперь жила в Останкине. Но приезжала к подруге — и вместе они ходили в театры, смотрели кинофильмы, слушали концерты. Случалось, Ирина ночевала у Галины, чтобы в ночь не пробираться по все-таки неспокойной в послевоенные годы Москве.

В тот далекий майский вечер девушки — а им уже было по двадцать лет — вернулись после спектакля. Во время ужина прозвучал телефонный звонок. Незнакомый мужской голос спросил Ирину. Галя передала трубку. Звонил кинорежиссер Бердичевский, с которым Ира познакомилась в эвакуации. Он предложил встретиться.

— Ой, Михаил Борисович, я с подругой, можно? — спросила Ирина.

…Центр Москвы только кажется огромным. Скоро встретились и пошли в гостиницу «Москва», по обещанию Михаила Борисовича — «на минуточку». Красивый и внешне добрый человек располагал к доверию. Он объяснил, что в гостиницу приехал его ленинградский приятель поэт Илья Финк, и им всем необходимо увидеться, послушать рассказ режиссера о его романтической профессии, о подробностях жизни больших киностудий… Кого же из девиц не притягивало кино и его люди!

Многие писатели и поэты во время и в первые годы после войны жили в гостинице «Москва». Жилые дома не отапливались, были повреждены бомбежками. В тот год «Москва» стала литературным центром наравне с ЦДЛ. В гостинице снимал номер легендарный Николай Асеев. Он собирал рукописи для альманаха «Поэзия», и назначил в этот вечер редколлегию. Вот туда и должен был подойти Финк.

По дороге Бердичевский рассказывал о своем друге Илье, который написал песню:

Ничего, что ты пришел усталый,
И на лбу морщинка залегла…

Девушкам было и боязно, и интересно — взглянуть на автора

этой известной и модной песни.

И он пришел — высокий, веселый, галантно поздоровался, поцеловал ручки. Но торопился на редколлегию и попросил:

— Девочки, вот вам книжки, стихи, читайте, ждите нас. А мы сходим к Асееву.

От Асеева друзья вернулись уже втроем. К ним присоединился высоченный парень, который отрекомендовался поэтом Фатьяновым.

Время было позднее, около десяти часов вечера. Но Москва жила в своем, столичном, времени и темпе. Вечерние гуляния только начинались. Молодые люди, вдохновенные победой, взволнованные весной, расставаться не собирались и путь их пролег в ресторан. Девушки смущенно отговаривались:

— Нет, что вы, какой может быть ресторан, уже поздно…

— Ну, давайте, быстро-быстро зайдем, в буфете возьмем что-нибудь и совсем немного посидим, — упрашивали друзья.

Так и было — посидели совсем немножко. Фатьянов читал стихи, обсуждались — и очень живо — какие-то рифмы, строчки. Ирина и Галина, надо признаться, заскучали. Им было и невдомек, что этот симпатичный, немного заносчивый парень написал известные всем замечательные песни. А он не похвастался. Друзья настолько увлеклись литературной беседой, что, казалось, забыли о своих спутницах. Существует такое наступательное оружие в боевом арсенале мужчин.

Но вдруг разговор прервался. Фатьянов пристально посмотрел на Галю, потом на друзей, затем — снова на Галю…

— Эта девочка — моя. За ней не ухаживать, — сказал он неожиданно и не по теме. И, обращаясь к Галине, добавил:

— Завтра мы к вам придем на обед. Дайте адрес.

А ушли они втроем, Галина, Ирина и Бердичевский. Ирина вновь заночевала в Хрущевском. Бердичевский проводил девушек и побрел в ночную Москву. Ира блаженно уснула под легкий шелест парусиновой занавески, которая плескалась в распахнутом окне. А Галя тревожно думала, как ей быть. Три года она ходила на свидания с молодым морским офицером, адъютантом адмирала. Но разве можно было сравнить то чувство с нынешним?..

2. Смотрины

В доме все знали, что Галя — очень скромная девочка, де еще и больная. Про таких говорят: «бедняжка», и думают про себя «ничего хорошего ей не суждено»… На следующий день на глазах у всей жаждущей зрелища публики во двор въехала полуторка. На

обеих подножках — по верзиле. Одной рукой каждый держался за кабину, а вторая была на отлете и сжимала бутылку. Соседи полюбопытствовали — это к кому же такой кортеж? Парни не стали таиться и спросили сами в два громких голоса:

— А где у вас тут живет Галя Калашникова?

— Они приехали на обед… — Растерянно пролепетала тихая Галя, отходя от окна. Тут же раздался звонок в дверь, и гости появились на пороге.

Девушки быстро собрали угощение. Сели за стол, подняли рюмки за победу. Но скоро Галя куда-то засобиралась и ушла, стараясь ускользнуть незамеченной.

— У нее жених! — горячо сокрушался Алексей. — Куда она пошла? Я ее догоню!

Но Ирина остановила его, бесхитростно открыв тайну подруги:

— Не жених у нее, а туберкулез. Она не может пропустить пневмоторакс, поймите же…

Алексей с трудом дождался ее возвращения. А когда она вошла, громко сообщил, что твердо решил на ней жениться, невзирая на туберкулез и любые препятствия.

Галя почувствовала себя Травиатой, больной героиней, счастливой невестой.

После обеда в Хрущевском переулке они пошли в театр Эрмитаж, в котором проходили первые концерты Райкина. Алексей был везде вхож, поэтому легко попали без билетов. В поздней красоте фонарных московских улиц, под синим летним небом парни проводили девушек домой.

А на следующий день Илья Финк всех пригласил:

— Теперь пойдем к моей тетке на котлетки.

Тетя его жила на Трубной. Сходили в гости к приветливой, острой на язык тетке Финка. Никому не хотелось расставаться.

— У вас заливной язык! — Рассыпал комплименты Фатьянов. — Вы заливаетесь, как…

— Как вы вином? — Интересовалась тетя.

Фатьянов не тушевался, проигрывая. Он смеялся вместе со всеми. Гале казалось, что она знает его всю свою жизнь.

Уже на третий день знакомства Алексей, в полном соответствии со своей бурной натурой, явился к матери Галины и потребовал руки своей избранницы. Генеральскую жену удивила такая постановка вопроса. Она знала, что у ее дочери была другая привязанность.

— А что вам ответила Галя? — Поинтересовалась мать.

— А я ее и спрашивать не стану! — С напускной суровостью ответил жених. — У меня есть мои Вязники, мои песни и

пишущая машинка с немецким шрифтом. Вот на ней ты будешь спать, — Говорил Алексей.

И пойми: шутит он или всерьез? Из «трофеев» ничего не осталось кроме очень красивых богемских фужеров на длинных ножках — полотенца он раздарил. Ни жилья, ни богатства… Только великодушие, сила и нежность песенных интонаций.

Но через две недели Галина Калашникова стала Фатьяновой. Они поженились 16 июня 1946 года. Фрунзенский ЗАГС молниеносно зарегистрировал этот брак.

Молодожены отправились в свадебное путешествие.

Свадебное путешествие

1. На «Хорьхе» — в Вязники

Галя уже знала, что муж ее — автор всеми любимых песен. Видимо, привыкаешь, что известная фамилия постоянно звучит по радио и кажется со временем эфирной, бесплотной, неким обозначением неземного. На Ново-Басманной Галя приметила необычную пишущую машинку. Теперь ей предстояло познакомиться с главнейшим достоянием своего мужа. Было решено ехать в свадебное путешествие в Вязники. Долго собираться не стали — на другой день после свадьбы помчались в шикарном семиместном «хорьхе». Машина была трофейная. Раньше на ней ездил ни кто иной, как Герман Геринг. Отчим Галины, победитель-генерал Петр Александров, привез ее из Берлина вместе с чешским автомобилем «татра». На свадьбу падчерицы он подарил трофейные же каминные часы из особняка Геринга, сразу выстроив высокую имущественную планку перед ее мужем. У Алексея не было ни трофеев, ни собственного дома — он по-прежнему жил у сестры, Наталии Ивановны. Но намек понял: положение известного поэта и генеральского зятя обязывало в будущем иметь камин.

Итак, молодожены в сопровождении племянницы Алеши Ии, сестры Гали Людмилы и ее жениха Олега отправились в путешествие. Шофер Ванечка был у руля. Их провожали, как высокое воинское начальство — генерал с супругой и адъютантом в сопровождении свиты гостей. Нарядная компания помахала им из дворика в Хрущевском переулке.

— Осторожней там! — Переживала теща. — Далеко не заплывайте! Галя, в лес не ходи — там змеи!

— Я там главный змей! — Отвечал Алексей. — Я — змий-искуситель!

Быстро полетела по знаменитому бездорожью июльской России европейская невольница. В заднее окно ее было видно, как стелется за машиной пыль.

— …«Как платья венчального шлейф…»! — Алексей цитировал Есенина и бережно целовал то лоб, то краешек белокурого локона Галины.

Когда въехали в Вязники и пронеслись по узким улицам, то Алексей замолчал, закрыл вдруг глаза на минутку и подобрался, как перед входом в храм. Но вот уже Ванечка звучно посигналил у ворот указанного Фатьяновым дома. Всполошились петринские

непуганые собаки, а тетка Капитолина со своей семьей вышла встречать племянника. Алексей пальнул на крыльце из бутылки шампанского, закудахтали, разбегаясь, куры, завизжали девчата, зазвенела посуда. Трубно прогудел пароход на Клязьме. Старый дом покойного деда Василия Меньшова ожил духом.

И в Галиной душе прижились Вязники. Здесь ее больным легким дышалось как-то особенно. Плыл ароматный теплый ток от полей клевера и разнотравья. Играла серебристыми тенями рожь, звездочки синих васильков, как дети, выглядывали из золотой колышущейся колыбели. Так украдкой смотрел на Галину Алексей. Ее глаза темнели от счастья и она как бы выпадала из календарного времени, когда кажется, что ты жил всегда и всегда же будешь жить… А он был горд городом так, будто сам создал всю эту красоту, и вел жену на берег Клязьмы, радуясь живой, созвучной душе своей горожанки. Алексей любил покорить, удивить. В том июле он с удовольствием сдавал хозяйство своей души новой его распорядительнице — Галине и смотрел на все вокруг ее глазами:

«…Вот… Сдаю тебе ключи от сенокоса и рыбалки, вот — от вечерних купаний в нашей Клязьме…Вот — от вишневых садов и посолнухов, вот — солнечное буйство и лунное ночное сочиво: все тебе на помощь, любимая… Вот площадь, рынок и городской сад. Полюби их, как я, и прими с добром…»

Они ходили неподалеку от бывшего собственного дома его родителей, и он рассказывал о прошлом, не жалея, не лукавя. Он умел воспринимать жизнь такой, какая она есть — легко.

2. В городском саду

На танцевальной площадке за клубом «Коминтерн» играл живой духовой оркестр. Безучастные, на первый взгляд, музыканты в такт мелодии округляли щеки и смотрели куда-то вниз, в не всегда чищеные сапоги маэстро Русинова-Павлова, дирижера и композитора. Он также демонстрировал полнейшее безразличие к происходящему. Там кружились много нарядных пар, но он не мог не узнать Алексея, который в его понимании был небожителем. Ну кто мог подумать в недалеком прошлом, что песни «Соловьи», «Горит свечи огарочек», «Тальяночка» написал их Алеша Фатьянов — тот, который мальчишкой околачивался возле оркестрантов, крутился вокруг рыбаков, тонул в Клязьме, ловил ручных голубей, водил в лес ребячьи ватаги? Безразличный с виду дирижер не мог не заметить хрупкую девушку рядом с Фатьяновым, которая показалась ему нездешней, ангелом во плоти. Алексей и Галина выходили на

середину танцплощадки и легко скользили по глянцевым половицам помоста. Садовыми дорожками ходили гладкие голуби, привычные к музыке. На ограде сидели мальчишки и грызли ранние яблоки, еще совсем кислые и зеленые, а огрызки швыряли в голубей. И Русинов — Павлов для поддержания порядка погрозил мальчишкам жезлом, делая это, может быть, впервые в жизни.

Замечательные эти теплые, ласковые вечера согревали Галину и потом, через годы, в стылые вдовьи зимы в Москве…

Вспоминалось, как на ярцевском фабричном клубе появилась самодельная афиша. Она извещала народ о предстоящем концерте «поэта-песенника, фронтовика и орденоносца Алексея Фатьянова». В скромную, аккуратную в своей неторопливости жизнь Ярцева ворвалось нечто необычно торжественное. Задолго до концерта в близлежащем саду прохаживался сам Фатьянов и белокурая девушка, в глазах которой легко зажигались смешинки. На богатырской груди поэта был замечен орден Красной Звезды. Герой, фронтовик, поэт! Люди пришли задолго до концерта. Местные, наслаждаясь своей мнимой и наивной значительностью, свысока поглядывали на тех, кто пришел из окрестных деревень. Впустили, впрочем, всех и не беда, что люди сидели едва ли не на сцене.

И вот он на сцене — он.

На широченном весле ладони он держал крохотную записную книжечку, в которую изредка поглядывал. Галя сидела в зале и не замечала сотен изучающих ее глаз. Она видела его одного — ее Алешу. Много она услышала в тот вечер нового, еще ближе узнавая мужа. Ей нравилось, как он читал стихи, пел, отзывался о родном городе и его людях, рассказывал о дружбе с Соловьевым-Седым и песнях, написанных на фронте. Выходили артисты клубной самодеятельности, исполняли их, иногда киномеханик заводил пластинку. Во втором отделении вернувшимся с антракта, то есть с улицы, зрителям Фатьянов читал поэму «Скрипка бойца», которая всего несколько лет назад звучала во фронтовых землянках. Боясь пошевелиться, слушал зал повесть о солдатах, зашедших в покинутый немецкий дом, о молодом солдатике-скрипаче, который озябшими руками открыл дорогой футляр, снятый со стены. Играл солдат на скрипке русскую музыку, а бойцы — плакали.

Смущенный Василий хотел было скрыться,
Но командир, поравнявшись с ним,
Снял свои теплые рукавицы,
Буркнул отрывистое — возьми!

Так заканчивалась поэма о скрипаче.

И снова звучали песни.

И вдруг Алеша неожиданно для Гали объявил со сцены, что через год у Вязников будет своя песня под названием «В городском саду». Она поняла, что песня эта будет о их любви — так ей подсказало сердце.

Так оно и осталось навсегда.

3. Небо синее над Невой…

Подходила пора отъезда. К тому же, задождило и хоть Вязники не растеряли своего очарования, но в Ленинграде молодых ждал «папа» — Соловьев-Седой. Едва отыскавши Ванечку на одном из деревенских сеновалов, ранним утром сели в машину и тронулись в путь.

Ленинград 1946 года произвел на Галину тягостное впечатление. Разбитый город со следами былой роскоши выглядел мрачно и угрюмо. Ей было холодно, неуютно от ощущений, связанных с этим трагическим гигантом. И только песня «Наш город», написанная мужем с Василием Павловичем, сглаживал тревогу и уныние, которые передавались ей от каждого ленинградского дома. Музыка была позывными города, часто звучала по радио:

Над Россиею
Небо синее,
Небо синее над Невой.

В целом мире нет,
Нет красивее
Ленинграда моего!

Песня эта была признана лучшей о Ленинграде.

Но небо города не показалось Галине синим. Василий Павлович уговаривал молодоженов оставить Москву.

— Переезжайте жить в Ленинград! Довольно ютиться по чужим углам — не война, чай! — Серьезно, как бы подводя черту под уже решенным вопросом, сказал композитор. — Я разведал: вам дадут здесь хорошую квартиру, детки.

Предложение было кстати: своего жилья у них не было.

Но Галина тихонько сказала Алексею:

— Алеша, не хочу…

Он ответил:

— Ну, если ты не хочешь, значит, и я не очень хочу…

Так и остались жить друзья — каждый в своем городе.

Объехав половину России, молодожены вернулись в Москву.

Они поселились в Хрущевском переулке — сняли комнату во втором этаже. Но как только Соловьев-Седой приезжал в Москву, он сразу же звонил из гостиницы Фатьяновым. И Алексей Иванович непременно и сразу шел к нему. У них были очень теплые отношения. Они и письма часто писали друг другу. Это была настоящая старомодная дружба двух мужских сердец, которые всегда одиноки по своей художнической сути.

Послевоенный ЦДЛ

1. Гости дубового зала

Центральный Дом Литераторов 40-50-х годов — это маленький дом для литераторов с единственным крыльцом на улице Воровского. Он смыкался с правыми зданиями Союза писателей, где в те годы жили его члены. Парадное фойе и часть дома с улицы Герцена тогда маячили где-то в далекой перспективе планов Главмосстроя. Но приезжие из российской глубинки, гости из дальних жарких республик, столичные писатели — все первым делом шли в ЦДЛ, а уж потом — по делам. Да часто и дела вершились по соседству, союз писателей был рядом, в нем же — и основные журнальные редакции.

Состоял ЦДЛ из ресторана в Дубовом зале с красивой лестницей посередине и анфилады комнат во втором этаже. Еще не было наверху расположения Московской писательской организации, как, впрочем и опять уже нет. Дух масонской ложи, которая раньше здесь находилась, полностью выветрился с новыми постояльцами-писателями. А сегодня он вернулся туда и вытеснил писателей в людскую. Московские же предания говорили о том, что Л.Н. Толстой впервые вывел Наташу Ростову на бальный паркет именно этого зала. Великосветское эхо, кажется, еще витало во множестве его затемненных уголков. Писатели, актеры, композиторы, их жены, любовницы, дети, соседи, друзья — все чувствовали себя здесь «советскими светскими людьми». Изменились только времена, и не бальные туфельки попрали старинный паркет, а дамские лодочки второй половины 40-х прошлого века, сапоги демобилизованных писателей да галоши штатских граждан. Народу было полно всегда. Здесь же, в Дубовом зале, работал ресторан, проходили собрания, летучки, концерты и творческие вечера. Можно было просидеть за столом ресторана целый день и, не сходя с места, завтракая, обедая и ужиная, принять участие во всех так называемых «мероприятиях».

Такая смесь богемы и респектабельности встречалась во всех домах искусства. ЦДЛ, ЦДРИ, Дом журналиста, Дом композитора не пустовали, люди соскучились по общению. Фатьянов был человеком публичным, любил свою среду: писателей, композиторов, журналистов, актеров, музыкантов, художников. Он был везде — и всегда в центре внимания и чистосердечно дорожил этим.

— Мне кажется, что я родился быть счастливым… — Говорил он Галине. — Мне ведь неважно, любят меня или нет! — И тут же, подумав, добавлял: — А, впрочем, без их любви… — Кивал он в зал, — … поэту не выжить…

— А «…поэт, не дорожи любовию народной…»! — Напоминала ему Галина пушкинские слова.

— А «… ко мне не зарастет народная тропа»? — Отвечал Алексей тем же. — Нет, Галина Николаевна, все не просто. Поэт может ошибаться, но только на пути… куда?

— К истине! — Изрекала она.

— Ошиблась и ты, отличница… Поэт может ошибаться только на пути к ЦДЛ! — И он смеялся, не вынося долгих философических бесед.

А по всей Москве витал воздух дружелюбия и общности. Люди хотели встречаться, ходили большими компаниями на концерты, в театры, гуляли по бульварам. Главенствовало ощущение, будто они чудом уцелели, заново родились, что жизнь подарила им — жизнь. Бесконечные заседания, встречи, разбирательства были личным делом каждого. Не мешали этому и дискуссии о «безродных космополитах». Они становились в один ряд с кухонными разборками в родной коммуналке. «Варшавский, Костюковский, Козловский и примкнувший к ним Большегорский», — звучало повсеместно. Фамилии эти произносились буквально вместе с именами ближайших родственников. И за столиками Дубового зала поговаривали, что, вроде бы, Константин Симонов их поддержал…

Все в истории повторяется — меняется лишь сценография…

2. Аукционы и кружки

Алексей, не изменяя интересам, сразу включился в дела секции рыболовов-любителей. В штате ЦДЛ состояли егерь и инструктор по рыболовному спорту. Егерь Владимир Васильевич Архангельский писал рыболовецкие и охотничьи рассказы, а в коллективных поездках увлеченно рассказывал их у костра. Инструктора, Георгия Ивановича Ермакова, все называли Егорушкой. Секция рыболовов — неизменно дружная семья, которая все выходные проводила вместе. Юрий Смирнов, Андрей Шманкевич, Валерий Медведев, Юрий Нагибин, Хрисанф Херсонский, Алексей Фатьянов — они выезжали по знакомым местам, которые подсказывали друг другу. Были и постоянные рыболовецкие базы у Союза писателей. Рыбачили на озерах Неро в Ростове Великом, на Переяславском, на чистых рыбных реках. Неподалеку от Переяславля Залесского у писателей была

оборудована избушка с ночлегом, коптилка, сушильни. Иногда проводили на рыбалке недели, и возвращались на литфондовской полуторке с полными мешками добычи. В эти мужские походы жен никогда не брали… У женщин в ЦДЛ жизнь была не менее интересная.

В тот же ЦДЛ писательские жены шли, как на работу. С утра там открывались кружки и «кружились» до темного вечера. Галина в них училась иностранному языку, кройке и шитью, вязанию, машинописи, шляпному делу, вождению автомобиля, она играла в теннис с Нагибиным и плавала наперегонки с Поповским, который позже эмигрировал.

По образцу дореволюционных женских организаций, писательские жены занимались благотворительностью. Они собирали редкие книги и устраивали аукционы в пользу детских домов и домов малютки. Председательствовала в совете жен Тамара Александровна Лукина, супруга главного редактора «Крокодила». Самый первый аукцион открылся в Дубовом зале. На него явился сын Аркадия Гайдара и внук Павла Бажова морской офицер Тимур Гайдар, который только что явился в Москву из-за границы. В зале перешептывались, глядя на него, а когда он, не дожидаясь гонга, положил на серебряный поднос баснословную сумму, зал загудел. Обыватель в литературных массах неистребим, как и в остальном человечестве.

Галина работала в совете жен, бывая в ЦДЛ сутками. Она ходила по детским домам, привозила туда книги, артистов, сладкие подарки. Ее часто видели писатели в коридорах и, когда иногда интересовались у Фатьянова, кто она и чем занимается, то с лица мужа сразу слетала живость. Оно каменело. Алексей Иванович озирался — не слышат ли посторонние? — и шепотом отвечал:

— Вы с моей женой не шутите! — Собеседник понимающе поджимал губы и подставлял ухо поближе. — Она зам Фадеева по матерной части!

Частенько Алексей сидел за ресторанным столикам и ждал, когда же застучат по винтовой лестнице быстрые каблучки жены. Случалось, он подходил к роялю, который во все времена стоял в глубине зала, и наигрывал мелодии Соловьева-Седого, Дзержинского, Мокроусова, Богословского. Бывало, они и сами присутствовали здесь же и, не стесняясь, пели под свою музыку. Вился папиросный дым над головами, смолкали разговоры.

Новые песни его были чудесными. «Три года ты мне снилась» на музыку Никиты Богословского… Еще не вышла на экраны вторая серия фильма «Большая жизнь», а песню уже в Союзе писателей знали многие. Никто не мог предположить, что еще

немного — и она станет символом «кабацкой меланхолии». Прежние песни, великие «Соловьи», «На солнечной поляночке», «Где же вы теперь, друзья-однополчане», звучали повсеместно.

О Фатьянове по-прежнему мало говорили, совсем не писали, словно не воспринимали удачи поэта всерьез. Но можно ли сказать что это не задевало его честолюбия. А он был честолюбив. Он щедро отдавал и хотел не платы сторицей, а чтобы иногда, как ребенка похвалили. Сказали бы восхищенно: «— Алешка! И вот откуда в тебе это берется?». Хотя бы так.

— Жизнь моя полна нелепиц, — иногда говорил он. — Как у ламанчского идальго. Да вот крылья моих мельниц потяжелее тамошних…

В такие моменты особенно обострялось в нем юношеское желание написать поэму, доказать этим «мельницам» свою принадлежность к большим русским поэтам. Но поэма тяжело буксовала, словно полуторка на военной рокаде. А вот песни вылетали легкокрыло и высоко. Вылетали и улетали, а он оставался незамеченным.

Заканчивалось лето 1946 года. Ничего не сулило неприятностей, от жизни ждали только лучшего. Неумолимо приближался сентябрь, который принес поэту так много горечи.

Постановление ЦК КПСС 1946 года

1. Как это все случилось…

Слова «Постановление ЦК» звучали, как приговор ревтройки, после которого не подают апелляций о пересмотре сути дела.

3 сентября 1946 года большинство центральных газет опубликовало три постановления ЦК: по литературе, искусству и кинематографии. В литературе оказались неугодными Михаил Зощенко и Анна Ахматова. Во втором постановлении упоминался композитор Вано Мурадели, автор оперы «Великая Дружба». А за кинематографию пострадали все, кто принял участие в создании второй серии кинофильма «Большая жизнь». Главным режиссером фильма был Леонид Луков, сценаристом — Павел Нилин. Никита Богословский и Алексей Фатьянов написали к кинофильму песни, которые всем нравились. Но ЦК не одобрило их, и автор стихов был назван «поэтом кабацкой меланхолии». Несколько лет фамилия Фатьянова употреблялась разве что в отрицательно критических статьях. Хорошего слова о нем сказано не было. Песни звучали, а автора текста как будто не существовало. Никита Богословский тоже попал в опалу.

Лишь потрясающая сила природного жизнелюбия спасла Алексея Ивановича от ухода в болезненный аутизм, в черные, как деготь, переживания.

Запрет на фильм не снимался до 1958 года, а постановление это не отменено по сей день, несмотря на какие-то работы комиссии по реабилитации. Марк Бернес, которому досталась в фильме главная роль, после сентября 1946 очень долго не выступал и не снимался. Он полушутя-полусерьезно упрекал Фатьянова:

— Ты что написал такие слова? Ты что в мои уста вложил кабацкую меланхолию? Ты что наделал, брат?..

Они остались приятелями, но и горечь обиды осталась. Обида на обстоятельства. Кого же тут винить? Некого. Партия сказала — комсомол ответил «есть».

Что же крамольного было в этом фильме?

Еще так недавно прошли киносъемки этого рассказа о шахтерах, о том, как они воюют, а потом — восстанавливают разрушенный Донбасс. Марк Бернес в роли влюбленного инженера Петухова по замыслу сценариста выходил с гитарой на бульвар и пел замечательную песню:

Как это все случилось,

В какие вечера?
Три года ты мне снилась,
А встретилась вчера.

Дело почти духовное — сон. Авторов постановления, видимо, удивляло, что герою снятся не угольные шахты, а возлюбленная. В искренность их обвинений трудно поверить. Обвинили даже гитару, старинный русский инструмент — инструмент Аполлона Григорьева и Дениса Давыдова. Его сочли неподходящим и даже опошляющим героические трудовые будни донбасских угольщиков. Как водится, господ осудили лакеи, могущих — немогущие. А гонимая гитара в шестидесятые уже годы приобрела силу, которую можно смело назвать разрушительной по отношению к устоям советской государственности.

Но какова же была предыстория этого постановления? Чистый казус.

К осени сорок шестого закончились съемки. В газетах появилась положительная рецензия на фильм. И.В. Сталин имел обыкновение просматривать все новые кинокартины. Это было нетрудно, фильмов было немного, каждый их них становился событием. На глаза ему попалась газетная рецензия, и он был удивлен, поскольку сам еще не видел того, о чем писали. И захотел посмотреть.

Его показывали в просмотровом зале. Все было тихо, мирно, гладко. Что и говорить, фильм скучноватый. Видимо, Иосиф Виссаринович заскучал, может быть, задремал, и захотел глотнуть свежего воздуха. Может, ему стало дурно, или он торопился к назначенному приему. В общем, Сталин встал и покинул зал как раз на той минуте, когда зазвучала песня. Не до лирики было вождю или живот заболел.

Идеологическая обслуга в ужасе тут же приказала прекратить демонстрацию ленты. Начали в панике крутить ее сначала — где кроется крамола? Но ничего такого не обнаруживалось — фронт, герои, шахтерские будни… Боевые сто грамм выпили, еще что-то из жизни… Стало быть, причина сталинского демарша в этой песне. Спешно заклеймили ее в ближайшие же дни в «Советской культуре», «Советском искусстве» и «Литературной газете». Иосиф Виссарионович вместе со всей страной прочел о запрете фильма и обвинениях в адрес его авторов.

— И как это все случилось, Галя? — Подтрунивал он над собой. — В какие такие вечера?

Она боялась за него и говорила:

— Прикуси язык-то, Алешка! — Она знала, что Павла

Нилина, сценариста «Большой жизни», уже посадили.

А уже через месяц, 3 октября того же 1946 года, «Вечерняя Москва» опубликовала разгромную статью Н. Исакова «Размышления у нотной витрины». Она сочилась злобой. Она дышала иронией по поводу фатьяновской поэтики. Вслед — шквал статей. Порой их аргументация выглядела нелепой, смешной. Удивительно глупая, оскорбительная в своей глупости статья Ф. Солуянова о песне «По мосткам тесовым вдоль деревни» на музыку Мокроусова называлась «Право слово — весело!». Содержание было еще бездарнее.

Приводились стихи:

Запоешь ли песню в час заката —
Умолкают птицы в тот же час.
Даже все женатые ребята
От тебя не отрывают глаз.

Солуянов комментировал эти строки так: «По-моему, безнравственно ведут себя эти ребята. Таких не воспевать, а осуждать надо».

Не отвернулись от Алексея Ивановича только общественные организации. Многие, впрочем, только делали вид, что принимают всерьез постановления ЦК «по культуре и литературе». Люди жили своим умом… По-прежнему по радио звучали его песни. К нему приходили новые режиссеры, композиторы, с просьбой написать новые песни.

— Скандальной славы хотите? — Грозно спрашивал Алексей каждого из заказчиков. — Супы без лаврушки приелись? Будет вам по венку… По какому — уточнять не будем…

И работал. После 1946 года вышло еще 18 кинофильмов с песнями Фатьянова.

2. Еще одно «Постановление» 1946 года

В том же 1946 году, ближе к зиме, в ленинградской гостинице «Европейской» горячо шла карточная игра. В номере скучала, дыша на ладан, одна лишь пишущая машинка. Иван Дзержинский вышел из игры, подсел к машинке, и, скучая по роялю, «сыграл постановление»:

«Акт.

Составлен настоящий акт в номере гостиницы «Европа», принадлежащем гражданину Фатьянову в том, что в данном номере была обнаружена азартная игра в азартную игру

«девятка», причем установлено, что владелец номера затеял эту игру с целью увода или отъема наличных денег у участвующих в этом противозаконном деянии. Присутствовали и принимали непосредственное и не по средствам участие следующие нарушители:

1. Супруга означенного шулера Фатьянова Галина (подросток).
2. Представитель народов СССР Аванов, (нацмен)
3. Жена Ивана Ивановича Дзержинского Женя (женщина)
4. Московский гость Коля (простодушный)
5. Айрапетянс (однополчанин, художник и историк, без денег)

На основании изложенного, руководствуясь советским законодательством, установлено, что Фатьянов занимался обманным грабежом не ответственных за свои поступки товарищей. Единственный свидетель, могущий изобличить мошенничество комбинаций вышеуказанного Фатьянова — товарищ Дзержинский, бильярдист, был уложен спать, для чего, очевидно, ему было дано снотворное. О чем и составлен настоящий акт на предмет привлечения товарища Фатьянова к уголовной ответственности, что с него причитается».

Жизнь молодая шла своим чередом.

Жизнь есть жизнь. С чем ее можно сравнить? Большая жизнь.

Репкины

1. На Арбате

На Арбате, в доме номер 44, что напротив Плотникова переулка, в 22 квартире проживал с родителями поэт Николай Глазков. В двенадцатой квартире обосновалась семья миловидной девушки Тани. Она была первой, кого полюбил Георгий — брат Николая Глазкова. В 1941 году они, студентами, вместе тушили на крыше зажигалки, вместе обмирали над руинами театра Вахтангова, вместе пилили свои кубы дров, по-своему приближая победу. Но когда закончилась война, Таня вышла замуж за литинститутского однокурсника Коли — Володю Репкина. Весь курс был на свадьбе: Глазков, Введенский, Межиров, Нагибин, Мейман, Гудзенко, Ройтман, Медников, Шергова… 15 июня 1945 года в двенадцатую квартиру пришло тридцать четыре человека поздравить молодоженов! Цветы, принесенные в подарок, целые охапки сирени, черемухи, нарциссов — ставили за портрет невесты. Две банки шпрот на столе и нарезанная кружочками колбаса обозначали закуску… Стихи читали все! Фрондирующий Межиров, автор стихотворения «Коммунисты, вперед!», вполголоса декламировал «Леди долго руки мыла, леди долго руки терла…». Звучали стихи Есенина. Все доверяли друг другу, как на фронте…

Утром муж и жена проснулись в своем семейном доме. Небольшой, укладистый чемоданчик перекочевал сюда из общежитского флигеля на Тверском бульваре. По утрам пили жидкий эрзац — кофе. Вдыхая его пары, слабо покашливал Володя, недавно переболевший туберкулезом. Супруги видели из окна комнаты процедуру променада важных арбатских голубей и слышали гомон дворовой детворы. Будь они там же и теперь, они видели бы из своего окна памятник знаменитому поэту-пацифисту Булату Окуджаве и слышали бы крики торговцев русскими сувенирами.

В послевоенной Москве происходили встречи самые неожиданные. Так получилось у Владимира Репкина и Алексея Фатьянова. В людном и шумном ЦДЛ их представили. Через пять минут выяснилось, что они — земляки. Через десять — что близкая родня: Владимир Репкин доводился Алексею Фатьянову двоюродным братом.

Он был сыном родной тетки Алексея Ивановича по линии отца Елены Николаевны Фатьяновой, в замужестве — Репкиной.

Семья их была репрессирована в 1929 году и выслана из Мстеры. Было тогда Володе девять лет, он всего на год моложе Алексея Фатьянова. В вину старшему Репкину вменялось то, что, несмотря на введенный запрет на частную собственность, он в 1929 году открыл на берегу Мстерки питейное заведение. Но легко ли было ориентироваться в той политической обстановке человеку, обремененному многодетной семьей — их было пятеро. И случилось так, что, как и сотни тысяч детей послереволюционного времени, Владимир Репкин потерялся на одной из промежуточных станций по пути следования в Сибирь и пошел беспризорничать. Поездные вагоны заменяли ему и стол, и кров. Примечательно, что, пережив все тяготы бездомовья, познав голод и цинизм беспризорного детства, он никогда не сомневался в том, что отец его был виновен перед государством и народом. Позже в Кемерово он нашел сестру и она устроила его на работу. Уже в Рыбинске он поступил на рабфак, а некоторое время спустя Павел Антокольский прочел его рассказы и рекомендовал юношу в Литинститут и Союз писателей…

…Алексей и Владимир были родня и соседи в те дальние годы, а, может быть, и знали один другого! Этот вопрос мучил их, они выясняли какие-то подробности того времени, городские детали, искали в памяти общих знакомых. Единожды обнявшись, они уже не хотели расставаться. И наговориться, и насмотреться друг на друга не могли…

2. Литературная порода

Одаренной была фатьяновская порода. Невольно вспоминается в связи с этим первый скаутмастер Москвы и губернии, несбывшийся литератор Николай Фатьянов. Во время войны погиб Сергей Фатьянов — их с Алексеем двоюродный брат. Известно, что он тоже был начинающим литератором, закончил ГИТИс, и тоже дружил с Павлом Антокольским. Возможно, Сергей был актером театра Вахтангова, поскольку именно в нем и работал знаменитый тогда поэт. Сергей и познакомил своего родственника Владимира Репкина с Антокольским, а Павел Григорьевич, в свою очередь, рекомендовал его в Литинститут. Литературное братство знает немало вчерашних зека, записных пьянчужек или мнимо неблагонадежных, но весьма одаренных людей, которых опекает известный писатель и помогает пробиться к себе и людям. Владимир Репкин был вчерашним беспризорником, малограмотным, но талантливым. По единственному рассказу «Мальчик хочет яблоко», опубликованному в Рыбинске, еще до войны его приняли в

Литинститут.

3. Братья

Итак, Арбат, лето 1946 года. Открывается дверь квартиры Репкиных, которая притулилась под самой крышей старомосковского дома. Татьяна открыла дверь. На пороге — Володя. Тщедушный, маленький, рядом с огромным незнакомцем.

— Таня, принимай, это мой двоюродный брат Алеша Фатьянов. Он захотел с тобой познакомиться.

Татьяне очень приятно, радостно — брат мужа, да такой красавец… Она старается что-то придумать, накрыть на стол, угостить… Но тот отказывается от угощения и торопливо, настойчиво приглашает к себе. Тогда они с Галиной Николаевной жили на Ново-Басманной. Аргумент беспрекословный — теперь надо «посмотреть мою Галочку». Пошли все вместе на Басманную, посмотрели тоненькую, беленькую, пышноволосую Галочку, женщину с незабываемой улыбкой. Познакомились с Наталией Ивановной, Ией, маленьким Андрюшей. Пообщались. И с тех пор Алеша стал постоянным гостем Репкиных, а точнее — «постояльцем».

Позднее братья не расставались ни зимой, ни летом. Вместе ездили в Мстеру, любили сварить на берегу реки уху, походить по грибному лесу. Все дни рождения были вместе, все радости и печали считались общими. Да и круг общения был у них один. Владимир не стал прозаиком. Он работал как журналист для различных изданий, а потом прижился в «Комсомольской правде». Репкин оставался в ней преуспевающим газетчиком до самой хрущевской власти. Очень любил свою работу. Забегая вперед, скажем, что однажды он неосторожно скаламбурил в кругу коллег: «Не имей сто рублей, а женись, как Аджубей». Зять Н.С. Хрущева Аджубей возглавлял «Комсомолку». После этого Владимиру тихонько предложили место в «Советской России».

Татьяна Репкина закончила экономический институт и двухгодичные курсы английского языка. Она работала в организации с громоздким названием Мособлгорспецторг, и в ее ведении состояли объекты, чьи названия многих заставили бы отставить разговоры. Это и Лубянка, и Петровка 38, и Огарева 6, и страшный дом на Кировской… Через много лет, овдовевшая, ослепшая, одиноко пережившая многих своих знаменитых и славных друзей, она мне скажет с очаровательной девичьей интонацией:

— Садили, очень многих там посадили. Скажут теперь: репрессии… Нет, поверьте, воровали, очень много воровали.

Переполох был в 1947 году, страшно было, и ликвидировали все эти организации — все эти госы, мосы, горспецторги… Я тогда красивая была… Те парни, которые стояли вахтерами, за нами все ухаживали… Ну, как — мы идем, шутим, смеемся, полное нам доверие, потому что, если нас туда приняли, значит, напроверяли уже ой-ой-ой как… Я была свидетельницей, как «привозили»… Там били, это правда. Но туда никогда не привезут битого человека… С Никитой Михалковым я здесь не согласна…

Татьяна Андреевна ведет речь о фильме «Утомленные солнцем». Ей не нравится несоответствие: комдива Котова избили во время задержания… Упоминание об известном кинорежиссере здесь не случайно. Татьяна Андреевна Репкина много лет назад была бонной мальчика Никиты, Никиты Михалкова.

4. Арбатские гости

Арбат имеет такое особое месторасположение, что и ЦДЛ, и, тем более, Дом журналистов, по отношению к нему находятся близко. Когда поэты возвращались из клубных Домов, все заходили к Репкиным. А уж те и рады были принять припоздившихся рыцарей поэзии. Дружелюбный Фатьянов, во что бы то ни стало, должен был хотя бы раз в два дня проведать своего брата. И тех, с кем он общался в журналистском или писательском клубах, он непременно вел в арбатскую квартиру брата. Эта квартира — то ли импровизированный мезонин, то ли удерживающая «ножка» сбоку дома. В нее вела лестница чердачного типа. И когда по ней влезал Твардовский, а тем более Соловьев-Седой, хозяевам становилось боязно. Изрядно погрузневший после войны композитор вполне мог бы застрять в одном из ее витиевато закрученных маршей. Но люди шли, их, как на поводке, тянуло в этот чердак. Кухня в десять квадратных метров, по-сельски разделенная ширмочкой на столовую и спальню, тахта — матрас на деревянных чурках, деревянные табуреты, благородная бедность… Но чарующа и притягательна московская старина! Пушкинский Арбат. Тишина. Запах клейкой листвы на влажном закате, отдаленный стрекот трамвая у бульвара… И в эту тишину ночи из распахнутых окон репкинской квартиры летят голоса, а вылетает слово — не воробей.

Как-то мама Татьяны заметила, что у их дома на Арбате часто стоял и скучал все один и тот же молодой человек. Она приходила и говорила расшумевшимся гостям:

— Тише мыши — кот на крыше!..

Но кто обращал внимание на эти иносказания? И разве могли подумать поэты, что некий молодой человек подслушивает их

разговоры? Что не из любви к искусству, литературе и архитектуре стоит он под этой квартирой-«ножкой», в которой вечно открыты окна? А ведь кто сидел за столом у Репкиных — дети «врагов народа». Твардовский — раскулачен отец. Братья Глазковы — отец репрессирован. Сергей Штейн — отец репрессирован. Владимир Репкин — репрессированы родители. Нагибин… Введенский… Долгин… Надомирский… Да что там гости! Во всем доме с аркой было много детей репрессированных. Все боялись, молчали, а в этой квартире во весь голос велись такие разговоры, что пожилая хозяйка нередко призывала молодежь к тишине… Но ее дочь работала на Лубянке. А люди, что собирались здесь по-клубному, были весьма значительными людьми. И их не трогали.

Фатьянов с Твардовским дружили. Твардовский занимал высокое положение. Великий поэт и редактор, он был еще и чиновник, принадлежащий к высокой партийной номенклатуре. У Алексея этого положения не было. Он был рядовым и здесь, в союзе писателей. Но ведь он хотел невероятного — оставаться самим собой. И некоторых чиновников это раздражало, как не раздражает порой и зависимый выскочка. В итоге опала крепла. Несколько раз Фатьянова исключали из союза «за непослушание». Фатьянов-Твардовский — это был кажущийся многим странным дружеский союз. Или дуэт — во многом и самом главном они генетически родственно вторили друг другу. Вероятно, Александр Трифонович проживал в Фатьянове жизнь своего «непутевого» двойника. Жизнь очаровательного простака. Жизнь Васи Теркина. Та простая и незлобивая жизнь, которую он уже не обретет никогда. И оба они преклонялись перед тещей Репкина.

Эта простая женщина с двумя классами церковно-приходской школы много читала и много трудилась. Она очень уважала Фатьянова за то, что он поэт. Но более того, впечатлял ее лейб-гвардейский рост Алексея.

— Это настоящий брат для Вовы! — Не уставала говорить она. — Поглядите на Алешу — это Поддубный! Такого Вове и надо! Поглядите на Вову — это пионер!..

Мама Татьяны всегда провожала его из подъезда и дожидалась на улице, пока он сядет в такси. С непокрытой головой в любую погоду. На прощание Фатьянов обнимал ее, и это воспринималось всеми очень трогательно.

Уходя от Репкиных Твардовский целовал руку пожилой хозяйки. Татьяна, провожая его, выговаривала: «Александр Трифонович, ну зачем вы смущаете маму…». А он отвечал с высоким смыслом:

— Это — рука труженицы! — И казался в чем-то виноватым

перед всеми тружениками, будто сам не являлся таковым.

5. Репкин и пальто

Репкин работал в центральной небедной газете, но зимогорил в худенькой телогрейке, разумеется, не из скаредности. Москва требует больших расходов и слезам не верит. А Володя был неисправимо непритязателен в одежде. Настолько, что жене неловко было иногда и во двор-то с ним выйти. Татарин-дворник бросал скребок, опирался на черенок метлы и как-то неясно выражал свое отношение к этой паре покачиванием большой головы и негромким цоканьем языка. А тут, как на грех, пришел Фатьянов и пригласил всех на Масленицу в «журдом». Владимир и Татьяна с подругой, мастерицей по части блинов, уже ели их да похваливали. Алексей принялся помогать. И между прочим так расписал клубные вечера, что Репкины согласились пойти.

— Только вот у Володи не в чем выйти-то, — Смущалась Татьяна.

Фатьянов мудро пояснил:

— Если мужчина одет кое-как, но дама его хороша собой, то кому есть дело до этого мужчины? Будь он даже вообще не одет!

Импозантный Фатьянов, довольный, что всех собрал, хорошенькая Татьяна с простенькой подругой и Володя «в этой ужасной телогрейке» направились в ресторан. По дороге к ним примкнул некий Нема — Наум Мельман. Он был однокурсником Репкина, и носил псевдоним «Мельников».

В фойе Дома журналистов многолико толпились безбилетники.

— Ого! — Только и сказал Володя Репкин, но снял фуфайку, свернул ее скаткой и зажал подмышкой.

— Алеша, ну, ты иди, а мы — домой… — С вежливой улыбкой сказала Татьяна.

— Смирно. За мной, — Алексей, как ледокол на тихом ходу, шел к турникету, рассекая толпу. В фарватере двигались приглашенные.

— Стойте здесь и ждите!

Алексей быстро проскочил в холл и исчез. Наума подхватила Маргарита Алигер и увела. Трое приглашенных на чужой пир остались у двери перед важным билетером. Смотрят — ого! — сам Эренбург со своей женой-красавицей стоит посередине холла… И вдруг слышат: раздается поставленный голос Алеши надо всем этим:

— Ка-ак?! — Пауза. — Не пустили моего брата?! — Пауза покороче. — Двоюродного?! — И повелительный жест билетеру.

Бежит к дверям старший вахтер, извиняется:

— Милости просим-с, товарищи… Милости просим…

И они оказываются за накрытым празднично столике на четверых. Слева сидели Мейман с Алигер, справа — Эренбург. Весь в лучах славы и внимания, он беседовал с кинорежиссером Козинцевым, своим шурином. Был Виктор Гончаров, который мечтал быть не поэтом, а художником, который позже стал вырезать из дерева причудливые фигурки. Были там оператор Головня, писатель Нагибин… Подавали блины, все шумели, галдели… Встала Маргарита Алигер очень худенькая, но с хорошо проставленным голосом, и стала читать отрывок из поэмы «Таня». По залу прошел шумок сочувствия — многие знали, что перед самой войной у нее умер сын, что в битве под Москвой погиб муж, и что она такая разнесчастная женщина… Вставали другие, и тоже читали стихи. Алексей Иванович спел… Кто-то улаживал свои дела. Крутили патефон, танцевали… Для приглашенных Алексеем это был замечательный праздник иной, высокой жизни, к которой оказались причастны и они. Может быть, они видели лишь внешнюю сторону ее, но тогдашняя соседка Фатьянова по столику была на седьмом небе. Она, которая с детства дружила с Татьяной, состарившись, признавалась:

— Я из всей жизни помню только один день — день в доме журналистов…

Грустно и светло становится от таких признаний…

С барственной вальяжностью проводил Фатьянов своих гостей к раздевалке и помог дамам одеться. Репкин надел фуфайку уже на улице, пронеся ее подмышкой мимо вахтера… И вскоре купил себе пальто.

6. Таня — няня

Алексей Иванович очень заботился и беспокоился о своем Фатьяновском клане.

В середине пятидесятых в квартире Сергея Михалкова, что располагалась неподалеку от дома литераторов, однажды ночью разразился скандал. Виной тому был Фатьянов. Татьяна Репкина, заболев, осталась без работы, и добрые знакомые пристроили ее в дом к Михалковым. Сергей Михалков определил ее в воспитательницы к одиннадцатилетнему сыну Никите. Когда Алексей Иванович об этом узнал, то горячо вознегодовал. Ночью, часа в три, возвращаясь из ЦДЛ, он громыхал кулачищем в дверь дома на улице Воровского и кричал:

— Как вы могли мою родственницу с двумя высшими

образованиями взять к себе в прислуги?! А еще: «Сою-у-уз неруши-ы-ы-ымый!

Никто не мог угомонить Фатьянова. Он был обижен, что жена его брата — нянька. Ни Галина, ни Владимир не находили слов, чтобы его утешить. И тогда Татьяна рассказала истинную историю о том, как Никита Михалков спас ее от смерти. На Николиной горе, где у Михалковых была дача, няня попала в заполненный водой карьер, и зыбучий песок дна стал уходить из-под ее ног.

— Меня в буквальном смысле спас этот одиннадцатилетний мальчик! — Доказывала она Фатьянову свою правоту. — Я тонула, я кричала: «-Никита, уйди!». Меня уносило водой… А Никита идет ко мне. Я его прошу: «Уходи!», потому что чувствую — он утонет со мной. А он просит: «Тетя Таня, дайте руку!». И он вытащил меня за эти два пальчика! Это — подвиг!

Алексей подумал.

— Значит, сын лучше отца! — Обрадовался и смирился.

Сергей Михалков не очень любил Алексея Фатьянова.

Может быть, своей дерзкой простотой он напоминал баснописцу бывшего возлюбленного Натальи Кончаловской поэта Павла Васильева, в те поры, когда Сергей Михалков был начинающим баснописцем. Но он стал крупным литературным вельможей и оказалось, что Кончаловская не ошиблась в выборе, с практической точки зрения. Алексей же Фатьянов никогда не числился в благопристойных членах Союза писателей. Наталия Кончаловская, напротив, Фатьянову мирволила. Она ценила в нем дерзость.

Интересно, помнит ли Никита Сергеевич свою няню тетю Таню, Татьяну Андреевну Репкину? Помнит ли, как она корила его за то, что не сознался перед классом, что он разбил стекло мячом? Она говорила:

— Никита, более глупого поведения не придумаешь. Как ты много потерял! Ты бы встал и сказал: «Это разбил я!». Ты бы выиграл в глазах ребят, они бы оценили твой поступок, и преподаватели поняли бы тебя. Родители могли бы гордиться сыном, который не прячется от ответственности….

Это нравоучение так понравилась Наталии Кончаловской, которая подслушивала за дверью, что она не выдержала — и открыла себя…

А Татьяна Андреевна так и не стала матерью. Никита был единственным ребенком, которого она воспитывала.

Теперь она безучастно одинока.

7. Конфликт

Алексей Иванович не умел переживать вполсилы. Он, как ребенок, не знал малого горя. Но был отходчив. Плохо перенося критику в свой адрес, он великодушно смог простить Репкина за поступок довольно конформистский, если не сказать — подлый. Владимир написал и опубликовал критическую статью об одном фатьяновском стихотворении. Эта статья была ругательной, в духе времени. Она была хладнокровной и высокомерной в общепринятом литературной критикой духе. Трудно сказать, какие мотивы двигали его братним пером. Может быть, творческая зависть — ведь Репкин окончил знаменитый во всем мире Литературный институт, но так и не стал писателем. А Фатьянов, который о Литинституте мог только мечтать — стал всенародно известным поэтом. Фатьянова можно было ругать под шумок, этот поэт существовал для битья. И можно было, и модно было. Алеша пришел обиженный и сказал:

— Володь, ты что же… — Отвернулся.

Репкин ответил:

— Алексей, если быть объективным — а я стараюсь быть объективным — твои стихи…

Фатьянов будто не слышал его:

— А, впрочем, валяй. Новые ботинки купишь! — И исчез.

Но ненадолго. Соскучился. Простил. И они снова были неразлучны. И Алексей опять спешил к Репкиным — говорить, спорить, радоваться, поздравлять с праздниками, разыгрывать так неожиданно весело и хорошо… Вот пришел он и в день рождения Татьяны, подал ей теплый шарф:

— Таня! Это шарф из Японии!

Этот шарф не был из Японии. Ему этого только хотелось. Но фантазии поэта были настолько красивы, что он ими непременно доставлял радость тем, кого любил.

Ожидание счастья

1. 1947 год

В этом году Алексея Ивановича приняли в Союз писателей СССР, чем полностью «узаконилось» его сомнительный статус поэта-песенника. В те годы в союзе писателей была секция поэтов-песенников. Но, когда его так называли, Фатьянов обижался. Он не любил это определение себя как поэта. Да, стихи его рождались с готовой мелодической интонацией и композитору легко было угадать ее. Но ведь в классическом русском стихосложении она существует как данность… Он любил свои стихи, лелеял, защищал их, как классный адвокат, всеми силами души. Поэт становился в позу артиста-чтеца и красивым летучим голосом знаменитые свои песни переносил в стихию стихов.

— Вот видите? Чувствуете? Понимаете — это стихи! — Доказывал он неустанно.

И снова лился бархатистый его молодой голос. Каждая привычная песня — маленький рассказ, простой сюжет.

1947 год Алексея Фатьянова подарил миру еще один такой поэтический рассказ, красивое стихотворение, дивную песню.

Однажды осенью он пришел к Матвею Блантеру. Пришел не праздно, а со стихотворением. «В городском саду играет духовой оркестр», — прочел Матвей Исаакович и поставил листочек на пюпитр. Скоро появилась музыка, напоминающая ностальгические аккорды довоенного вальса. «Прошел чуть не полмира я — с такой, как ты, не встретился», — в этих чарующих строках и тактах кружились пары, головы, листья на осенних тротуарах. Постаревший Матвей Исаакович в 1975 году вспоминал своего «веселого, шумного, громкого» соавтора и говорил:

— Эта песенка о встрече молодого человека с девушкой в городском саду мне до сих пор мила. В моих авторских концертах, к моему удовольствию, она звучит до сих пор.

Готовился к печати в «МузГизе» сборник песен Фатьянова, из-за чего приходилось ездить в Ленинград. Книга включала в себя двадцать песен поэта с нотами, и должна была выйти в будущем году. Небывалый случай — все произведения этой книги были всенародно известны. Но ожидал Алексей Иванович не только сборника своих песен — жена готовилась к рождению первенца. Так что год этот для Фатьяновых был годом счастливого ожидания.

А жили литераторы на широкую ногу.

Фатьяновы завтракали в «Национале», обедали в «Арагви», ужинали в доме литераторов. Ночевали, припозднившись, в доме, который оказывался ближе. Они продолжали жить в Хрущевском переулке, но, бывало, насельничали и у Наталии Ивановны, в ее «басманской империи». И там, и здесь они были дома. Приходили иногда с рассветом. Спали мало, короткий остаток ночи. Пробуждались ясно и счастливо. Просто хотелось жить, хотелось идти к своим, которые, казалось, были повсюду, хотелось всегда быть вместе. Они обошли все партеры и галерки, пересмотрели все спектакли послевоенной Москвы, пили со знаменитостями за кулисами чай и не только.

Цыплят «табака», чрезвычайно модное тогда блюдо, Фатьяновы ели в «Арагви». Причем они всегда спорили, у кого останется меньше костей. Галина съедала цыпленка вместе с костями! А там давали табака, за которым только что приходилось бегать. Так во, всяком случае, утверждал шеф-повар.

После ужина они, бывало, попадали на студенческие «пельмени». И самое главное там было, разумеется, не сами пельмени, которые лежали на широком блюде, а то, что творилось вокруг них…

2. Дружба со студентами

В антологии «Русская поэзия XX век» утверждается, что Алексей Иванович закончил Литинститут и ГИТИС. Это неверно. Поэт не учился ни в этих институтах, ни в какой-либо иной высшей школе. Ему очень хотелось бы поучиться в Литинституте, он общался со студентами, как бы догоняя свою юность… Он дружил с литинститутовцами настолько близко, что периодами бывал там ежедневно. Он любил студенческие «читки» по кругу, веселые молодые застолья, беззаботную обстановку общежитского бездомовья.

Училось тогда фронтовое поколение: Николай Старшинов, Константин Ваншенкин, Владимир Соколов, Юлия Друнина, Александр Меркулов, Александр Межиров, Михаил Луконин, Василий Ажаев, Семен Гудзенко. Все они еще в своих окопчиках и госпиталях знали песни Фатьянова, все они были ими одинаково связаны.

Они собирались в правом флигеле Литинститута, где и жили большей, почти воинской, частью. Там, где теперь библиотека и читальный зал, в сороковые размещалось общежитие. Вечерами постояльцы флигеля сиживали в свободных институтских аудиториях, запирались и писали. Иногда до самой первой пары

лекций горели окна в таких «кабинетах». Но не каждый умел завладеть ключом. И неизвестно, кто был тогда счастливее: тот, кто уединенно засыпал за письменным столом, или тот, кто засиживался за «братским чаем» до петухов. Там заливалась с девичьим восторгом гармоника, там говорилось, читалось и пелось с неутолимой ненасытностью.

Заходили Фатьянов с женой и на институтские поэтические вечера, что проходили в маленьком актовом зале в первом этаже. Этот переход из уютного, почти домашнего зальчика в общежительный флигель был плавным и незаметным. Просто, как воздух, перемещался поэтический люд с крыльца на крыльцо, оставляя опустевший зал до новых встреч.

Бронзовые ныне корифеи были тогда молодыми. Именно в те дни они встречали свою любовь, ходили на свидания, смущались от непонимания собственных стихов, покорные юношеской неуверенности, граничащей с величием самопознания. Девятнадцатилетний студент, литинститутовец Владимир Соколов писал в те дни такие строчки:

Как я хочу, чтоб строчки эти
Забыли, что они слова,
А стали: небо, крыши, ветер,
Сырых бульваров дерева!

Чтоб из распахнутой страницы,
Как из открытого окна
Раздался свет, запели птицы,
Дохнула жизни глубина.

3. Автор — народ?.

Отчего-то ясно представляется поздний вечер летом 1947 года, описанный Николаем Константиновичем Старшиновым. Загуляли они вдвоем после концерта, шли по темнеющей Москве, наслаждались ее вечерней праздничной жизнью. И вот свернули на Гороховскую улицу прихрамывающий солдат Старшинов и Фатьянов. Бредут, что-то знакомое будто слышат… Из окон полуподвала доносилось нестройное застольное пенье:

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои…

Вслушались… А Старшинов был еще и гармонистом. Мог

сыграть на гармошке «Танец маленьких лебедей», а уж частушек знал столько, что и сам удивлялся.

— Меня поют! — Громко и весело сказал Алексей Иванович. — Знает народ Алешу-то Фатьянова! — И добавил — Пойдем к ним в гости, Коля!

— Да ты что — очнись-ка! Как это мы явимся в чужой дом!

— Пойдем, пойдем! Людям же интересно! Может, у них и гармошка есть, а? Мы им споем! Я спою — ты подыграешь! Пойдем, а?

— Нет! И не зови: что о нас люди подумают? Выпить пришли — вот что они подумают!

— Ты, Коля, почему так плохо о людях думаешь? А еще коммунист!

Неизвестно что подумали люди, но пока друзья рядились, собирались студенты из этого общежития. Смекнув, в чем дело, они без рассуждений взяли под белы руки двух поэтов и силой повели в поющую комнату. Там хозяева вручили гостям по столовому прибору, гармонь и потянулись уже вслед за запевалой, которого не надо было уговаривать исполнить свои песни.

Так и было — песни его звучали повсюду. Танцплощадки и кинотеатры, радио и концерты, смотры самодеятельности и застолья — все было насыщено фатьяновской лирикой. Иногда он простодушно говорил жене:

— Ты знаешь, Галя, я думаю вот как: наплевать нам на критиков! Меня все знают, все понимают, потому что все поют мои стихи…

— Все поют, а кто написал — мало кто знает… — Прямодушно отвечала Галина Николаевна.

И тогда он загорался:

— Ты — второй Колька Старшинов! Вот пойдем-ка, пойдем-ка на улицу! Я буду останавливать людей и спрашивать: знают они Фатьянова или не знают!

Бывало, они вдвоем выходили на улицу, преграждали кому-то путь:

— Скажите пожалуйста, вы знаете эту песню?

— Знаю.

— А кто написал стихи?

— Не знаю…

Так и было. Никто не вспоминал поэта. И все же!.. Какой художник не жаждет войти в каждое сердце? И пресловутые романы, вечные влюбленности и охота на особ женского пола — всего лишь эрзац этого желания, попытка утолить жажду любви сладкой фруктовой водицей… Фатьянов пил родниковую воду

народной любви, оставаясь в безвестности…

Песни, песни…

1. Песня, которую ждали

Кто не помнит это? Черно-белый телевизор, на экране — худенькая пожилая певица облокотилась о рояль. Сценическая поза напоминает образ трагической птицы — острые лопатки, как сложенные крылья, огромные подведенные глаза. Жесты женственно плавны и мужски сдержанны. В руках — платочек, синий даже в черно-белом телевизоре. Она поет, протягивая согласные, отчего интонация кажется домашней, сама женщина — свойской. И если бы она была наряжена не в искристое длинное платье, а в партизанскую телогрейку, и в худых ее пальцах вместо платочка тлела бы самокрутка, она выглядела бы также изящно, ей этот будничный наряд был бы к лицу. Потому что это — «однополчанка» многочисленных советских фронтовиков и фронтовичек. Клавдия Шульженко.

Ни с кем не спутать ее низкий голос, как будто подстуженный на полевом ветру, голос сестры милосердия и просто сестры, воздыхающей о судьбах своих братьев:

Мы бы с ним припомнили, как жили,
Как теряли трудным верстам счет.
За победу б мы — по полной осушили,
За друзей — добавили б еще.

Так же, как и «Соловьи», песня, прозвучавшая впервые осенью 1946 года, произвела шок. Впервые внятно прозвучало то чувство, которое мучило вчерашних фронтовиков, многие десятки тысячи из которых вернулись с передовой инвалидами. В мирной непонятной жизни они скучали по тем, с кем рядом шли на смерть. Не все еще были демобилизованы, а вернувшийся с войны солдат был молод, неженат и неустроен. Еще вчера — герой, сегодня он жил, как пораженный в правах. Терялся высокий смысл жизни…

Новая песня Алексея Фатьянова говорила о невысказанном и сразу вошла в народную жизнь страны.

Одним из первых с нею был случайно ознакомлен Михаил Матусовский. Однажды изловив его в коридоре гостиницы, счастливый от удачи, Алексей Иванович ему прочел:

Майскими короткими ночами

Отгремев, закончились бои…
Где же вы теперь, друзья однополчане,
Боевые спутники мои?

Матусовского забил озноб творческой радости. Стало быть, судьба этих строк обещала быть славной и долгой.

После неудачи 1946 года, связанной с постановлением ЦК, Алексей Иванович Фатьянов упорно замалчивался — известный и неустаревающий прием «агитпропа». Многие композиторы перестали обращаться к нему, все-таки все были уже пуганые. Но не таков был Соловьев-Седой. В гостиничном номере «Европейской» первый вариант музыки был написан в миноре. Ефрем Флакс, прослушав песню, предложил композитору к окончанию музыкальной фразы перейти в параллельный мажор. Василий Павлович послушал старого друга и сделал, как он просил. Теперь он шутливо называл Ефрема своим соавтором. Флакс стал первым исполнителем «Друзей-однополчан». Такую песню не нужно было «раскручивать». После первого же исполнения ее по радио туда пошли доплатные, зачастую, письма. Ежедневно их выносили в архив мешками…

Ошеломляющий успех «Однополчан» поставил критику в недоумение…

Шло время. Приходили новые власти. Корректировались слова государственного гимна. Долго мы жили без гимна. Но никогда — без песен, написанных бесхитростным романтиком Фатьяновым.

Это — народные гимны России…

2. От Ленинграда до Одессы

Они с Василием Павловичем особенно сблизились в этот 1947 год.

В феврале Фатьянов приехал в Ленинград, чтобы поздравить дочь Соловьева-Седого с десятилетием. Он любил останавливаться в гостинице «Европейской». Ему казалось, что здесь слышится дыхание минувшего пушкинского века. Ленинград для него все-таки оставался Петербургом.

Каждое утро он спускался по широкой гостиничной лестнице и выходил на Невский. Неспешно пешим ходом брел на квартиру Василия Павловича. Там они работали.

Татьяна Давыдовна слышала громогласные выражения их творческих мук.

— Кто у нас композитор, папа: ты или я? — Слышался голос

Фатьянова. — Тогда дай, дай, дай мне эту штуку с клавишами! Эту фисгармонь!

— Не лезь своими руками, сынок! Мал еще в композиторах ходить — побудь сначала в писаках! — Отзывался Соловьев-Седой.

— Я т-тебе покажу, кто у нас композитор, а кто писака! Дай мне срок! Литература — это работа души! Это путь к истине! А не: дрым-дрым-дрям-дрям!

— Не дам я тебе срока — я не Вышинский! Мало ему постановлений ЦК!

— Дай, говорю, мне, инструмент! Выйди-ка на мое место!

— А я говорю тебе: тут идут шестнадцатые — та-та-та-та!

— Сто двадцать восьмые: д-р-р-р-р!

— Та-а-аня, на помощь! Дилетанты заедают! Им мое место в искусстве подавай!

Они звали Татьяну Давыдовну, как судью и критика, и она бежала из кухни, утирая руки о передник, чтобы независимо судить и профессионально критиковать.

И как друзья-однополчане ни упражнялись в полемическом острословии, а в том же феврале написали несколько веселых песенок, замечательных по своему светлому колориту. В соавторстве с Фогельсоном появились «Разговорчивый минер» и «Золотые огоньки» — песня об одесских моряках для фильма «Голубые дороги». Этот ныне забытый фильм был снят на Киевской киностудии.

Не горюйте, ненаглядные невесты,
В сине море вышли моряки.

Тогда же была написана «Песенка о начальнике станции». Это не только маленький рассказ о жизни небольшой станции, где начальник — милая девушка. Это еще и документ, содержащий приметы времени, когда на станциях проводники и пассажиры выбегали за кипятком с тяжелыми оловянными чайниками. И снова лирика: и моряки, и станционные рабочие — все были влюблены. И композитор с поэтом были влюблены. Эти песни Василий Павлович преподнес жене в ее тридцать пятый день рождения в хмуром ленинградском марте.

А в апреле вновь Алексей Иванович с Галиной Николаевной навестили друга, чтобы поздравить его с сорокалетием. Как это мало — сорок лет!

Но для кого-то — это вся жизнь…

3. «Вирши Фатьянова…»

В 1947 году Союз композиторов объявил конкурс на лучшую песню к тридцатой годовщине революции.

В том же 1947 году к мирной жизни вернулось восемь с половиной миллионов демобилизованных солдат.

И поэт с композитором решили представить на конкурс цикл песен. «Возвращение солдата» — так сначала назвали они цикл. Когда же были написаны шесть песен, то оказалось, что получился современный русский эпос. Герой-победитель, возвращение его на родину, преодоление себя и житейских трудностей, продолжение рода — вот что было их смыслом. Песни соединялись в сюиту стихотворными связками. После обычных споров произведение назвали эпически — «Сказ о солдате». О том солдате, который возвращается.

Послевоенная судьба мужчины, его внутренняя жизнь, отличалась от проблем «потерянного поколения» Ремарка и Хэмингуэя. Как и сам поэт-солдат, его герой не считал себя потерянным в этой жизни. Да и любой русский солдат ли, каторжанин, не мог в страшный момент не воскликнуть: «Черный ворон, я не твой!». А после миновавших трудностей он восклицал: «Ожил я, волю почуял!». Но первая песня цикла «Шел солдат из далекого края» все-таки была грустна. Человек шел с войны в полную неизвестность. Как она напоминает своим настроением знаменитую песню возвращения «Славное море священный Байкал»! Хотя, этот славянин XX века — не арестант, он идет домой не с каторги, а с праведной, добровольной военной поденщины. И не с Востока идет на Запад — наоборот. «Черногорка, старушка седая, Залатала солдату шинель…» словно вторит старинному: «Хлебом кормили крестьянки меня, Парни снабжали махоркой». «…Он вернулся, не тронутый пулей» подтверждает «…пуля стрелка миновала». Солдат идет через Европу, Карпаты, Украину — это было бы триумфальным шествием победителя. Но «…и невольные слезы блеснули, Хоть при людях рукой утирай». И родина, лежа в руинах, отвечала на его невольные мужские слезы по-матерински радостно: «Твоя земля, омытая слезами, Тебя давно, родимый, заждалась».

Во второй песне сюиты, «Расскажите-ка, ребята», солдат пересмеивается с деревенским девушками, не жалуется на военные трудности — шутит на вечную тему близящейся свадьбы.

Третья песня — «Колыбельная». «Солдатский сын — отца не посрамит» — говорит герой о своем первенце.

«Поет гармонь за Вологдой» долго пели сестры Лисицыан своими теплыми высокими голосами. Это — веселая, искристая

песня о трактористе, счастливые надежды на будущее страны, деревенский праздник с гармонью, гармонист с пшеничными усами…

Легко ему шагается:
Погожий день хорош.
Глаза его хозяйские
Осматривают рожь.

Шумит она, красавица,
Ей вторят в лад овсы,
И парень улыбается
В пшеничные усы.

Чудо, как хорошо!

Пятая, и последняя песня цикла — «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» снова, как и первая, оказалась невеселой, что не прошло бы мимо постовых критиков. И тогда была написана шестая песня, подобная гимну: «Славься, славься, край чудесный…», «Славьтесь, родины герои…», «Славься, славься, русская земля…». Назвали ее «Величальной». Василий Павлович аранжировал мелодию подобно «Славься» Глинки: с колоколами, хором, соборными переливами. Для эпоса — достойное, величественное завершение.

Одним из первых исполнителей «Сказа о солдате» был солист Малого Оперного театра Сергей Шапошников. Василий Павлович был доволен, но мечтал о том, что цикл исполнит проникновенная Клавдия Шульженко. До этого они с певицей встречались в работе всего один раз. Василию Павловичу запало в душу исполнение Клавдией Ивановной замечательной его песни «Вечер на рейде». Еще в 1943 году они с молодым Фатьяновым написали песню «Россия», и композитор предложил ее певице. Репетировали в гостиничном номере «Москвы», там же состоялась и премьера…

И вот, спустя четыре года, в том же гостиничном номере начались репетиции. Певица отрабатывала каждый жест, мимику «проницала». Аккомпаниатор Раиса Барановская уставала страшно. Царица эстрады милостиво позволила композитору присутствовать на своих репетициях. И он в своем же номере сидел тихо, как прилежный школяр, с волнением глядя на то, как вживается в песню Клавдия Шульженко. Вместе с ней он переживал свои песни в роли зрителя. Он в который раз уже был покорен ее стилем и своеобразием ее музыкального спектакля.

В ноябрьские дни 1947 года «Сказ о солдате» прозвучал в

Центральном доме работников искусств.

Большая пресса тут же отозвалась.

Вся суть газетно-журнальных публикаций сводилась к восхвалению композитора и уничижению поэта.

«…Сказ о солдате» производит на меня неравноценное впечатление…», — выступал на одной из дискуссий того времени музыковед Леви. «… Главная беда лежит в тексте. Вирши Фатьянова производят на меня тягостное впечатление, и очень досадно, что Василий Павлович пишет на эти тексты». Разумеется, Леви написал бы лучше!

Алексей Иванович не мог и не хотел понять, за что его «загоняют».

— Алеша, выпей сердечных капель… — Забирая из его рук газету, мягко советовала Галина Николаевна. — Зачем ты читаешь всякую макулатуру? Почитай лучше Пушкина…

— Какое сердце! Сердце… Это, Пусик, пройдет… — Отмахивался он от капель и, свернув газету в трубочку, нервно постукивал ею по ладони. Жена вдруг увидела совсем другого Алексея: чужого, сурового, окаменевшего, отлетевшего за неведомые ей пределы бытия. Не то взрослого, не то старого — иного. Бесплотного. Она увидела его как сквозь прозрачную стену, разделившую их навсегда. Он был здесь с ней и не было его. Женщина не успела осознать этот миг провидения — она не успела ни испугаться, ни удивиться.

Постепенно удары газеты о его ладонь становились все ритмичней. Вот он уже мурлычет какую-то мелодию и возвращается на землю…

Сердце — это пройдет. Песни, полные сердечности останутся.

Однажды Алексей Иванович сказал одному из друзей о том, что никто не может знать, будет ли песня популярной. Здесь действуют законы природы и человеческого духа, непостижимые рассудком.

Однако, к вывертам советской критики общество привыкло еще со времен Пролеткульта. А сюиту «Сказ о солдате» уже начал репетировать Краснознаменный ансамбль имени Александрова с гениальным вокалистом Георгием Виноградовым. «Однополчане» звучали и звучали, несмотря на ругань. Остальные же песни цикла, за исключением «Поет гармонь за Вологдой», оставались в прошлом.

Аленушка

1. Ожидание

В туберкулезном диспансере для москвичей, в архиве личных карточек состоящих на учете больных, лежала нестарая история болезни Галины Калашниковой. Войдя в совершенные лета, Галя прослушала беседу вкрадчивого, дипломатичного доктора о женской своей судьбе. Доктор знал много дипломатических медицинских терминов и все умел грамотно объяснить. Галя поняла одно: рожать ей нельзя — умрет. Ей, мучимой удушающим кашлем и пневмотораксом, хорошо было знакомо чувство пограничья между бытием и небытием. Галине было предложено подписать отказ от родов в случае беременности. И она подписала этот документ.

Как завороженная, она чувствовала, что в ней затеплилась еще одна человеческая жизнь. Как это — избавиться от этого ребенка по медицинским показаниям? Да ни за что на свете!

Круговорот счастливых месяцев после замужества закружил и увлек ее.

Веселая, несмотря ни на что, бесшабашность мужа, его неприкрытая влюбленность, приподнимали ее над болезнью. Детство не верит в смерть. Кружа вместе с Алексеем в счастливой череде друзей и новых знакомств, афиш и концертов, она не боялась ничего.

Алексей Иванович говаривал:

— В доме, Пусик, должны быть лавки, лапти и детей столько, сколько получится…

Он был патриархален, верен, открыт. К жене Алексей Иванович относился необычайно нежно, как к ребенку. Пусик — так обращался он к Галине Николаевне и «за кулисами», и прилюдно.

Он считал, что ему ученая жена не нужна:

— Мне нужна дома мать, хозяйка и женщина.

Иногда он бывал ревнив, но не мучительно. Эта легкая ревность объяснялась его особым, требовательно-детским складом характера. Он маялся, когда самый близкий ему человек тратил слова и внимание не на него, а на постороннего. Ему была нужна вся жена, все ее мысли, поступки, смех, походка, вопросы, привычки, ахи, охи и вздохи. Потому он не отказывал себе в удовольствии водить и возить за собой жену везде и всюду.

Но вот наступило время, когда она не смогла сопутствовать

ему. Он не мог оставить дела и сидеть дома у ног жены. Она не чувствовала себя одинокой. Садилась, складывала руки на животе — их уже было трое.

А зима утверждалась в морозце. Близился Новый год. В витринах магазинов появлялись наряженные елки, а вокруг громоздились пирамиды консервов, фруктов и карамели. Шубы, валенки, ботики, сапоги, ушанки, рукавицы сновали по улицам яркой, румяной кустодиевской Москвы. И московские зимние закаты сыпали розовым снегом. Потомственные дворники-татары, из поколения в поколение труждающиеся в столице, посыпали льдистые тротуары песком и собирали снег в плотные скрипучие сугробы. По снежным коридорам, как по траншеям, стучали стыками рельс и сыпали электрическими искрами трамваи. У гардеробщиков культурных заведений к вечеру болели руки от тяжести заснеженных шуб и подбитых ватином пальто.

И подходило время родов.

2. Бильярдисты

Алексей Иванович Фатьянов и Борис Андреевич Мокроусов были страстными бильярдистами. Они не могли пропустить ни одного «бильярдного» дня и часто сходились в доме композитора, который тогда была на Третьей Миусской. Там играли далеко заполночь.

Покидая дом в Хрущевском переулке двенадцатого января, Борис Андреевич быстро вышел из подъезда, Алексей Иванович же задержался в дверях, будто затревожился:

— Анна Николаевна, если что, звоните, — Сказал он теще и оставил номер телефона бильярдной.

Галина проводила его привычно — спокойным и милым взглядом. Он нахлобучил шапку и выбежал на мороз.

На тот день пришлась особенно увлекательная и долгая партия. Увлеченность перерастала в азарт. Закусывая уголком рта сигарету «Новость», поэт и заправский бильярдист Фатьянов угрожающе цедил: «подставочку не бить»… «от борта в лузу»… По зеленому сукну испуганно и слепо летали желтые костяные шары.

— Знаешь, Алеха, иногда, глядя на тебя, мне кажется, что я вижу слона, играющего собственными костями! — Нарочито мрачно пошутил Мокроусов.

— Видишь кий? — Фатьянов легко включился в игру и потряс кием. — Если я слон, то вот мой бивень! Бивнем бьют. То-то я смотрю у тебя голова на шар похожа, Боря!

Едва он начал выигрывать партию, как его пригласили к телефону.

— Поиграть ведь не дадут, не только выиграть! — Ворча, принял он телефонную трубку.

Анна Николаевна с тревогой сообщила, что у Галочки начались схватки.

— Не волнуйтесь! Скажите Пусику — пусть не волнуется тоже! Вот доиграем партию в бильярд — и приедем, — Успокоил Алексей Иванович тещу и вернулся к столу.

Вновь застучал по шарам кий-бивень. Вновь дымила и сыпала пеплом тлеющая «Новость». Слышалось обычное: «а вот сейчас мы — «своячка», «бей тупым концом»…

Так прошло полчаса, и Фатьянова опять подозвали к трубке.

— Алеша, приезжайте скорее! У Гали предпосылки того, что ее надо везти в роддом, — Говорила теща, а за ее голосом слышались сдержанные стоны жены.

Но в бильярдной кричали: «Ки-икс!», «А где наш мел, а где наш мел?»!

— Стоп-стоп-стоп! Счас приедем… — Бросает он трубку, бежит к столу и быстро выигрывает.

Еще быстрей они вместе с Мокроусовым садятся в такси. Они мчат по улице Горького, по Тверскому, Суворовскому и Гоголевскому бульварам. Сворачивают на Кропоткинскую… На их руках, на щеках, на пиджаках и брюках, на бобриковых пальто — мел, будто они не знатные люди, а отличники из средней школы.

Въехали Алексей Иванович с Борисом Андреевичем во двор Хрущевского переулка. Взметнули маленькую пургу из-под колес, машину оставили у подъезда. Свели по ступенькам лестничного марша совсем бледную от боли Галину. Закутав ее в тещину шубу, усадили в машину и повезли в роддом.

3. «За женушку с Аленушкой…»

Когда они вернулись в Хрущевский, а не в бильярдную все же, Галина уже родила дочку.

— Так мы могли бы опоздать, Бори-и-ис! — Побледнел вдруг Алексей. — Тут я слон: настоящий и лопоухий! Или слонихи сами за все отвечают?

— Я не знаком с жизнью слонов, Алеша. Они у нас не водятся.

— А я?

— Ты — продолжение кия!

И, облегченно посмеявшись, Алексей принес выпить. По рюмочке. За доченьку. И стали они писать молодой маме письмо. Оно стало песней «Пью рюмочку до донышка за женушку с Аленушкой». От руки на чистой бумаге был нарисован нотный

стан. И нанизывались на него ноты партитуры счастья. Так что исполнять этот радостный гимн могли бы все роженицы палаты, будь они музыкально грамотны.

Имена детям Алексей Иванович выбирал сам. Еще в детстве он упивался красотой русских сказок, кроткой, певучей чистотой и лаской русских имен. Во что бы то ни стало ему хотелось назвать дочь по-васнецовски — Аленушкой. Не Еленой, именно Аленой Алексеевной. Он набрал полные карманы конфет и пришел в ЗАГС. Там, долго не объясняясь, он высыпал на стол килограмма два шоколада, твердо попросил:

— Девушки милые! Запишите мою дочь Аленой — век не забуду!

И симпатичные чиновницы записали в свидетельстве о рождении имя девочки — «Алена».

И крестины дочери Фатьянов отмечал на широкую ногу.

Крестили ее в храме Воскресения Словущего, что на улице Неждановой. Храм этот знаменит тем, что никогда не закрывался, в нем не прерывалось служение даже в годы гонений на православие. И без того маленький церковный зал до стеснения дыхания заполнился московскими знаменитостями. Крестный отец — Василий Павлович Соловьев-Седой — искренне, по-родственному радовался появлению младенца. Крестная мать — солистка Большого театра Александра Михайловна Тимошаева, жена дирижера оркестра Всесоюзного радиокомитета Виктора Михайловича Кнушевицкого — постоянно дышала на руки прежде, чем взять на них спящую свою красавицу. Она тихонько пела вместе с церковным хором.

У них в просторной квартире дома Большого театра, совсем близко от церкви, и остановились все Фатьяновы — ребенка нужно было покормить и перепеленать.

А кум Василий Павлович уехал в «Москву», в гостиницу, хлопотать о банкете. Там, в банкетном зале, уже бегали официанты и администраторы, заканчивая приготовления к приему знаменитых гостей…

Об этом событии говорила вся Москва.

1948 год. Церковь не столько отделена, сколько отдалена от государства. Несмотря на сталинский либерализм в отношении православия в послевоенные годы, крестить детей старались тихонько, чтобы никто не узнал. По укоренившейся привычке на квартире у тайного священника, в глухой деревне, дома… А тут — крестины, да и какие! Ай да Фатьянов, ведь никаких крестин организовывать нельзя, а он что ж? Открыто крестил дочь да еще и банкет затеял там, где шила в мешке не утаишь! И что с ним делать: ведь не член партии, а значит — никто… Это подумать

только: весь цвет советской творческой интеллигенции пришел в храм и люди участвовали в службе! Не просто присутствовали — пришли специально, стояли со свечами!

Что за банкет был, забыть невозможно. Этот февральский вечер гремел отголосками своими еще много лет. Рядом с Красной площадью и мавзолеем на накрахмаленных скатертях стояли водки и закуски для того, чтобы отпраздновать церковное таинство. Людей приглашено было много, зал был полон: композиторы, поэты, артисты, исполнители, чиновники различных творческих организаций… Был Соловьев-Седой со своей женой Татьяной Рябовой, Сигизмунд Кац, Иван и Евгения Дзержинские, Никита Богословский, из композиторов не было разве только Тихона Николаевича Хренникова, а почти все остальные — были. Писателей пришло и того больше. Хайджинатов Тихон Михайлович, председатель правления авторских прав, желал младенцу жизненного благополучия — а он знал, что это такое, всегда выручал деньгами без вопросов. Речи, тосты, вина, смех, шутки, танцы, долгие многочисленные «посошки», сочиненные тут же песенки и куплеты, поэмки и оды… О, веселая кутерьма больших праздничных застолий, где все — друзья или почти друзья!..

Будь здорова, Аленушка, будь всегда ангелом этого семейства!

…Вскоре Лев Иванович Ошанин встретил Галину Николаевну в коридорах писательской организации. Он был в ту пору секретарем парторганизации Союза писателей. Естественно, он на крестинах присутствовать не мог. А, наверное, хотелось. Человек достаточно добросердечный, он лишь слегка пожурил молодую маму:

— Галочка, рожать вы можете, сколько угодно. Но зачем же крестить?

Это и было «взысканием» за содеянное. К тому же, как это ни странно звучит, Алексей Иванович понятия не имел о том, что крестить ребенка нельзя. Он и не задумывался над этим, и в мыслях не держал. Родил — значит и крестил, так не нами заведено. Он ходил с гордо поднятой головой. Все удалось — и дочь «Аленой» записал, и крестины, как русский человек, по-доброму справил.

В начале лета вышел нотный сборник двадцати фатьяновских песен в Московско-Ленинградском издательстве «МузГиз».

Так что все у него было хорошо.

Соловьев-Седой

1. Старший дворник и горничная певицы

Василий Павлович Соловьев-Седой называл Алексея Ивановича «сынком». «Как они чувствовали друг друга! Если могут быть соавторы, которые созданы для того, чтобы работать вдвоем — это были два таких человека», — писал Лев Ошанин. Они бесконечно мчались навстречу друг другу: один — в Ленинград, второй — в Москву. Они скучали друг без друга, советовались по вопросам не только творческим, но и житейским. Они одинаково думали. Посудите сами — две Сталинские премии, которые В.П. Соловьев-Седой получил в 1943 и в 1947 году за песни, написанные на стихи Фатьянова, за песни одних и тех же авторов, случайность ли? «Володимерский» Фатьянов и взращенный на белорусско-псковских мелодических родниках петроградец Соловьев по человеческой и художнической сути были братьями.

Отец, Павел Павлович Соловьев, происходил из псковско-невельских крестьян и, служа в армии, увидел завидную жизнь городов. После солдатчины он вернулся в родное Кудрявцево, где просил у отца благословения «уйти в люди». На обслуживании Петербурга трудились русские, белорусы, чухонцы, финны…

Так и попал в Петроград, где работал возчиком на конке, дворником, грузчиком, ливрейным швейцаром. Однако дворницкая работа для Павла оказалась самой подходящей. Чистоплотный парень был замечен начальством, переведен в центральные кварталы столицы, а потом и произведен в старшие дворники. Павел Павлович был человеком грамотным, непьющим, старательным. Он «не водил компаний», не любил разбитной жизни — был молчалив, сдержан, добросовестно трудился. Еще в детстве, заработав крестьянскую копейку, он купил у залетного цыгана гармонь за полтора рубля денег. Гармонь уехала в Петроград и утешала позже семейство Соловьевых. Она, веселая, еще долго пожила бы на свете, если бы опростившиеся от блокадных ужасов люди не спалили бы ее в печи.

В Петрограде Павел женился.

Его выбор пал на псковскую крестьянку Анну, которая за красоту и благочестивое поведение была взята в услужение к директору страхового общества. Когда родились дети Сергей, Василий и Надежда, материнское пение Анны по праздничным дням было для них, как хлеб насущный. Когда Павел Павлович

был призван на войну и попал в Финляндию, Анна Федоровна собрала детей, закрыла дом и последовала за мужем.

Был в семье шикарный граммофон — сбывшаяся мечта о достатке.

Одно время Анна служила в горничных у знаменитой Анастасии Вяльцевой. Певица привязалась к молодой женщине, занялась ее образованием. Может быть, глядя на нее, она думала о своем крестьянском детстве и вспоминала, как труден хлеб горничной. Анна была от природы музыкальна, она с жадным интересом слушала домашние репетиции певицы. Анастасия Вяльцева решила устроить свою горничную в хористки. Голос у Анны был хороший, сильный. Но Павел Павлович по своей крестьянской обстоятельности не разрешил жене настолько приблизиться к сцене.

— Жизнь там прокукуешь… И свою, и мою, и деток наших… — Сказал он без раздумий. — Уходи от нее — хватит…

Жена да убоится мужа своего — Анне Федоровне пришлось покинуть место у певицы.

При расставании Анастасия Вяльцева подарила бывшей горничной этот граммофон и свои пластинки.

С грустью слушала Анна Федоровна, как из трубы граммофона лился томный голос знаменитой Вяльцевой. Не могла она знать тогда, что не состоявшаяся ее жизнь в искусстве восполнится в ее сыне Василии.

2. От пряничного домика до «музыкального комода»

Василий, второй сын четы, родился 25 апреля 1907 года. С раннего возраста он подружился с соседом — мальчиком Сашей Борисовым. Через несколько десятков лет друзья, композитор и актер, стали народными артистами. А тогда мальчишек влекла музыка. Но Василий не хотел двухрядку — он хотел трехструнку. Не хотел играть на отцовой гармони — мечтал о балалайке с тех пор, как ему приснилась витринная балалайка с нарисованным на ней пряничным домиком. Ему нравилось звучание струнных. И отец купил ему этот инструмент. Парнишка быстро освоил балалайку и самые счастливые детские минуты проводил с нею наедине. Вскоре у Васи появилась гитара. Он повязал на нее большой красный бант и «приручил». Саша Борисов тоже играл на гитаре, хорошо пел. Подрастая, мальчики учились исполнять музыку ансамблем.

Среди многочисленных жильцов доходного дома, где жила дворницкая семья, квартировал виолончелист оркестра Мариинского театра. Вдвоем с Шурой Борисовым Вася слушал его

репетиции, затаившись в садике неподалеку от квартиры. Как-то раз артист заметил ребят через открытое окно и позвал к себе. Напоил их чаем, расспросил и пригласил в театр послушать спектакли не где-нибудь, а в оркестровой яме. Громовое звучание лучшего оркестра империи, изысканный вид музыкантов, их отработанная до мелочей тактика будоражили детские души. Там же, сидя в углу ямы, Вася однажды услышал голос Шаляпина.

Юность Василия Соловьева проходила при полной культурной анархии второго десятилетия века.

В городских садах шумели рестораны, манили эстрады, зимними морозными вечерами влекли катки. Эстрада собирала зрителя на любой вкус. Чечеточники, куплетисты, фрачники, лапотники, артисты «рваного жанра»… Фрачники были первоначинателями конферанса, лапотники — народных ансамблей а-ля рюс. В бусах и кокошниках, лаптях и рубахах, они исполняли народные песни и танцы, впервые поставив этот жанр на коммерческую стезю. И он оказался прибыльным. Артисты «рваного жанра» открывали дорожку для будущих Райкина и Жванецкого. По выражению самого композитора, в его родном городе юности был неразреженный «музыкальный воздух».

А он был настолько музыкально одарен, что пианино освоил с первого к нему прикосновения.

Пианино, к которому прикоснулся Василий, стояло в кинотеатре «Слон».

Раз после сеанса он наиграл «Светит месяц», чем порадовал киномеханика… Вскоре парень стал тапером в «Слоне» и имел заработки после киносеансов. Его смешили веселые дивертисменты, разыгрываемые перед показом фильма шутки. Это были пустоватые сценки со стриптизом или клоунскими выходками. Народ с готовностью отзывался на каждую реплику, заполняя хохотом и аплодисментами молодые кинозалы. А вскоре — так же искренне рыдал над роковыми страстями Веры Холодной.

Самоучкой же он попал на радио и там играл музыкальные заставки, аккомпанировал. Павел Павлович умел наблюдать и делать выводы: он купил среднему сыну «музыкальный комод» — пианино.

Пианино тащили грузчики в третий этаж, пролет за пролетом.

Когда умерла Анна Федоровна в 1922 году, отец вторично женился. Русская сказка о мачехе стала для их семьи былью. Василий взял балалайку и гитару с бантом и ушел из дома. Его приютила добрая пожилая немка и не слишком много брала за чистенькую сдаваемую каморку. Он зарабатывал, чем мог. Играл

в гимнастических классах, там же и учился импровизировать, предчувствуя вторжение джаза в Россию. Импровизации были в моде, молодые таперы ходили по кинотеатрам и студиям слушать друг друга.

Теперь ежедневно Василий играл в утренней радиогимнастике и готовился поступать на кораблестроительный факультет. У него для этого были синие глаза и любовь к морю.

Но поступил он в музыкальный техникум на композиторское отделение, в класс Рязанова. А вскоре весь курс Рязанова перевелся в консерваторию, где и получил образование будущий композитор. Здесь он и «поседел».

Василий в детстве был беловолос, во дворе называли его Седым. Может быть, в память о детстве, научившем его любить и чувствовать жизнь, как музыку, он и взял себе этот псевдоним. Есть фамилии, которые достаточно распространены и как-то теряются в памяти.

И, несмотря на то, что фамилия у будущего композитора была «говорящей», он все таки решил ее «приукрасить». Так из Соловьева он сначала стал В. Седым, потом — Соловьевым-Седым.

В 1939 году Василий Павлович был призван в армию, служил он рядовым красноармейцем на границе с Финляндией, там, где воевал отец.

3. Друзья и соавторы

Мистическое начало творческого века Соловьева-Седого случилось в теплый день 1942 года, на пятачке Оренбургской земли, в сквере «Тополя».

Работу с другим композитором своего «сынка Алехи» Василий Павлович воспринимал с тех пор, как утонченную обиду за товарищескую измену.

— Отдать немедленно жизни за други своя! — Кричал он Алексею в телефонную трубку. — Или не попадайся мне на глаза — «залигую»!

Так же относился к новым творческим дуэтам друга и Фатьянов. А когда услышал «Подмосковные вечера» на стихи Михаила Матусовского, был рад успеху, но печалился, что автор — не он. В середине пятидесятых актер Виталий Доронин зашел в гостиницу «Москва», где остановился Соловьев-Седой. Актер и композитор готовили песню к спектаклю «Песня табунщика»… Алексей Иванович был там же, и восторженно сообщил о том, что Васлий Павлович привез свою новую песню. Предложил послушать… Они спели дуэтом «Подмосковные вечера».

— Это Песня песен! — Трагическим шепотом говорил он. И восклицал: — Великая русская песня!

«…Признаться, я был потрясен великодушием Фатьянова. Песня была «чужая», а он радовался от всего сердца, будто сам написал для нее стихи», — написал Доронин в своих воспоминаниях.

Это была близость душ невероятная — кровное родство.

Известно, что к некоторым своим песням композитор сам сочинял стихи. Строку «Где же вы теперь, друзья-однополчане», композитор придумал сам, и с нее началась песня. Не будь в нем поэтического чутья, смог бы он разглядеть в стихах молодого солдатика алмазное зерно русской песни?

Грузнеющий, рыжеватый композитор в роговых очках почитался членом семьи Фатьяновых.

Он проявлял попечение о детях друга. Когда Алена показала себя музыкально одаренным ребенком, Василий Павлович предложил ее… «удочерить». Он считал себя ответственным за судьбу крестницы. Он шутил:

— Крестный — это кто? — Водил он указательным по воздуху. — Это — отец! И я имею полное право и все основания забрать у тебя Алену! Понятно?

Как известно, новорожденного сына Фатьяновых, нареченного Никитой, Василий Павлович требовал назвать Глебом. Он принимал живое участие в семье, считал себя близкой родней. Судьба преподнесла ему подарок — ему все же довелось понянчить мальчика с этим древним русским именем. Дочь Наталия родила ему двух внуков — Василия и Глеба.

Когда не стало Алексея Ивановича, он всерьез намеревался забрать Алену в свой дом и серьезно учить музыке. Но Галину Николаевну такие разговоры только смешили…

В 1948 году Василий Павлович стал депутатом, сменил Дмитрия Шостаковича на посту председателя Ленинградской композиторской организации. Он получил возможность выезжать за границу, что не грозило Фатьянову. Кстати, сам Александр Сергеевич Пушкин тоже за границей ни разу не был. Василий Павлович возглавлял международные жюри, участвовал в конкурсах, его песни пели на ломаном русском и других языках планеты. «Подмосковные вечера» стали международной маркой Советского Союза. Приезжая в родной Ленинград, он взахлеб рассказывал о чудесах «закордонной жизни».

И спешно уезжал в Репино, где намеревался строить в поселке Музфонда два дома с колоннами по своему проекту.

Дома эти стоят там и доселе. Бывал там и Фатьянов.

Василий Павлович пережил своего молодого друга на

двадцать лет. Прибавьте к этому еще и двенадцать лет разницы в взрасте.

В последние свои годы известный композитор совсем ушел от общественных забот и всерьез занялся огородом, грибным и рыбным делом. Он тихо ходил по лесу с маленькой корзинкой и тонким посохом, наслаждаясь спокойными солнечными днями — истинным золотом земной жизни. И снова мочил, солил, варил собранные грибы, мариновал миног, полол грядки, собирал дачные урожаи…

Однажды он съездил в Вязники, на праздник памяти своего друга и был приятно поражен тем, что его Алеха, его «крестник» и «сынок», стал народным героем.

Сигизмунд Кац

1. «Зига»

Его все называли не иначе, как Зига Кац.

С Алексеем Фатьяновым они познакомились в ЦДЛ, во время возвращения поэта из эвакуации. Сигизмунд Кац знал песни молодого поэта и оценивал их очень высоко. Алексей слышал «Шумел суровый Брянский лес» на стихи Анатолия Софронова и был пленен российской широтой музыки, которая была сродни старым песням Отечества. Алексей однажды твердо решил писать тексты только для Соловьева-Седого. Ему казалось непорядочным «уйти» к другому композитору. Однако, война кончилась. Уже написаны были с Василием Павловичем знаменитые песни мирного времени. Алексею Ивановичу стало интересно попробовать работать с другими композиторами, взглянуть на свои стихи их глазами.

Зига, зигзаг, молния… И это короткое звучное имя соответствовало его способности цепко подмечать смешное и уметь пошутить. Его шутки передавали из уст уста, и они становились фольклорным достоянием Союза композиторов. Его выходки иногда выходили за грань дозволенного. Так, однажды он на день рождения конферансье Смирнову-Сокольскому подарил скелет. Любитель мистификаций, в воспоминания об Алексее Фатьянове Кац написал о том, что поэт не знал нот и знать их не хотел, как музыканты его ни уговаривали. Но известно, что Алексей Иванович закончил музыкальную школу и получил театральное образование, в программу которого также входят уроки музыки и пения.

Родилась Алена, и Алексей Иванович было как бы «на взлете». Ему хотелось петь, общаться, рассказывать всем о своем счастье. Хорошо шли стихи. Однажды весной, надышавшись сытным воздухом, с легким головокружением от духа почек и звенящего апрельского гула, он зашел в московскую квартиру Сигизмунда Каца. По дороге пришло стихотворение, и образ музыки внятно и отчетливо звал новую песню…

А с другом хорошим и с песней хорошей
Легко нам к победам по жизни идти.
Поднимем стаканы за тех, кто в походе,
За тех, кто сегодня в пути!

Они сидели за роялем в уютной гостиной Каца и старательно напевали песню. Она получилась легко. «За тех, кто в пути», традиционная застольная, песня-тост, не могла не быть подхваченной народом и сразу стала шоферским гимном.

Стали похаживать друг к другу в гости, подружились. А в осень вместе уехали на Кавказ в творческую командировку. Семья Алексея Ивановича оставалась на переделкинской даче. Он поцеловал жену, доченьку и сел в попутный автомобиль, стремясь успеть к самолету.

2. «На холмах Грузии…»

Кавказ для Алексея Ивановича был краем невиданным.

Его манила, звала туда душа поэта. Там страдал и огранивал свои страдания в стихах юный офицер Михаил Лермонтов. Его проза, исполненная таинственности, создавала над этим краем мистический покров непознаваемого. Александр Сергеевич Пушкин и Сергей Есенин, любимые поэты Фатьянова, находили там свои гениальные стихотворения. Он хотел посмотреть место добровольной гибели Лермонтова, почувствовать мощь Казбека не из папиросной пачки, он втайне надеялся поклониться Есенину в лице Шагане Нерсесовны Тальян, жизнь которой уже тихо шла к закату. И, конечно, поэт мечтал одарить этот прекрасный край своими стихами.

Кавказские будни превзошли все ожидания. Поездка по воинским частям погрузила друзей в солдатскую жизнь. Десятки гарнизонов проехали поэт и композитор. Там к их приезду настраивали пианино и рояли, срезали цветы. Наполнялся рог кавказского изобилия прохладным виноградным вином, столы ломились от обилия фруктов.

Они ночевали в землянках, ходили в горы, обедали из солдатских котелков. Алексей Иванович был поэтично настроен. Но они не написали все же тех песен, за которыми их направил сюда Союз композиторов. Переполняющие душу впечатления, обширная программа бесконечных встреч и концертов, гостеприимство грузинских, азербайджанских и армянских творческих товарищей отодвинули эту главную задачу на последний план. Они были всегда в пути, и созданная ими песня «За тех, кто в пути» теперь касалась и их. Она звучала на концертах, в застольях, в палатках и автомобилях.

А в Подмосковье осень выдалась дождливой. После Кавказа золотое от кленового убранства Переделкино Алексею Ивановичу казалось Болдиным. Похаживая по влажным тропинкам, собирая поздние грибы, он вынашивал два стихотворения о Кавказе.

Приходя в теплый дом, где топилась печь, он шевелил в ней дрова и старался не шуметь — Аленушка спала. В общей тетради складывались строки:

…У древнего селенья Алазани,
Где к винограднику тропинка пролегла,
Поет солдат-гвардеец из Рязани:
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…».

Приезжал Сигизмунд Кац, раскладывал в сенях зонтик, дивился грибным трофеям, высыхающим над печью в виде гирлянд. Он, как всегда, привозил фейерверк шуток и острот, и обитатели подмосковной дачи с трудом сдерживали смех, чтобы не разбудить дочку. Осенью задание Союза было выполнено. Две песни — «На Кавказе ночи жаркие» и «У древнего селения Алазани» появились под музыку переделкинского дождя.

Тема дороги все же никак их «не отпускала». После этого они вдвоем работали над радио-водевилем А. Кулика «Весной в дороге». Он прозвучал в «Театре у микрофона» в постановке Бориса Равенских. Так получилась песня «Ты как зорька вдали» — музыкально-поэтическая элегия о первой любви.

Они немало поездили по городам и городкам страны, ее колхозам и стройкам. Виктор Боков вспоминает, как он встретил в середине пятидесятых этих разных людей в сибирском Омске. Там соавторы выступали на сценах, предприятиях, в клубах. В том 1954 году в Омске проходили соревнования волейболисток Сибири. Виктор Боков поселился в гостинице «Октябрь», переполненной юными спортсменками. Неразлучный со своей балалайкой, он познакомился с девушками, приехавшими сюда из разных уголков Сибири. Он пел им частушки, читал стихи. Фатьянов и Кац сняли номер в гостинице «Сибирь», лучшей в городе. Они ходили на соревнования, «болели» сразу за всех, по-детски радуясь каждому голу. Виктор Боков, который работал здесь с Омским народным хором, пригласил друзей к себе на чай, а заодно шепнул соседкам по гостиничному коридору, какие гости пожалуют к нему сегодня…

Полный гостиничный люкс сибирских красавиц набился к приходу поэта и композитора. «Фатьянов весь вечер читал стихи. Был в ударе. Был он красив и молод. Он и его стихи были одним слитком, одной глыбой. Здоровье душевное и телесное сливалось в нем в одну мелодию. И это все видели и наслаждались силушкой русского богатыря, которому Бог дал талант складывать песни», — вспоминает Виктор Боков в своем очерке «Соловей с Клязьмы».

Алексей Фатьянов написал с Сигизмундом Кацем четырнадцать песен.

Что-то тянуло его к этому одаренному еврейскому парню со всегда смеющимися губами и грустными глазами. Может быть, притягивало в нем легкое, с оттенком цинизма, отношение к себе и окружающему миру? Этого не хватало Фатьянову, несмотря на его видимое каждому жизнелюбие.

Кто знал, какое усталое сердце бьется в его богатырской груди, как маятник, отсчитывая короткое время жизни…

Подмосковныя

1. Все едут в Переделкино

Разрешение купить автомобиль приравнивалось к очень большой награде, и просить его нужно было ни много не мало у старого большевика Скрябина — Вячеслава Михайловича Молотова. Сразу после войны такое разрешение на покупку «Победы» получили трижды герой Советского союза Иван Кожедуб, диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан, шахтер — рекордсмен Алексей Стаханов, поэт Александр Жаров и популярный писатель Аркадий Первенцев. Свою просьбу автор «Кочубея» организовал так: нужен автомобиль «Победа», поскольку он, Аркадий Первенцев «должен совершить поездку по стране для сбора материала для новой книги о современности» и мотивировал тем, что на его «Москвиче» из-за ранения в позвоночник эта поездка невозможна.

Так что большинство писателей пользовались паровым транспортом железной дороги.

От Киевского вокзала Москвы ежедневно согласно расписанию отправлялись паровые пригородные поезда. Их было немного, и бегали они не так быстро, как нынешние электрички. Вагоны — с деревянными скамейками, напоминающими садовые. В этих жестких вагонах встречались писатели-дачники. Пассажирили в них и студенты Литинститута, проживающие в переделкинском общежитии. Шел литературный поезд недолго — около часа. Дальше Переделкина ехали уже не писатели, а читатели.

Выходили из вагонов плотно, толпой и направлялись по тропинке мимо старинного церковного подворья боярина Федора Колычева, мимо кладбища на холме, переходили речку…

Дальше стояли писательский городок и дачный поселок, куда и устремлялись недавние пассажиры паровика.

Государственными дачами всех членов союза обеспечить было невозможно. Многие снимали дом в деревне, что было не хуже фондового: ведь каждый хозяин индивидуален, также и его владения. Палисадники, цветники, грядки, свежее молоко по утрам и вечерам, теплые деревенские посиделки на скамеечке под липой, жизнь без расписания — это тоже было замечательно и занимательно.

Когда появилась Алена, Фатьяновы тоже устремились в Переделкино.

Переделкинские холмы, пригорки, ручьи дышали русской щедростью. Несколько подземных ключей било прозрачной, холодной водой, за которой ходили обитатели дач с банками и бидонами. Это били святые источники, о чем не принято было рассуждать — просто брали воду и пили до прозрачной легкости в мыслях и сердце. Издали доносилось постукивание колес паровика, навевающее спокойную грусть отдохновения. Здесь была обстановка и рабочая, и творческая, и домашняя.

Фатьянов нашел самый настоящий деревенский дом без хозяев и поселились в нем все вместе: Фатьяновы с Анной Николаевной, Людмилой, Наталией Ивановной, Ией, Андрюшей и няней.

Утреннее солнышко бликовало на железном рукомойнике, прикрепленном под старой яблоней, в чистых стеклах низких деревенских окон.

По вечерам Алену мыли в тазу, в сиянии радужных мыльных пузырей расплескивая воду. Купала ребенка мама, поливала из ковшика няня Ариша, в полотенце принимала бабушка.

Жизнь большой семьей Алексею Ивановичу доставляла громадное удовольствие. Они усаживались за обеденный стол так плотно, будто прилипали друг к другу. В этой же деревне снимал дачу также Сигизмунд Кац. Он и передал Фатьяновым няню Аришу для маленькой Алены.

Ариша была простой женщиной из нижнего Волочка. Она могла без трепета сердечного сказать выдающемуся Кацу:

— Композихтор-фихтор-пихтор, иди пиши песни: в доме продуктов нет!

Арина нянчила его дочь Марину, но та подросла и ей была нужна уже не няня, а гувернантка с хорошими манерами. А крошке Аленушке заботливая, как орлица, Арина — пусть и не Родионовна — была впору.

Совсем рядом облюбовали домик Немоляевы.

Актер и режиссер, автор доброго мультфильма «Доктор Айболит» и кинофильма «Счастливый рейс», каждое лето сюда привозил своих детей. К Светлане, подвижной, игривой девочке, слава киноактрисы уже начинала подступаться. Восьмилетней, в 1945 году она снялась в фильме «Близнецы», который теперь помнят разве что фанатичные поклонники послевоенного кинематографа. Тогда каждый фильм был событием. По переделкинским тропинкам бегал Коля Немоляев, будущий славный кинооператор.

Это были далекие годы, счастливые годы, когда дети делились на довоенных, военных и послевоенных, и все они были маленькими. Деревушка была переполнена знаменитостями:

актеры, режиссеры, композиторы, литераторы, музыканты… На дальней даче жила семья Анатолия Софронова, неподалеку от Фатьяновых селились Матусовские, каждое лето приезжал композитор Бакалов. Бакалов гулял по вечерним тропинкам вдвоем с Кацем — они дружили. Друзья отгоняли вечерних комаров сломленными веточками, рассказывали анекдоты и громко хохотали.

2. Место встречи — пруд

По столь живописной деревушке, клонящейся к реке деревянной, крепкой улицей, шел не менее живописный поэт к рыбному Переделкинскому пруду. На плече он нес удочки и был заметно спокоен и задумчив. Издали можно было узнать в нем Алексея Фатьянова по красной в синюю полоску экзотической пижаме из трофейного бархата, подаренного отчимом Галине. Галина сшила мужу пижаму на уроках кройки и шитья в Центральном Доме литератора. В барской этой пижаме Алексей Иванович садился с удочками на береговую траву и удил рыбу.

Алексей Иванович любил рыбалку. Отчего-то именно в те утра, когда он наряжался в эту багряно-синюю пижаму, рыба хорошо шла к нему на крючок. А оттуда — под ножик в искусных руках Галины Николаевны, и далее в кастрюлю, на сковородку.

Александр Александрович Фадеев, не боясь спугнуть клева, кричал ему через пруд:

— Ага-га! Палач в выходной день! Доброе ли утро?

С легкой руки руководителя Союза к нему так и припало это совсем неподходящее, кровавое прозвище. Так что, в некотором смысле, а точнее — в осмыслении рыбьей доли, Фадеев со своим прозвищем был прав.

Впрочем, где деревня — там и клички.

А на пруд ходили все — писатели и не писатели.

Это был дикуссионный клуб под открытым небом. Долго очевидцы вспоминали случай, произошедший на его водах в первые послевоенные годы.

Дело было так.

Однажды приехал сюда на летний отдых некий писатель из Ростова-на-Дону. А вечерком по общепринятой традиции вышел прогуляться на пруд. Поравнявшись с берегом, он встал на его краю, загляделся на усыпанную кувшинками темную зыбь, глубоко задумался… Кто-то из веселых композиторов решил над ним подшутить. Публика с любопытством наблюдала, как он подкрался сзади к гостю с Дона и толкнул его в спину. Резко выпав из мира грез, задумчивый литератор шлепнулся в пруд, в

чем стоял. Эта смешная сценка в духе американских кинокомедий вызвала бурю веселья на берегу. Но потеха быстро сменилась паникой — человек плавать не умел, он начал тонуть. К нему ринулись «спасатели», на ходу срывая с себя тенниски и кеды. Казалось, ростовский писатель вот-вот захлебнется, его уже поглощала вода, но вдруг над прудом показалась его рука с красненькой книжечкой, и панически торжествующий голос возвестил:

— Партбилет! Партбилет!

И как-то сразу его стали называть между собою обитатели Переделкина «Партбилетом».

Потом долго все шутили друг с другом:

— Ты на пруд? А партбилет не забыл?

Или:

— Рыбачишь… Сколько партбилетов поймал?

Время скрыло от нас фамилию преданного партии литератора. А скорее всего, эта история — один из переделкинских мифов, которые творятся здесь походя, как литературные упражнения…

Но не миф, что в Переделкине Алексей Иванович едва не погиб.

В то лето начала пятидесятых его семья снимала дачу в одном доме с Матусовскими. У Фатьяновых были комната и терраса. Алексей Иванович к ночи на террасе разбирал раскладушку, долго читал, засыпал с соловьями. А в комнате жили женщины, няня и младенцы — уже появился Никита. Терраска была небольшой. Прямо над лежанкой Алексея Ивановича висел электрический счетчик. Как старый счетовод, он умиротворенно гонял черно-белые костяшки по проволочным поперечинам и привычно жужжал колесиком.

Фатьянов спал, когда началась гроза. Вдруг прямо в счетчик ударила молния. Загорелись постель, стена, но, слава Богу, поэт успел вовремя проснуться, отскочить и сразу принялся тушить огонь, оберегая от опасности семью. Ариша, путаясь в полах сшитой Галиной Николаевной ночной сорочки, мазала ему лоб и руки йодом и икала от страха.

Галина Николаевна всхлипывала и металась от детских кроваток к мужниной раскладушке.

…А рано утром она услышала, что Алексей Иванович с кем-то тихо и дружественно говорит на террасе. «Ни свет, ни заря на рыбалку,» — подумала она и встала готовить завтрак тихонько, чтоб не разбудить детей, запоздавших с пробуждением после ночного переполоха. Прислушалась.

— Чив? — Спрашивал невидимый воробей из-под карниза.

— Жив… — Отвечал муж.

— Чив-чив? — Снова беспокоился птах.

— Жив — жив… Успокойся… О детях своих думай… — Советовал Алексей Иванович.

Она не знала, сколько мог продолжаться этот диалог еще, однако нахлынула теплая волна каких-то новых чувств. Она подошла, обняла его сзади и легко, счастливо заплакала…

Забежим вперед. Шло время, росли дети и менялись домработницы.

Простоватую Аришу сменила Уля, которая была чахла и нездорова. Она пробыла в семье недолго — получила паспорт и вышла замуж.

Валю, красивую молодую деревенскую девицу, нашли через бюро услуг. Она любила детей, старалась помогать по хозяйству. Ее также, как и Аришу и Улю, брали с собой на дачу. Ульяна — предпоследняя домработница Фатьяновых — отличалась пристрастием к гостям мужского пола.

А последней помощницей Галины Николаевны стала Татьяна, женщина со Смоленщины, которая также пришла из бюро услуг и пробыла с Фатьяновыми больше десяти лет.

Она была мала телом и вынослива, как подросток. Преданна, как ангел-хранитель. Неприхотлива, как мать большого семейства. Опрятна, как медсестра.

— Мне бы лишь бы птицы пели, я птиц люблю! Как это их Господь создал? Не пойму!

— Дунул вот так… — Терпеливо объяснял Фатьянов, — … смотри! — Он дул на стоящие на подоконнике цветы так, что с них осыпались лепестки и колыхались легкие коленкоровые занавески на окне. — И создал!..

3. Серебряный ветер под Одинцовым

Чуть подальше от Переделкина находился еще один дачный массив Внуково, где проживали Утесов, Орлова, Твардовский, Аросев — выдающиеся люди своего времени. Там же располагался пионерский лагерь и летний детский сад Союза писателей, куда, подрастая, уезжали на лето Алена с Никитой.

На недальней Николиной горе проводил лето Сергей Михалков со своей семьей.

За Внуковом простиралось Одинцово, места не менее живописные, и тоже излюбленные советскими аристократами.

Всего несколько месяцев Фатьяновы провели в Одинцове. Их принимал старший брат Владимира Репкина Александр, который незадолго до их приезда купил часть старого деревенского дома.

Фатьяновы вновь пожаловали на отдых всем могучим семейством, вместе с Наталией Ивановной, Ией, ее мужем Игорем Дикоревым и детьми Андрюшей и Верочкой, с тещей и Людмилой, с Татьяной и Владимиром Репкиными. Одинцовские Репкины, как и арбатские, тоже были люди веселые. Все хорошо работали на своем огородике — хорошо и пели.

Алексей Иванович два раза приезжал отдыхать на эту дачу из-за грибов. Он любил собирать грибы.

Те росли кругом — в дубовой роще, в березовой роще, в сосняках. И дачники всей гурьбой ходили по травянистым тропам, тыча в кочки свои самодельные посоха. Набирали грибы, приносили домой, чистили… Еще только подбирались ножи к середине огромной корзины, как раздавался крик:

— Жарить буду я!

Так отстаивал свое почетное поварское право Алексей Иванович.

Это было его делом, и он выполнял его на зависть всем хозяйкам. А хозяек удивляло, что в этом действе не было замешано никакого масла: ни сливочного, ни, как тогда говорили, постного. Алексей Иванович ставил сковороду на огонь костра, укладывал в нее грибы — они сочились, таяли, он подсыпал свежих, и в конце концов грибы приобретали румянец, золотились, благоухали на всю улицу. Они получались красивыми и вкусными. Этот способ жарения он знал с детства.

Однажды все обитатели дома Репкиных, как обычно, пошли в лес по грибы, но их прогнала из лесу буря. Начиналась осень — и вот листья сухие, желтые, красивые, стало срывать ветром и тревожно кружить в маленьких и больших вихрях. Грибники затревожились, стали собираться домой. Алексей посмотрел вокруг и говорит:

— Серебряный ветер!

— Какой серебряный ветер? — Воскликнула спорщица Татьяна, хватая золотистые березовые листья на лету. Они были похожи на круглые монетки. — Лист желтый… Это золотой червонец!

Он приложил руку к уху, замер и убедительно, миролюбиво сказал:

— Таня, ты послушай… Серебряный! Я напишу стихотворение.

Татьяна продолжала стоять на своем. Она сказала:

— Ты — поэт, а я — скептик!

— Правильно, Танька: ты скептик потому, что ты — метр с кепкой! — Ответил он.

И по дороге домой не обронил более ни слова, боясь

нарушить эту неслыханную музыку, которую чувствовал только он один на всей земле. Иногда только прикладывал руку к сердцу и открывал рот, словно собираясь петь. Так он ощущал скачки атмосферного давления.

Алексей Иванович страдал гипертонией, но не хотел верить в это. Он старался не замечать недуга. В его богатырское здоровье верили окружающие, но никак не сестра Зинаида Ивановна Буренко. Каждый год Алексей Иванович ложился в санаторий Союза кинематографистов в Болшеве, где сестра была главным врачом. Зинаида Ивановна тревожилась за брата. Военный врач финской и Отечественной войн, она относилась к нему, как к рядовому, и умела приказать ему «лечь», едва лишь чувствовала в нем нездоровье.

Кроме Подмосковья, Алексей Иванович проводил лета в Кочетовке. Это — шолоховские места на Дону, где Фатьяновы так же снимали дом и поселялись той же «фатьяновской» колонией. Когда училась Ия, Алексей Иванович брал с собой Наталию Ивановну с детьми. Он считал, что так нужно, родственно-сыновнее отношение к родным у него было заложено в крови.

Юга он не любил, но в Коктебеле бывал.

Но больше всего — больше, чем в Переделкино, Кочетовку, Коктебель или Болшево, Фатьянова тянуло в родные Вязники.

Штрихи к закату десятилетия

1. Предчувствие улыбки Гагарина

В 1948 году у Фатьянова с Мокроусовым появились «Наговоры», «Шли два друга», «По мосткам тесовым…», «Мы люди большого полета». Эта последняя песня была единственной, за которую поэт был удостоен формальной похвалы. Владимир Бунчиков и Владимир Нечаев первыми ее исполнили. Ежегодно проводились конкурсы по песням. Друзья представили на один из них «Мы люди большого полета», и вдвоем получили первую премию. Их немного критиковали за стихи, противники гротеска утверждали, что слова «до самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко» звучат с издевкой и слишком противоречат науке. Прошло немногим больше десяти лет — и эти слова зазвучали в космическом корабле Юрия Гагарина. Песня стала злободневной, ее знал каждый ребенок. После правительственного сообщения о первом полете человека на весь мир прозвучали «Широка страна моя родная» и фатьяновско-мокроусовская «Мы люди большого полета».

Несколько песен сочинил поэт с Сигизмундом Кацем, о чем уже говорилось. С Соловьевым-Седым в этом году он написал всего одну песню «Где ж ты, мой сад». Впервые за семь лет работа у композитора «не шла». Депутатские, чиновничьи дела заменяли ему все. Но эта песня на музыку Соловьева-Седого все-таки появилась:

Снятся бойцу карие глаза,
На ресницах темных
Светлая слеза.
Скупая,
Святая,
Девичья горючая слеза…

2. Хорошие встречи

Летом Алексей Иванович часто гулял по бульварам.

Его высокая фигура узнавалась издалека, когда он в летней светлой рубашке, светлых же широких брюках выходил из Хрущевского, сворачивал по Кропоткинской на Гоголевский бульвар и шествовал так до Литинститута, и далее — до

памятника Пушкину. Как-то раз он повстречал на Тверском бульваре молодого Льва Озерова. До этого они лишь немного общались на литературных вечерах, в беседах «за круглым столом».

Они поздоровались за руку и дальше пошли вместе. Ускользающий светский разговор, казалось, мало трогал собеседников. Между ними стояла та нерукотворная стена, которая всегда разделяет малознакомых людей, боящихся быть непонятыми. Но когда речь зашла о Вязниках и оказалось, что Лев прекрасно знает этот старый город, Фатьянов преобразился и широкими шагами повел Озерова в направлении ЦДЛ. Они говорили о Ярополчьей горе и Малом Петрине, Благовещенской церкви и Базарной площади… Настороженность Алексея совсем ушла, когда он узнал о поэтических пристрастиях спутника:

— Семен Гудзенко говорил мне, что вы ведете семинары, читаете лекции в институте. А дружите вы с поэтами, которые ломают традиции русского стихосложения. Это так? — Почти упрекнул он Озерова…

— Это так. Мне интересен всякий эксперимент. Но люблю я Есенина, — услыхал он в ответ.

— Есенина?! — Благодарный и удивленный Фатьянов ускорил шаг.

Через пятнадцать минут они уже сидели за столом ресторана Центрального Дома литераторов и радостно-удивленно читали друг другу стихотворения Есенина.

На «Вязники» и «Есенина» душа его отзывалась, как часовой — на пароль. Это были маячки на его «дороге жизни» в необъявленной блокаде. В ресторанном зале ЦДЛ было накурено и прохладно, несмотря на то, что накурено. Кому-то не нравилось то, что два поэта слишком громко разговаривают и восторженно лобызаются. В такие моменты Алексей и сам бывал похож на Есенина.

Критика по-прежнему, как некогда и Есенина, с холодным высокомерием умалчивала значение творчества Фатьянова или барски трепала поэта по щеке, что больше было похоже на пощечины.

И вдруг в 1950 году появилась в печати первая и, пожалуй, единственная добросовестная статья о фатьяновских песнях.

Написал ее малоизвестный журналист из военных, корреспондент газеты Московского военного округа «Красный воин» Николай Стуриков. Он отозвался небольшой рецензией на сборник фатьяновских песен, который выпустил «МузГиз» в серии «Песни советских поэтов». Статья была напечатана лишь во Владимирской газете «Призыв».

Алексей Иванович разыскал журналиста, тоже бывшего владимирца, жал ему руку, удивленно благодарил:

— Сто двадцать строк о моих песнях. Это же надо!

Почти больно было Николаю, прекрасно понимающему золотую цену фатьяновских песен, принимать эти похвалы гения.

Лыжная прогулка вблизи города Иваново

1. Композиторская «Мекка» в усадьбе Надежды фон Мекк

…В 1943 году, когда немца от Москвы отогнали, Правительство во главе со Сталиным обратило внимание на цвет нации — творческую интеллигенцию. Перебиваясь скудным карточным пайком, в безденежье и голоде, жили наши лучшие композиторы в эвакуации. Дмитрий Шостакович продал все, что имел, и дошел до крайнего истощения. Его измученному организму требовалось лечение. Весь гонорар от Пятой симфонии он потратил на сгущенное молоко, которое должно было помочь в лечении легких. В подобном положении было здоровье и других выдающихся композиторов. Специальная Правительственная Комиссия искала место в России, где бы творческим людям было и сытно, и здорово. Выбирали между утиным совхозом под Кинешмой и птицефабрикой под Ивановым.

Тогдашний «шеф» Музфонда Левон Атовмян выбрал второе.

И сразу, в том же 1943 году, сюда приехали жить, а не просто отдыхать, Прокофьев, Шостакович, Глиэр, Хачатурян, Мурадели и Кабалевский со своими семьями. В просторном помещичьем доме поставили фанерные перегородки и жили все вместе, зимовали и летовали. Рояли разместили в домах сельчан Афанасова. Каждый композитор ходил туда, как на работу. Там, под внимательным доглядом теть Нюр и баб Груш, создавалась классика советской музыки.

Бывало и наоборот: афанасовские бабы, чьи мужья ушли по фронтам, летом строили коттеджи под внимательным доглядом композиторов. Они старались успеть до осени. Поголовье кур становилось все меньше, но за столовским табльдотом всегда были жирный бульон и свежее мясо. К окончанию войны все куры были съедены.

Тогда к городскому вокзалу подъехала теплушка с элитным коровьим стадом для местного Дома творчества композиторов.

Держали в хозяйстве и «гужевой транспорт» — лошадок.

Зимою сорок девятого года одна из тех лошадей, запряженная в розвальни, влеклась по снегу от городского ивановского вокзала к гостеприимному дому. В розвальнях притихли Фатьянов с Дзержинским.

Дорога навевала томящую грусть, уже почти позабытую во всегда подтянутой Москве. Тише и глуше становились окрестные

деревни. Потом начинались знаменитые ивановские поля, сизоцветущие летом, зимой — ровные и гладкие в своей белизне.

Лишь один раз пошутил Фатьянов:

— Скажи, Ваня, как на духу: ты ведь не Иванович, а — Феликсович! Куда ты меня везешь, несчастного? А не дашь ли ты мне водочки «для сугреву»?

— На! — Сказал Дзержинский, ткнул его локтем в грудь и в розвальнях началась шутливая потасовка «для сугреву».

Их встречали, как бар, весело распахивали ворота, наряжали в деревенские овчинные шубы, подносили стеклянную граненую рюмочку, которая стояла тут же, наготове. И они, продрогшие, по-хорошему утомленные, были здесь действительно барами, хозяевами.

Так Алексей Иванович впервые прибыл в Дом творчества композиторов «Иваново», где они с Иваном Ивановичем Дзержинским писали программный цикл «Земля». Поэт и композитор получили заказ, равнозначный приказу.

В 1943 году, победительном уже году войны, на Урале они писали цикл романтических песен «Первая любовь». Вот о чем думали «под грохот кононады», причем вражеской, эти неисправимые русские «Ивановичи», юноша и муж. Фатьянову в тот военный год исполнилось 24 года, Дзержинский бы десятью годами старше. Теперь они повзрослели на шесть лет.

Просыпаясь, Алексей Иванович шел завтракать в столовую. Она размещалась в здании бывшего имения какого-то родственника госпожи Надежды Фон Мекк.

В среде людей искусства хорошим тоном считается постоянно иронизировать. Фатьянов любил шутку, но не любил иронии, считая ее орудием рабов или прихотью жестокосердых. Когда кто-то пошутил, что фамилии «Мекк» сильно мешает козлиный «фон», то Фатьянов сказал, что на фоне подобных шуток у него портится аппетит и это ему, Фатьянову, мешает. После этого продолжал спокойно есть.

На выходе встречала его дворняга Змейка, любимица Сергея Прокофьева. По морозцу шел Алексей Иванович к Ивану Ивановичу в деревянный домик с громким названием «коттедж», и Змейка вилась за ним, оставляя четырехпалый узор в отпечатках человеческих следов.

Он проходил мимо одного из первых «новых» дачных домов, где жил Вано Мурадели. Здесь была написана знаменитая опера «Великая дружба», которая пострадала от постановления ЦК 1946 года. Фатьянов не мог не чувствовать уважения и солидарности к композитору, поскольку сам получил тогда же и за то же — за свою вдохновенно выполненную работу.

Очень красивая, но уже почти пожилая — много старше мужа — жена Вано Мурадели не любила деревенских юных красавиц и глупых товарищеских шуток. А композиторы и поэты — напротив — очень любят свои шутки, и передают их из уст в уста, из поколение в поколение…

А Иван Иванович, известный шутник, хохотал:

— На этой даче, где написана «Великая дружба», нужно установить «мнимореальную доску»»!

Несколько поодаль, в акустической независимости одна от другой, стояло еще несколько таких же композиторских дач. Зимой некоторые дачи пустовали, и тогда приходили работницы и кутали рояли в ватные тюфяки и верблюжьи одеяла, ухаживали за ними, как за детьми…

Алексей Иванович шел в домик Дзержинского. Туда, где глянцево-черной поверхностью отражал розовый свет январского утра величественный «стейнвэй». Иван Иванович уже пробовал туше, ставил на пюпитр исчерканное до неузнаваемости стихотворение и присовокуплял к нему некие аккорды, арпеджио и стаккато. Иногда Алексей Иванович пел, Иван Иванович слушал, или наоборот. Шлифовались стихи, оттачивалась музыка…

…Позднее Фатьянов привезет сюда двоих своих подросших детей, жену. Ивановская земля отдавала свою благодать с избытком. Втягиваясь в незнакомо плавный ритм жизни, диктуемый, в общем-то, столовским режимом, Алексей Иванович чувствовал там, что отдыхает. Это чувство было непривычным, но ощутимым. Он набирался этой русской благодати на годы, как ему казалось, вперед. Может, и на многие годы. Он чувствовал себя нужным всему миру и получая письма той далекой уже зимой. А письма тех лет — единственная обстоятельная связь между людьми — не равнозначны нынешним хотя бы потому, что были важной и неотъемлемой частью человеческой культуры.

«Карельский перешеек, 25 января 49 года. Любимый сердцу моему сынок Алеха! Вот судьба — поэт у композиторов, а композитор — в Доме творчества писателей. Мой адрес: станция Комарово, Карельский перешеек, Дом творчества писателей, что на Кавалерийской улице, Соловьеву-Седому Василию Павловичу (папе). Привет Ивану. Два слова об Иване. Я работаю над Тарасом. И работа, думаю, вполне подвигается. Думаю в начале февраля быть в Москве на пару дней — показать музыку Голу Ивану (Голованов — главный дирижер Большого театра — Т.Д.). В таком случае мой адрес: Москва, Охотный ряд, гостиница «Москва», номер для меня. Ну, кажется, все. Целую, твой папа. Да, сегодня еду в Ленинград на своей машине «победа». Прошла

3038 км., расход горючего 15 литров, шофера зовут Володей. Плачу 1000 рублей в месяц, бензин — мой. Победа стоит 16 тысяч. Еду на концерт в Горный институт, получаю тысячу рублей. Успех огромный. Студенты будут аплодировать стоя. У них в зале ремонт и вынесли все стулья! Деньги вычтут в музфонде за долги, которые прислал московский музфонд в сумме 8950 рублей. За что? Я тебе в следующий раз пришлю подробный отчет. Все. Твой папа. Я значительно вырос, окреп, загорел, похудел. Кстати, сколько в Новом году ты выпил и что было? Пиши. Твой папа. Пусть Иван выпьет за мое здоровье молока и присылайте песни на консультацию. Я теперь, как мастер крупной формы, что-нибудь посоветую — кому загонять и почем. Твой любимый папа Вася».

А Фатьянова ждали замечательные события: Галина Николаевна вновь обрела ту очаровательную, осторожную грациозность, которая свойственна беременным.

Алексей Иванович сиял.

— Я — счастливый человек, Ваня… И я на этих критиков смотрю с высокой горки… — Говорил он Дзержинскому. — Я хотел в жены королеву — она у меня есть! А ты видел жен этих критиков, Ваня?

Иван Иванович отвечал, что, разумеется, видел.

— Я хотел красавицу-дочь и умницу-сына — так и будет! А ты видел этих критических детей, Ваня?

Иван Иванович отвечал, что глаза бы его их не видели.

— То-то! И кто же из нас счастливей?

— Я! — Утверждал Дзержинский.

Фатьяновым всегда хватало денег, но они быстро кончались при наследственной душевной широте Алексея Ивановича.

Программный цикл «Земля» был написан в ДТК «Иваново» в 1949 году. В следующем году композитор Иван Иванович Дзержинский получил за него Государственную премию. Поэт Алексей Иванович Фатьянов замечен не был. Каких-либо его негативных реакций по этому вопросу тоже замечено не было.

И вспоминается случай с награждением Валентина Катаева Сталинской премией.

…На его даче в Переделкино накрыты праздничные столы — в этот день и в определенный час Юрий Левитан должен был огласить на всю страну список лауреатов. Сам триумфатор заранее включил радио и вдруг Левитан часом раньше начал читать:

— От Советского Информбюро…

Благоговейная тишина в зале. Перечисляются фамилии награжденных одна за одной. И — о, ужас! — фамилии Катаева

среди оглашенных нет. Стало быть, сам Сталин в последний момент вычеркнул ее из списка. И тишина из благоговейной стала кладбищенской. Говорят, что это был дружеский розыгрыш соседа по дачам — диктора Левитана. До передачи в государственном радиоэфире был еще час, а информация «без Катаева» была прочитана Юрием Борисовичем по местному радио.

Однако, глотающий валерианку Катаев прожил после этого шока до глубокой старости.

А веселый Фатьянов умер в сорок «мальчишеских» лет.

Говоря устами грека Эпиктета, «эта сторона жизни слагается из обстоятельств независящих от нас». Единственное, что, по его словам, зависит от нас — «это состояние нашей собственной бессмертной души».

«Свадьба с приданым»

1. Духоподъемное кино

Сегодня его назвали бы мюзиклом — этот сказочный и трогательный по своей высокой незамысловатости фильм «Свадьба с приданым».

Театральные декорации в кино. Актеры выходят на середину сцены-экрана и с театральным же посылом произносят реплики: один говорит, остальные — замирают. Существует любовный четырехугольник: он любит ее, она — другого, все вместе — родной колхоз и битву за урожай. Хорошие, работящие, земные парни и девушки и любят, и веселятся, и страдают, и пляшут под гармонику.

Может быть, он канул бы в лету, как многие советские производственные фильмы, но вот до сего дня по два раза в год, а то и чаще, он появляется в программе телевидения, наполняя сельские дома и городские квартиры старинным молодым задором и светлой ностальгией одновременно.

Иные утверждают, что без песен Фатьянова фильма бы не было.

А вышел он на широкий экран в 1953 году. Но прежде — шел спектакль по одноименной пьесе Н. Дьяконова.

В 1949 году драматург Н. Дьяконов предложил пьесу Театру сатиры. Режиссер Борис Равенских увидел в ней музыкальный спектакль. Скоро начались репетиции.

На главную роль была утверждена молоденькая, двадцатитрехлетняя Вера Васильева. Фильм «Сказание о земле Сибирской», вышедший на большой экран в 1947 году, принес ей первый успех. Владимир Ушаков, тоже молодой актер, должен был сыграть ее жениха. Были заняты Владимир Дорофеев, Галина Кожакина, Людмила Кузмичева, Кира Канаева, Дмитрий Дубов, Георгий Иванов, Татьяна Пельтцер, Борис Рунге, Михаил Дорохин, Виталий Доронин. Прекрасные актеры. Многие из них тогда только начинали. Иные так и не прославились, оставшись героями только одного фильма, спектакля…

Так получилось, что песенные номера были уже введены, но самих песен еще не было. Виталий Доронин в образе Курочкина горделиво, картинно прохаживался по сцене с музыкальной «болванкой» «Давай закурим, товарищ, по одной…». После десяти, двадцати, тридцати репетиций на слова этой безобидной песни актеры двусмысленно шутили, ерничали. Нужна была

музыка, нужны были другие песни. Борис Равенских заказал музыку Николаю Будашкину. Широко известный композитор, виртуозный музыкант-баянист, он сочинял для хоров и народных инструментов. Режиссер видел в спектакле колхозные вечеринки, гармонику, пляску… Но та музыка, что написал Будашкин, для песен оказалась не подходящей. Тогда Борис Равенских обратился к Борису Мокроусову.

Так, в начале зимы, пришел по обыкновению Борис к Алексею. Поговорили, покурили. Так получилось, что одиночка Мокроусов «примкнул» к этой семейной паре, ежедневно бывал у них в доме. Вместе ходили они по Москве, навещали друзей, смотрели спектакли, ужинали в ресторане. Мокроусов был великолепно сложен, высок, красив, черняв, безупречно талантлив, но — холост. А у Фатьяновых уже около года стояла колыбелька, от которой струилось по всему дому незримое молочное сияние. Галина возилась с младенцем, она преобразилась, расцвела умилительной материнской непорочностью. Она уже была готова к новому материнству. Борису вздыхалось… Кому не хочется своего тихого счастья, особенно глядя на чужое?

Анна Николаевна, мама Галины, часто сотрапезничала молодым людям. Рассказывают, что она была необычайно хороша собой. На ту пору ей шло к сорока двум годам, выглядела она прекрасно, смотрелась ровесницей своих детей. Она была их другом. К красивой женщине и у юноши, и у мужа отношение особое. Ей даже и руку подать у трамвайной подножки почетно. Что говорить о сердце! А если она еще и теща талантливого друга, то здесь смешиваются и трепет, и восторг, и поклонение. Само собой, во время променадов по вечерней Москве Борис Андреевич почитал за счастье ухаживать за столь удивительной дамой. Фатьянов шутил:

— Борис, ты любишь полных женщин. Какая красивая у меня теща — женись на ней!

Мокроусов отшучивался:

— Я бы рад, Алексей. Но если я женюсь на Анне Николаевне, я автоматически стану твоим папой. А эта вакансия у тебя занята Василием Палычем!

Друзья хохотали, Анна Николаевна их по-матерински воспитывала, Галина с Аленкой радовались, что всем хорошо.

На этот раз Борис Андреевич попросил Алексея Ивановича с ним поработать. Оркестровая музыка, которую он написал к спектаклю, мало подходила для сцены деревенских танцев, но сразу «брала» слушателя. Фатьянов прочел пьесу, выслушал музыку… Скоро он предложил три подходящих текста. Так,

между шутками-прибаутками, были сложены замечательные песни к спектаклю «Свадьба с приданым»: «Зацветает степь лесами», «На крылечке твоем» и куплеты Коли Курочкина «Хвастать, милая, не стану…».

…В Театр сатиры они пришли с морозца и, набегу снимая пальто, направились прямиком на сцену.

Как некая рябь по воде, прошел среди артистов шепоток о том, что это — то, чего они давно ждут.

Борис Равенских сверился с часами и таинственно улыбнулся.

Два рослых красивых человека прошли к роялю.

Борис Мокроусов сделал проигрыш, во время которого Алексей Фатьянов уже смотрел на зрителей деревенским гоголем — лукаво, добродушно и надменно…

Хвастать, милая, не стану —
Знаю сам, что говорю.
С неба звездочку достану
И на память подарю.

Обо мне все люди скажут:
Сердцем чист и неспесив…
Или я в масштабах ваших
Недостаточно красив?

Актеры замерли — пьеса обретала лицо и оно было лицом Курочкина — Доронина, а никак не наоборот! Герои и персонажи оживали.

Куплеты Курочкина все слушали трижды, и повторяли бы еще, да нужно было исполнить две оставшиеся песни. По три раза слушали и «На крылечке твоем…», и «Зацветает степь лесами…».

Виталий Доронин — незабываемый, редкий актер русской чеховской школы — поздравлял и благодарил соавторов за удачу. Он поклонился Фатьянову с Мокроусовым:

— Вот это — прямое попадание! — Голос его, который запомнили навсегда миллионы людей, таял от сердечных чувств. — Какие же вы!.. Вы титаны! — И отдельно — поклон Фатьянову, с которым раньше не был близко знаком: — Мой поклон тебе — титану!

— Хвастать, милый мой, не стану, — нарочито скромно отвечал Фатьянов.

«Куплеты Курочкина» оказались настолько точным попаданием в самую суть создаваемого актером образа, что не сблизить их не могли.

С того дня подружились Фатьянов с Дорониным.

Прежде работавший в ленинградских театрах Виталий Дмитриевич был старше Алексея, но судьбы их были связаны минувшей войной. Так же, как и Фатьянов, он ездил на полуторке по фронтам с Передвижным фронтовым Московским драматическим театром. Так же, как и Фатьянов, он тяготел от Ленинграда к Москве, к ее изысканной простоте и радушию.

Часто поэт заходил на репетиции и оставался за кулисами до позднего утра. Он дышал театром, этим незабываемым воздухом своей юности. Частенько ноги сами вели их в Дом актера, Дом композитора или ЦДЛ. По дороге Фатьянов вдруг принимался читать стихи, может быть, написанные нынешней ночью. Он верил своим стихам, он отвечал за каждое слово, он видел и слышал то, о чем писал. И все же затаенно выжидал критики. Желая слышать только хорошее, он боялся придирок. Всегда порывистый, открытый, предельно прямой в критике чужих стихов, он, как прилежный школьник, вежливо внимал замечаниям в адрес своих…

Столичные театралы терпеливо ждали премьеры.

И она прошла весной, двенадцатого марта 1950 года. И еще долго билеты на этот популярный спектакль достать было невозможно.

Гардеробщики едва успевали принимать пальто, шляпы и зонтики. Только и говорилось, что новый спектакль — постановка необыкновенная. Не было в ней никакого студийного экспериментаторства — все традиционно в фабуле, костюмах и сценографии. Почему же столько шума было в театральных кругах? Потому что песни сотворили чудо. Молодые актеры играли блестяще, пели сами, песни были чудесны. Похожее сбылось потом в театре на Таганке благодаря песням и сценическим образам Высоцкого…

Через три года после театральной премьеры «Свадьбы с приданым» киностудия имени Горького сняла по спектаклю кинофильм. Красивые песни, простые, как разговор, сразу стали любимыми. Даже сатира здесь звучала без привычной издевки, с легким, добрым, понятным юмором. Простоватый гражданин Курочкину у Доронина был не чужд высоким чувствам. Жениховская самоуверенность Курочкина вызывала у зрителя добрую улыбку. Тогда, как Аркадий Райкин выставлял на смех рядового советского гражданина, обличая в нем простеца и едва ли не психически больного человека. Такого, над которым, вообще-то, грех смеяться — его необходимо лечить.

Здесь тоже царил смех, но врачующий душу — смех любовный. Фатьянов умел использовать разговорные интонации в стихах песен. Они окрашивали привычный мир русского

простолюдина в яркие тона, наполняли его жизнь каким-то высоким, поэтичным сознанием. Песни восстанавливали изъязвленный невзгодами народный организм — их можно было петь хором…

Виталий Доронин вскоре после этого спектакля получил Государственную премию СССР за театральную работу. Вера Васильева стала кинозвездой, ее красота входила в эталоны. «Улыбка, как у Веры Васильевой», «глаза, как у Веры Васильевой», «фигура, как у Васильевой» — звучало наивысшей похвалой женской внешности. Владимир Ушаков повторил судьбу своего киногероя, став женихом, а следом — и мужем этой красивейшей женщины страны. Он не сделался знаменитым актером, не получил премий и наград, но этот брак был для него выше всяческих поощрений.

И сады, и поля,
И цветы, и земля,
И глаза голубые,
Такие родные твои,

Не от солнечных дней,
Не от теплых лучей —
Расцветают от нашей
Горячей и светлой любви.

Может быть, в фильме «Свадьба с приданым» и была неправда о жизни колхозников. Но какая может быть правда в искусстве, если оно служит всего лишь воспитанию чувств. Оно — не Истина, а всего лишь вечный путь к ней…

И не сиюминутной правде жизни служило творчество Фатьянова, а вечной красоте чувств, которая одна и может «спасти мир».

Никита

1. «Умоляю, роди сына…»

Говорят, когда рождается сын, Бог дает матери третью руку.

Отец Фатьянов мечтал о наследнике, как любой мужчина, и жену в роддом на этот раз он отправил загодя, помня опыт билльярдной.

Он часто приходил справляться о ее самочувствии, ожидая «начала» под окнами палаты. Галина Николаевна, которая не чувствовала приближения родов, открывала окно и подолгу расспрашивала мужа о домашних делах, о друзьях, об Аленке, по которой скучала. Тревожные дни перед родами — самые тревожные в жизни женщины, казались долгими, как в приполярных широтах. Галина Николаевна уже не боялась дурного исхода, предвещаемого врачами. Первые роды ободрили ее, вселили уверенность. Окрепшая сила материнства была сильнее страха за собственную жизнь. Она не знала: кто в ее чреве беспокойно готовится к появлению на свет. И только молила Бога, чтобы это был мальчик.

Муж писал Галине Николаевне нежные послания в дорогом для нее «фатьяновском» тоне:

«…Умоляю, роди сына, назови Никитой, несмотря на высказывания В.П. С.-Седого назвать Глебом…».

Василий Павлович звонил по нескольку раз на дню и призывал наречь мальчика — если это будет мальчик — Глебом. Но Алексей Иванович уже придумал подходящее имя. Он всерьез опасался, что друг силой авторитета повлияет на жену, и победит. Не на шутку мучимый этой боязнью, он все настойчивее провозглашал в письмах свою волю:

«…Если родишь мне сына Никиту, обещаю пить водку 1 (один) раз в неделю, но так как я дружу с тещей, прошу не обращать внимания на то, что мы с ней (с тещей) будем выпивать по субботам.

P.S. Если родишь двойню, то очень прошу, чтоб из двойни был хоть бы один сын».

Галина Николаевна знала, что, выйди она из больницы — снова в доме будут люди, часто едва знакомые провинциальные поэты, нередко и совсем незнакомые ей гости… И опять она будет с приветливой улыбкой ставить на стол наскоро приготовленные закуски, и посылать домработницу в магазин…

Анна Николаевна готовилась к появлению младенца.

Она достала из шкапа перевязанное ленточкой младенческое белье, и вместе с внучкой перебирала отглаженные чепчики, пеленки, распашонки. По утрам она строчила на немецкой машинке такие крошечные одежки, что они впору были Аленкиным куклам.

Часто заходили Наталия Ивановна, Ия, которая превратилась в красивую юную женщину. Андрюша, сын Ии, ощущал себя большим — ему было пять лет. Смесь тревоги, страха и счастья витала в стенах огромной коммуналки. Говорили мало. Больше молчали.

И — свершилось.

В облаке цветов вошла Галина Николаевна в материнский дом. Следом Алексей Иванович аккуратно, торжественно внес конверт с младенцем. А Василий Павлович слал из Ленинграда срочную телеграмму: «Поздравляю рождением сына! Плачу тысячу, назовите Глебом».

Младенец осмысленно рассматривал папу.

— Посмотрите на него — какой же это Глеб! Он был и будет Никитой! — Ни сколько не сомневался счастливый Алексей Иванович и тут же бежал на почту, чтобы ответить другу в том же стиле — телеграммой: «Спасибо за поздравление. Тысячу беру. Называю Никитой».

2. Жизнь прекрасна

Ребенок — ангел в доме, он же и пророк.

С улыбкой вспоминают те, кто был за столом у Фатьяновых в один из вечеров 1954 года, как четырехлетний Никита пришел с улицы и заявил со слезами:

— Советский Союз сломался!

Все успокаивают мальчонку, да дитя не унимается — сломался и все! Увидел ведь ребенок в каких-то своих простеньких играх дремлющие до поры секреты истории.

Отец ему тогда и говорит:

— Ну Никитик, не плачь, мы купим кирпичей, новый построим!

Он очень любил Никиту. Не отказывал себе в радости иногда с ним посидеть-поговорить, пофантазировать. Подросшего, он учил его рыбалить, разводить костер без единой спички, искать грибы. А маленького — водил в парк Горького, который был совсем рядом. Там, от аттракциона к аттракциону, они неторопливо шли по ухоженным. Переходили в Нескучный сад, откуда по террасам спускались к Москва-реке и рассуждали о жизни рыбьих стай в ее глубинах, о жизни речных судов на ее

поверхности.

В доме не переводились живые цветы.

Где бы ни был, откуда бы ни шел и в каком настроении ни являлся бы, Алексей Иванович спешил порадовать жену свежим букетом. Он не умел сдерживать чувств и не хотел. Все, что он чувствовал, становилось всеобщим достоянием, и близкие к нему люди становились сочувствующими. Все дружественно настроенные писатели нежно относились к его жене, детям, трепетали перед его мнением. Он не умел льстить и не хотел этого делать. Он умел сказать: «Друг, я читал твой рассказ, я слушал твою песню, я рад за твою удачу». И он же мог осадить:

— Это ты уж, друг, к стихам близко не подходи. С такими стихами тебе в поэзии и делать нечего… Топи котят, пока они слепые — так говорит мой друг Сашка Твардовский про такие стихи, как у тебя!

У него была счастливая способность жить «миром» — быть не одиночкой, а своим в человеческой семье.

Поэтому его называли Алешей Фатьянычем, его любили, любовались русской народной его незамутненностью.

С появлением Никиты жизнь Фатьяновых стала приобретать основательность.

Вскоре они получили квартиру и переехали туда своей семьей. Может быть, этот год был самым счастливым в их жизни.

Квартира на Бородинской

1. Не буржуйская «буржуйка»

Летом 1950 года Фатьяновы переехали на Бородинскую улицу в собственную квартиру.

Она не была новой. К весне ее покинул писатель — чеховед Герман, чьи жилищные условия Литфонд «улучшил». В порядке «живой очереди» ордер на освободившееся жилье получил в той же благословенной организации и Фатьянов. Впервые он стал домовладельцем и хозяином, и завел в своем доме свои порядки.

Вереницей потянулись знакомые поздравить семью.

Дверь не запиралась. Все радовались за новоселов.

Перейдя площадь Киевского вокзала, гости направлялись туда, где метромост отрывался от земли и с легкостью пернатого устремлялся ввысь над Москва-рекой. У этой магической точки, точки соприкосновения подземного, водного и небесного, и стоял дом под номером пять.

Дом как дом — один подъезд, три этажа, обыкновенный московский двор со своей суетой, детьми в песке и стариками на скамейках… Окна выходили на Крымский мост и метромост, и оттого часто попадали в кадр уличного фотографа, мечтающего «поймать» бегущий новенький синий поезд.

Квартира была в последнем этаже старого дома, сырая, с протекающей крышей, без ванной комнаты, без горячей воды, с печным отоплением, она казалась неподходящей для жилья с детьми. Она состояла из двух комнат — восемнадцати и девяти квадратных метров — и большой, как боксерский ринг, кухни. В углу одной из комнат стояла буржуйка, все жилище было буквально обвито трубами импровизированного отопления. Видимо, чеховед бежал от сырости и неудобства в новую квартиру с горячей водой и хорошей чугунной ванной, в которую можно было бы погружаться в любое время… Небольшой умывальник в кухне с обжигающей холодной водой — вот все, что могла предложить хозяевам для омовения эта старая квартира. Сырость там была такая, что если вечером повесишь пиджак на спинку стула, то к утру он уже влажный. Вечером хозяева протопят печь — за ночь все выстынет. Этого не смог выдержать первый фатьяновский рояль, купленный у Никиты Богословского. «Шредер» не перенес такого микроклимата — у него лопнула дека…

Тем не менее, Фатьяновы были счастливы.

Они были счастливы, несмотря на то, что в кухне стояла швейная машинка и там же Фатьянов с Твардовским ежеутренне садились за стол, чтобы спорить ни весть о чем. Если встать лицом к этой кухне, то налево из коридора просматривалась небольшая комнатка со стенами, окрашенными синей масляной краской. Алексей Иванович там работал. Письменный стол, жесткое канцелярское кресло с зеленой обивкой, самодельные стеллажи, самые простые, составляли его кабинет. Рядом с письменным столом стояла детская кроватка. До трех лет Никита спал при папе, при маме, а потом его перевели в детскую. Тут же возвышался на четырех красных кирпичах пружинный матрас, покрытый ковром, на котором спали муж и жена. Это временное ложе благополучно прослужило лет пять, а потом его сменила новая тахта.

Далеко не мебель была главной достопримечательностью в доме Фатьяновых. Под детскую щедро отвели большую комнату, где сырость скапливалась, как в тропиках в сезон дождей. Там жили няня с Аленкой, и маленький Никита до своего «перевода» от родителей проводил все время, кроме ночи. В доме была стационарная печь. Одна ее часть грела детскую, вторая — кабинет. Топка открывалась с коридора, и оттого в прихожей всегда лежала горушка дров. Дрова носили на себе в самый высокий этаж дома, это было нелегко. И все же завели еще и буржуйку — жить стало суше. Печи не спасали, не сушили, грели плохо. Надо было что-то придумывать для улучшения условий быта.

2. Свой дом

И они постепенно улучшались.

Алексей Иванович плохо разбирался в хозяйственных делах. Но возвращаясь с очередной рыбалки, он всякий раз замечал в доме перемены. Вот в нем не стало оплетающих все и вся труб, вот в кухне появился громоздкий котел АУГВ, ванна. А в сырой детской на месте неуклюжей, слабой печки образовался камин с настоящей каминной решеткой, с полочкой над ним. Камин сделали прямо в печи, его часто топили. И уже законно встали на полочке каминные часы из Герингова особняка, приданое невесты. Эти бронзовые часы в виде идущего слона очень нравились Алексею Ивановичу приятностью звона и роскошным своим видом. Они ходили очень хорошо, били исправно, и хозяин замирал, вслушиваясь в прекрасные и таинственные звуки времени. Большой концертный рояль, камин, каминные часы — ему все это нравились! Вечерами в глазах детей отражался живой

огонь. Потому что у них был настоящий камин, у их часов — настоящий бой, стоял на трех лапах настоящий рояль и настоящие люди приходили в их дом. Твардовский, Соловьев-Седой, Никитин, Мокроусов, Бялик, и даже те, чье имя было незнаменитым, были самыми лучшими людьми, потому что они были гостями его, фатьяновского дома.

А ведь это значило для него много.

Он был еще мал, когда родители лишились своего нового особняка.

Мал, но не настолько, чтобы не понимать, что такое жизнь при чужом углу. В десять лет человек способен сравнивать свой дом и чужой, особняк на центральной городской площади и комнату в чердаке у Марковых.

Становясь хозяином, он становился самим собой.

Он мог покупать книги в писательской лавке на Кузнецком мосту, приносил их и ставил на полку своего стеллажа.

Он мог закрываться в своем кабинете и работать часами, не отвечая на стук. На письменном его столе стояла неприкосновенная карандашница со множеством остро заточенных карандашей. Ночи напролет проводил он за столом при свете зеленой лампы. Тогда у всех были точно такие же «сталинские» лампы…

Сочинив стихотворение, он обязательно будил жену и читал ей. И она, полусонная, слушала.

По утрам он по-хозяйски выходил в кухню в своей сине-красной пижаме и выпивал сразу кувшин ряженки, которую очень любил. В кухне стоял буфет — сервант с баром, который запирался на ключ. Галина Николаевна на ключ повесила маленький рыбацкий колокольчик. Если вдруг Алексей Иванович хотел тайком открыть бар — колокольчик звенел, и это слышали…

Галина Николаевна подыскала домработницу — работящую Татьяну из смоленской деревни. Последняя их домработница, как это уже говорилось, принесла в дом маленький уютный мир своих смоленских привычек. Хозяйка учила ее приготовлениям любимых блюд мужа, наставляла в правилах уборки и тонкостях стирки белых сорочек… Семья обзавелась и молочницей, которая ранние утра украшала кувшином молока с теплой пенкой по краю.

К естественному Фатьянову бежали от фальшивой повседневности.

Алексей Иванович неустанно принимал гостей.

Галина Николаевна как-то ухитрялась устраивать так, что в этой маленькой, неудобной квартире, могло собраться множество

людей. И почти каждый вечер на фатьяновской кухне собирался народ и накрывался стол. Тогда забывалось, что убогое помещение было и ванной комнатой, и столовой одновременно. Ванну накрывали доской, и знаменитые на всю страну люди садились на нее, рискуя провалиться при любом неосторожном жесте. Поэты, прозаики, композиторы, актеры, соседи, родственники, друзья — ежедневно в доме было какое-то движение, царила оживленная суета встреч и провожаний… Одни гости сменяли других, и вновь начинались разговоры, споры, звучали стихи… Тут же возникала критика, давались советы, и это не всегда кончалось мирно…

— Ты не понял! Надо еще раз послушать! — Такова была первая реакция самого Фатьянова на критику его стихов.

Он красиво пел свои песни. Пел их, садясь к роялю, и ни за что не позволял подпевать. Если кто-то не выдерживал и подключался — он останавливался и просил помолчать.

Александр Трифонович Твардовский дня не мог прожить, не переступив порога этой квартиры…

По утрам, когда дребезжал дверной звонок и тревожил спящих малышей, Галина опрометью, не попадая ногами в тапки, бежала к двери. Рассветное солнце заливало их верхние комнаты, просеиваясь сквозь кисею занавесок. Дремала домработница Таня в детской. Еще не успевала остыть лампа на столе поэта… А уже звонили, уже начиналась жизнь нового дня.

— Это или молочница, или Твардовский. В такую рань приходят только они, — Оправдывалась Галина перед обеспокоенными гостями, расположившимся на ночлег по периметру кухни. И открывала дверь.

Пристань Вязники. Происхождение души

1. Река времен

Теперь Клязьма несудоходна.

А еще во второй половине прошлого века, каких-то тридцать лет назад ходили по Клязьме «Робеспьер» и «Зорька», белые пароходы …

Еще не состарились вязниковцы, которые помнят их, одушевленных любовью горожан. Они величаво чалились у пристани Вязники, качаясь на береговом прибое, как в детской зыбке, как дома.

Однопалубный, белый, колесный, пассажирский пароходик им казался большим, серьезным пароходом. По нему сверяли часы, его не забывали в городских присловьях и частушках. «Робеспьер» отходил от Вязников ежедневно в пять часов вечера и давал три гудка — готов к отплытию. Гудок летел надо всем городком. Даже бедовые собаки города бежали к причалу, туда, где многолюдно и вкусно пахнет пищей. С неповторимыми обертонами в трубном гласе оповещал пароход о своем возвращении в десять часов следующего утра. Дождливой осенью, осенью мокрых снегопадов и жестоких первых заморозков, «Робеспьер» уходил на покой до восьмого февраля.

И тот февральский день также можно было распознать по сонной хрипотце в его первом гудке — начиналась навигация. Скоро весна. И тогда уже начинали готовить семена к севу.

Доставал семена и агроном Петринского совхоза Сергей Васильевич Меньшов. Уже стареющий, но бодрый и крепкий, он был докой в науке земледелия.

А за городом бредит рожью,
Налитым, золотым зерном
Непоседливый дядя Сережа —
Замечательный агроном.

— воспевал его в стихах племянник.

Осиротевший, он грелся у дяди Сережина с тетей Капой тепла.

Дядя Сережа и тетя Капа были полными свояками родителей Фатьянова. Сергей Васильевич приходился родным братом матери поэта, а Капитолина Николаевна — родной сестрой отцу. По крови они были фатьяновским детям, как родные. И они

относились к ним, как к своим родным детям. Они были истинными вязниковцами старой закваски — закваски православного духа. Да и Алексей во многом впитал традиции дореволюционной культуры. Обыкновенно, появляясь в Вязниках, он на радостях встречным не руки жал, а всех знакомых троекратно целовал. Так он будто сами Вязники расцеловывал, и, светясь лицом, возвещал:

— А я из Москвы удрал! Что за покой тут у нас в Вязниках!

Отсюда произошла и здесь успокаивалась его душа.

2. «По мосткам тесовым…»

Сыновья дяди Сережи с тетей Капой Александр и Николай были для Алексея Ивановича любимыми братьями. Николай до войны учился в Московском мединституте, вместе с Алексеем он жил на Ново-Басманной у Наталии Ивановны. Они делили тогда и кусок хлеба, и свои бурные юношеские переживания.

И теперь два брата-фронтовика казались друг другу теми же юношами. Алексея восхищала женитьба Николая. Николай и Надежда встретились на фронте, воевали, были радистами. А уж после победы он забрал ее, голубушку, из Австрии, и привез в Малое Петрино. Худая, изможденная войной, попавшая из глубоко провинциальной российской тьмутаракани в отлаженное веками семейное фатьяновско-меньшовское царство-государство, невестка первое время словно отогревалась. Словно сушила крылья под солнышком, расправляла их, приноравливаясь к новой для себя жизни. Говорят, что женщины, прошедшие войну ранены, в самое душу, что они тяжелее мужчин излечиваются от этого ранения. Долго еще сидят они в своем «окопчике», с опаской вглядываясь в окружающий мир.

Алексей исподтишка наблюдал за женой брата и втайне любовался ею. Он замечал, как постепенно и трудно отказывается она от вылинявшей гимнастерки, как меняет ее внешность легкое платье… Как плетет она косу, вокруг головы укладывая ее короной, будто государыня… Как учится ходить на высоких каблучках подаренных туфель, будто и не носила никогда солдатских сапог не по размеру. И отзвук тесовых мостков Малого Петрина звучал для него, как живой гимн возвращения женщины к своей изначальной сути. Их всех этих чувств и наблюдений однажды родилось стихотворение «По мосткам тесовым вдоль деревни». Оно посвящалось всем русским женщинам, разделившим военную участь мужчин. И оставшихся прекрасными, любимыми, хрупкими.

О тебе кругом гремела слава,
Ты прошла огонь, чтоб вольно жить,
И тебе положено по праву
В самых модных туфельках ходить.

Так просто и понятно, с любовью и почитанием признался он невестке в своем расположении. Борис Мокроусов постарался изобразить в музыке это постукивание каблучков по деревянному тротуару, и мелодия получилась бойкой, скачущей, веселой. А Надежда после — молчаливо хранила те коричневые с кожаными бантиками туфельки, пеленала их в марлю. Она прятала их в глубину шкафа. Те туфельки, про которые написана песня, и теперь живы, они передаются по наследству в семье Меньшовых. В доме, где родились и песня, и ее поэт, и муж героини, и ее дети…

3. Уединение без одиночества

Алексей Иванович возил сюда детей и жену. По весне переплетенные ветвями старые вишни в саду за окнами осеняли воздух благоуханием горькой сладости. К концу лета эти ветви тяжелели карими плодами, будто за ними скрывались кареглазые восточные красавицы. Дом окружал цветник, ухоженный и пестрый в теплое время года. Красоте привычной и неистребимой здесь всегда отдавалось предпочтение.

В Вязники ездили большой компанией. Ия с сыном Андреем и с 1952 года — с дочерью Верочкой, Наталия Ивановна, Тамара Ивановна с дочерью Нелли, Зинаида Ивановна — все сестры со своими семьями.

В большом доме из финского леса на улице Подгорной, стоящем на границе Малого Петрина и города, Алексей занимал угловую комнатушку, самую тихую. Громкий в общении, он любил тишину в уединении. Эту его тихую жизнь никто не знал и не видел, но она была — сокровенная, тайная жизнь души, только его личная жизнь одинокого большого ребенка. И он плодотворно работал под высокой сенью этого крова. Со стен на него смотрели портреты дедушки и бабушки, отца и матери, родни. Притихшие, напряженные перед фотообъективом, бородатые, бровастые, с цепкими фатьяновско-меньшовскими глазами, они во всем поддерживали Алексея. Для них он оставался мальчиком. Только они, казалось, знали его судьбу наперед и призывали не бояться ее.

Все ему было дорого в Вязниках. Да и город был тогда

другим.

В дореволюционной России о Вязниках говаривали, что в них живут люди как будто напуганные — кланяются каждому встречному… И в прежние времена были острословы, гораздые высмеять скромную жизнь провинциальных городков. С почтением кланялись верующие люди человеку незнакомому, хорошо одетому. Соседи, выходя из своих домов, приподнимали фуражки и кланялись друг другу:

— Доброе утро!

Поговорят несколько минут о погоде — и расходятся в разные стороны. Народная вежливость, которую питала православная вера, выдавалась пересмешниками за испуг. Разумеется, только эти «испуганные» и могли сломать хребет гитлеровцам…

Как-то на родной Подгорной улице собрал Алексей Иванович всех фронтовиков. Соседки прямо посреди дороги накрыли столы, а Фатьянов играл на гармошке. Плясали все, у кого ноги целы, во всю улицу — от края до края. Осип, мужик задиристый, с двумя зубами во рту, стал выступать, как на митинге. Говорил, что городское начальство плохо относится к фронтовикам.

— На два сантиметра в легких пуля, а с пенсии сняли! — Справедливо возмущался он при смолкнувших гармонях. Дико, стыдно, но до сих пор военные пенсионеры ежегодно должны проходить медицинское переосвидетельствование, чтобы их инвалидность была подтверждена специальной комиссией. Фатьянов предложил похлопотать, но Осип гордо отказался:

— Ничего, я и сам зубастый!

Вся улица смеялась — знай наших: два зуба во рту торчат, а пляшем!

4. «На крылечке твоем…»

…Она жила в соседнем доме, и юный Алеша наблюдал из своего окна, как девушка работает в огороде, метет двор, читает.

…А в доме напротив
Над книжкой склонилась
Русая девушка — песня моя…

Приезжая сюда, юный москвич стремился к этому крылечку, вошедшему потом во всенародные уста с известной песней «На крылечке твоем». Здесь была точка притяжения, которая манила из любого уголка земного шара. Здесь, за огородами и были те самые «и сады, и поля, и цветы, и земля», а соседские уста

шепотком передавали друг другу, что долго на этом крылечке давешним вечером виднелось два силуэта. Один высоченный, второй — девичий, тоненький…

Кто хотя бы в детстве бывал влюблен в деревне, знает, что это за смесь переживаний! Это — и обожание, и стеснительность, которая часто прячется под личиной грубости, и сокровенность, и молчание, и поэзия…

А как красивы люди рядом с зорькой, небом, лесом, садом или рекой… И думает о «ней» влюбленный на каждом шагу, и страшится, чтобы невзначай не догадались об этом… Пока никто не знает — это истинное счастье. Иначе же — раззвонят на всю деревню, будут смеяться, дразниться…

Стою как мальчишка под тополями,
Вишни осыпались, отцвели…
Багряное солнце вдали за полями
Вновь коснулось любимой земли…

Стихотворение о любви, которую пережил человек в пору юности.

Танечка, Таня, Татьяна Васильевна,
Я и не знаю, как вас назвать…

5. Над радостью во ржи

Во время оно места для строительства посадов выбирали на века.

Многие поколения людей, не в пример нынешним, жили оседло. Город Вязники, расположенный словно в недрах музыкальной шкатулки, завораживает состоянием, подобным дежа вю. Здесь пригорки сменяются лощинами, по кругу города стоят острые длинные холмы, древние насыпные валы, которые здесь называют венцами. Венчанный город, город-жених. Обнимает его упругим синим кольцом Клязьма — невеста с длиннющей фатой до самой Оки. Поймища, мокрые луга, заливные пажити, поемные покосы — все водополье ярко-изумрудное, изумительное для приезжего горожанина. Нигде больше нет такой природы. Бугор кончается — до горизонта равнина с синими пятнышками речных рукавов и островами… Убери эти неровности рельефа — и проявится захолустное уездное, мимо которого проедешь — и песни не споешь.

У дяди, Сергея Меньшова, были «агрономические дроги для

любой дороги». Его лошадка впрягалась в шарабан с сиденьем на двоих и, шевеля замшевыми ноздрями, устремлялась в луговое разнотравье. Она знала, что ее отпустят и она вволюшку похрустит сочной прибережной травой, напьется из чистой реки, видя недвижные глубинные камни.

Отдав распоряжения колхозникам, дядя Сережа вновь возвращал лошадку к делу. Он возил по этим лугам племянников и внучков — то Ию посадит, то Алешу, то Алену с Никитой, которые занимали пока вдвоем только одно сиденье. Гости объезжали с ним луга. На сенокос племянники тоже ходили, помогали колхозникам — это было в порядке вещей. Сгребали сено, метали стога, хохотали, уставали по-хорошему. Взбирался Алеша на стог, утаптывал сено жилистыми длинными ногами, как оно пахло чудесно!

— Ах, как пахнет! — Вскрикивали невольно сенокосы, дети и взрослые.

А дядя говорил:

— Дети, это кумаринус! Этот запах издает кумаринус!

Он был настоящим ученым, и мудрость профессионала черпал из огромного, до потолка шкафа сельскохозяйственной домашней библиотеки.

Толстые корешки старинных книг тоже пахли по-особенному — хорошей кожей, дореволюционным книжным клеем, гербарием, стариной. Еще ребенком Алексей любил рассматривать нарисованные в этих книгах травинки и рисунки из микроскопа. Вся эта красота зримого мира имела еще свою, тайную жизнь, мудро и прикровенно организованную Создателем.

Приехав в Вязники, взрослый мужчина Алексей Иванович Фатьянов прежде всего обязательно заходил в гущу ржаного поля.

— Хорошо во ржи! — Оповещал он окрестности своим мощным голосом.

Колосья обхватывал руками:

— Хорошо! Хлебушком пахнет!

Крестьянам все это, возможно, казалось чудачествами далекого от земли человека. Но только вдали и начинают по-настоящему скучать о главном, которое кажется привычным, пока оно рядом.

Бывало, что и Сергей Есенин кричал своим землякам:

«…Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий?». Мало кто знал, что в платяном шкафу Алеши Фатьяныча висела русская рубаха, шитая тесьмой. Необъятная, свободная рубаха огромного размера. Галина Николаевна, осваивая кройку и шитье на женских курсах в ЦДЛ, кроила ее на кухонном столе, наметывала, строчила. А потом, довольная работой, повесила обнову на самые

широкие плечики в шкаф, как свадебную сорочку жениха.

И только по большим праздникам она выкладывала ее перед его кроватью на гнутый венский стул.

Литературная жизнь Вязников конца сороковых годов

1. На улице рабочей

Как и в любом городе, лежащем по обе стороны реки, была в Вязниках улица Заречная. Были еще Подгорная и Рабочая улицы. На Рабочую поэт часто приходил к своему родственнику, руководителю местной литературной группы прозаику Ивану Симонову.

Теперь уже нет в Вязниках ни Подгорной, ни Рабочей улиц. Первая носит имя Фатьянова, вторая — Ивана Симонова.

Иван Симонов был чутким, лиричным литератором старшего поколения. Старше Фатьянова всего на девять лет, он юношам казался чуть ли не дедушкой. Хотя, надо признать, старила всех война, и прокурорски добавляла всем фронтовикам годков по десять.

Литераторы собирались в помещении редакции местной газеты. Двадцатилетние, они казались себе не начинающими, а преуспевающими поэтами. Но робели и тушевались, когда в 1947 году мэтр Иван Симонов и знаменитый на всю страну Алексей Фатьянов пожаловали на их занятие.

Зима была снежная и вьюжная.

Алексей Иванович ежился в бобриковом пальто и дышал на свои большие красные руки. Два десятка молодых важно восседали вокруг редакционного стола. Они с детским любопытством поглядывали на Фатьянова, который притулился у изразцовой печи. По выражению подвижного его лица видно было, что более всего в жизни он ценит тепло. Некоторое время гости молчали, потом предложили почитать стихи членов группы. Начали читать. Всем было интересно узнать, как Фатьянов воспримет их стихи. Выступил Владимир Михайлов, потом Юрий Мошков, у которого как раз появилось стихотворение «Кошка». Стихотворение это уже было опубликовано в печати, его все хвалили. Любая газетная публикация поднимала ее автора к звездному небу славы.

А Фатьянов вдруг заявляет:

— Ну вот Юра, что я тебе скажу… Почему ты взял такую тему? Изольда и Тристан — герои другой страны… Почему бы тебе не найти таких же на русской земле!..

Поднялся ропот, перерос в шумок. Всем здесь прежде казалось, что в экзотических именах и есть соль стихотворения. А

Фатьянов… Прав ли он?

Потом Юрий Мошков, прекрасный поэт, выпустил четыре поэтических книжки. Одна из них называлась «Цветы на подоконнике». Ее героинями стали девчонки из общежития — видимо, урок Фатьянова повлиял на героику поэта. Юрий закончил Литинститут, его курсовая работа была написана об Алексее Фатьянове. Еще поэт работал художником в общежитии. Отец его, парторг, был расстрелян. Много позже смерти Фатьянова, в восьмидесятые годы, о Юрии Мошкове в городе распустили слух, что он — сумасшедший. Вскоре его не стало. При загадочных обстоятельствах он покончил собой.

…Шумок, вызванный стихотворением Мошкова «Кошка», грозил перерасти в бурю, но поднялся следующий поэт — Борис Симонов. Борис приходился двоюродным братом Ивану, и дальним родственником — Фатьянову. В то время юноша увлекался погоней за образом. Молодые поэты, случалось, хвастались между собой:

— Вот я пишу стихи так, чтобы у меня в каждой строчке был образ!

— Переборщил ты с этими образами. Иногда образ на образ лезет, как льдина на льдину… — Резюмировал Фатьянов, чем вызвал новый взрыв эмоций.

— Хорошо ли писать образами?

— Сколько должно быть образов в стихотворении?

— Что есть образ? — Недоумевали вслух молодые литераторы.

После этого занятия все дружно пошли на Рабочую улицу, на квартиру к Ивану Симонову.

Это было убежище советского книгочея. Здесь вместо домового жил невидимый дух творчества. Он жил в книжном шкафу и на висячих книжных полках, в пианино с опущенной крышкой, в ручках-самописках с поломанными перьями, в школьном глобусе из папье-маше. В этом доме говорили в основном о литературе. Читали стихи собственные и любимых поэтов. Спорили до изнеможения о точности помнящихся слов из стихотворений великих поэтов. Возможно, сам Фатьянов и был заводилой этих споров, потому что многие вспоминают похожие эпизоды и из московской его жизни, и в домах других его друзей. Откуда-то появлялся сборник цитируемого поэта, оживленно проверяли, торжествовали, огорчались. Никогда не читали низких стихов. Поэзия этих компаний всегда была высокой.

Бесшумно, как невесомая, скользила по широким половицам старенькая бабушка в белом платке. Горлицей ворковала жена, подавая на стол угощенье.

Обычно у Симоновых один день не гостили — два, а то и три дня. Но два — обязательно, потому что на другой день у них всегда была втородневная ватрушка. Едва гости на порог, бабушка начинает печь ватрушки. Но трогать их, готовенькие, пока нельзя.

На второй день бабушка их сметаной заливает и ставит в печь. И к утреннему столу — вот они, готовенькие, румяные, с ароматом топленой сметаны. Бабушка улыбается — угодила. Она знала, что ее любимчики любят втородневную ватрушечку — самое лакомое блюдо. Пироги пеклись у всех: с вишнями, с яблоками, но куда им до ватрушечки!.. Бабушка была хозяйка. Опрятная, в белом платочке, маленькая, сухонькая, она ведрами пекла пироги, тазами производила студень, а когда, еще в дохрущевские времена держали поросенка, она готовила такие лакомства, что ни в одном ресторане не сыскать. А вынесены были рецепты этих блюд из простой крестьянской избы, из среды, где не было слова «кухня».

Бабушка любила Сергея Никитина и говорила, что он — красавец.

У Никитина костюмчики всегда только из Москвы. Он умел носить их. И бабушка благоговела перед никитинским комильфо. Фатьянов тоже придавал значение одежде, но непервостепенное. Одевался он без особого лоска, мог быть безалаберным в зависимости от настроения.

Но ватрушку нахваливали оба одинаково.

И тогда Алексей, чтобы угодить бабушке, садился за пианино. Играл он всегда, песни пел. Иногда он проигрывал арпеджио, начинал петь и говорил невзначай:

— Вот я вам сейчас сыграю песню. На нее Василий Павлович Соловьев-Седой музыку еще не написал.

И в словах этих не было ни иронии, ни издевки, ни обиды. Он чувствовал песню, композитору легко было работать с заданной интонацией. Сам же поэт был настолько одарен, что он дарил мелодии, словно доставал из кармана горсть семечек или папиросу из портсигара.

И в тот первый раз, увидев инструмент, Алексей начал музицировать. Его игра не была профессиональной, но песня угадывалась. Он спел новую, еще не записанную на радио песню «Не плачь, красавица, вода и так соленая»… Все были удивлены, что эту мелодию он сочинил сам.

— Иногда приходится и композиторам подсказывать, — Сказал он в ответ на паузу замешательства. — У нас в Малом Петрине все парни — гармонисты-слухачи! Разве что рождаются без гармони!

Все, разумеется, ждали минуты, когда Фатьянов начнет читать новые стихи. Они были о Петрине. Поэт поднялся и среди прочего прочел:

И кошки на окошке дуют в желтые усы…

Кто-то из молодежи фыркнул. Фатьянов обиделся, повел глазами, увлекся винегретом.

Там вывеска портного, словно радуга пестра, —

прозвучало в следующем стихотворении, и снова кто-то хохотнул недобрым смехом.

Он опять обиделся, глазами повел и отвернулся сторону.

Все замолчали. Веселого парня кто-то ткнул в бок с намеком на то, что нужно бы вести себя поскромнее.

— Ты бы его еще вилкой! — Пожалел парня недремлющий Фатьянов и так засмеялся своим заразительным слезным смехом, что начался повальный хохот.

Выскочила с кухонки привыкшая к шуму бабушка и тоже смеялась, не зная, в чем причина смеха.

А потом огородами все провожали Фатьянова до самого Петрина.

И одну за другой пели любимые фатьяновские песни.

Было уже темно, гасли окошки с одинаковыми белыми занавесками, с керосиновыми лампами за ними. Любопытные невидящие глаза всматривались в эту темноту из-за стекла, пытаясь распознать компанию, влачащуюся по огородам с нескончаемой песней…

Так Алексей Иванович впервые побывал в доме Ивана Симонова. А потом уже не мог побывать в Вязниках и не погостевать там.

Вот типичная картинка тех лет.

Рабочая улица. Ребятишки возятся в пыли, взбивают ее городошными битами, бабками. У одного парнишки отец — столяр, он сделал отличные городки. Вся улица играет. Но вдруг замирает ребятня, заслышав отдаленный сигнал автомобильного клаксона. Это еще не «Робеспьер», еще не время. Будто едет где-то «легковушка» — большая радость и редкость в этих краях!

И вот — подъезжает «Победа».

Из нее неторопливо выходят Фатьянов, Уварин, Никитин. Они некоторое время смотрят на ребят, как взрослые дяди. И вдруг:

— Ну-ка, ребята, что это у вас?

Дети услужливо показывают городошные фигуры.

— Давайте их сюда! Примете нас? — Становятся они во взбитую уличную пыль, жертвуя и длинными модными пальто, и начищенными ботинками. И тут же начинают играть с ребятней в городки.

Играют мальчишки в кулика — зовут дяденек из-за стола, коли те уже сели. И они поднимаются, идут, прерывают серьезные разговоры о литературе…

2. Гости-господа

Вот идет мальчик Юра по Рабочей улице. Это — будущий журналист и мэр Вязников, который в конце века начнет реставрацию фатьяновского особняка… Штаны его порваны в уличной драке. Он старается их придерживать и не попадаться на глаза отцу — Ивану Симонову. А тут, как на грех, приехали гости из Владимира, а с ними и сам Фатьянов на той же зеленовато-мышиной «победе». Приезжие заметили беду парнишки, переглядываются, смеются, подтрунивают… Юра не знает, куда и деваться со стыда — большой уже, жених. А у Фатьянова нога забинтована — прихрамывает. Подпорой служит Сергей Никитин. Насмеялись, пошли в дом. Долго ли, коротко гостили — выходят за ворота. Но теперь не только у Фатьянова на ноге повязка, а и у Никитина, да только уже на голове. Свалился в подпол, ушибся, костюмчик московский помял. Теперь уже и Юра, и соседи смеются — приехали гостеньки, у одного была только нога больная, а теперь и у другого голова не в порядке! Ну и го-ости-господа!

В 1948 году на Рабочей улице бывали Твардовский, Казакевич.

Эммануил Генрихович проводил лето в соседней деревеньке, и для него выезд в Вязники был все равно что выезд заграницу. А Александр Трифонович с 1947 по 1950 год был депутатом Верховного совета СССР по Вязниковскому избирательному округу. По сей день вязниковцы считают, что им очень повезло. Например, Иван Симонов вышел в литературу благодаря «Новому миру», где были опубликованы его рассказы.

Бывали здесь поэт Виктор Боков, редакторы из Владимира Антонина Атабекова и Леонид Мацкевич, литинститутовец Иван Ганабин — вечно молодой поэт из города Южи. Южа за рекой, близенько, не заблудишься. Так что Иван Ганабин был частым гостем Вязников, он был здесь своим. Они с Фатьяновым бродили по венцу, любовались луговыми окраинами городка. Часто поэты

вдвоем выступали перед вязниковцами в городском саду, театре «Авангард».

Редко мы с тобой бываем в Вязниках…

Написал как-то Алексей Иванович стихотворение, сожалея об уходящем времени. И посвятил его Ивану Ганабину.

Рыбные ловли в окрестностях Вязников

1. А над синею волной ходит ветер низовой…

По утрам Алексей Иванович работал в уютной своей комнатушке. Как Пушкин, он улавливал первые рассветные озарения. Но, бывало, тянуло не к писчему перу, а к рыбьему — охоте на красноперых окуней и подъязков, к серебряному блеску грациозных плотвичек, к ликованию востекающего над речными песками солнца.

Он вставал рано, как всякий прирожденный рыбак.

Вязниковская родня спала за могучими стенами перегородок. Спали младенцы и старики, его Галочка и его дети. На своем месте неприкосновенно лежали его еще детские спиннинги, очень легкие, с ручками из пробкового дерева. Мальчиком он вставлял в алюминиевую трубочку ветку лозы, до зеленоватого сока очищенную перочинным ножом. А нынче Никита с бамбуковыми удилищами нередко сопровождал его на заре. Полусонный, зябнущий, но готовый на любые лишения ради рыбалки.

Отец и сын спускались по тропинке к берегу, добывали там дождевых червей-салазанов. После шли вдоль речки по Петринским ярам до водокачки… А там зеленели молодые дубы, ракиты в воде мыли свои позеленевшие корни, а между ними — стада мальков и невидимые огненные подъязки. Это места молниеносного рыбьего жора, клева тяжелых жерехов и плотоядных щурят. Грузило, брошенное с этого берега, падало на самую стремнину. И в плакучем ивняке не так пекло солнце. Изредка проедет невдалеке перевозчик, но клева не нарушает.

Однажды мужчины рискнули взять с собой и Алену. Девочка, извещенная об этом их решении накануне, засыпала с грезами о завтрашнем утре.

Ее подняли в пять часов. Надо было встать, умыться холодной водой, тихим шагом выйти из дома, взять удочки и узкой тропинкой идти гуськом по высокому берегу Клязьмы до тех пор, пока отец не скажет «стоп». Шли детской командой — Алексей Иванович, племянники Саша, Алексей и Андрюша, Никита и Алена. После Алене рассказывали, что клев был особенный. Пока все сидели с удочками, девочка мирно спала на скамейке. На обратном пути ей доверили нести ведерко с плотвой. А дома охотников встретили, как всегда, с пещерным восторгом.

Любителями рыбной ловли были все вязниковские литераторы.

С ними сговаривался Алексей Иванович с вечера, и они заходили за ним, стучали в окошко. А дальше вместе шли на Петринские яры. Там, сидя под старой ракитой и боясь пошевелиться, Алексей Иванович сочинил однажды песню. А было это так.

Иван Симонов расположился со своей удочкой неподалеку и почти задремал, как услышал девичьи голоса. «Перевозчик, давай лодку!» — кричали девушки с берега. Фатьянов рыбачил в ивовых зарослях совсем близко. Он хорошо мог видеть их и слышать, как шуршит песок под босыми загорелыми ногами; как поторапливают они сонного перевозчика, машут на него косынками. Вдруг ветер подхватил девичью косынку, понес и — бросил на высокий ивовый куст. Девушка прыгала-прыгала, да и схватила ее за уголок. И, подбежав к паромчику, вскочила на него с берега…

Я сижу на берегу —
Волны синие бегут.

А над синею волной
Ходит ветер низовой,

Ходит ветер низовой,
Озорной, как милый мой:

То мне волосы погладит,
То сорвет платок с каймой.

Едва отошел паром, выпалил поэт восхищенному картиной Борису Симонову. Как эта легкая косыночка, полетела песня из Малого Петрина по всей России.

2. Дядя Леня

В доме, полном гостей — Галина Николаевна и подругу иногда с ее семейством привозила — чистили рыбу, перебирали вишни, балагурили, громко переговаривались.

Тогда «убежищем» для Фатьянова становился домик с казенным названием «бакен № 106». Стоял он на берегу Клязьмы, в полдороге от Мстеры.

Эту крошечную избушку неподалеку от деревни Налескино в простоте именовали будкой, а обитал в ней бакенщик Алексей Ефимович Бударин с дочерью по имени Зинаида. Жили отец да

дочь и хозяйствовали в ближайшей деревне Калиты. Но из-за особенностей работы, которая напоминала лошадиное ночное, они коротали здесь время ночи и время дня. Днем — отдыхали…

В человеке любом живет все же отшельник, монах.

Дядя Леня это хорошо понимал — сам таков. Он умел красиво сказать, умел и помолчать. В судке у него всегда копошились стерлядки, а дочь варила гостям уху, пекла блины, хозяйничала. Она была хороша собой, зеленоглазая, с двумя волнистыми косами за плечами. Девушка была лирическим образом этого дикого места, вязниковско-мстерская Олеся. Эти простые красивые люди становились родными для тех, кто с ними знакомился и общался. С какой горечью утраты и сыновней приязнью написан рассказ Сергея Никитина «Снежные поля» — рассказ о похоронах старого бакенщика. Нетрудно догадаться, кто стал его прототипом.

Сейчас в мифологизированных — и не всегда добросовестно — воспоминаниях об Алексее Ивановиче можно прочесть, что у дяди Лени постоянно собирались нешуточные компании и весело коротали недели под гостеприимным кровом… Да, изредка бывало и такое. Но уж никак не неделями. Сами условия крошечного домика не позволили бы разместить в нем много гостей. Фатьянов же сюда приезжал, чтобы никто ему не мешал. Ни одна душа.

Он приезжал сюда работать, а не веселиться.

Вопреки его наивному расчету, все знали, где его искать. Молодой Борис Симонов как-то раз специально в редакции взял командировку во Мстеру, зная, что на бакене сейчас живет Фатьянов. Он туда зашел, принят был приветливо, но сдержанно. И не обиделся — знал, что поэт уехал поработать. Сюда же устремлялся после отъезда поэта Сергей Никитин. Его прекрасная проза словно бы искала и находила здесь единственно нужную интонацию. Так они и жили подолгу на «бакене № 106».

Алексей Иванович работал за плотно закрытой дверью будки.

Иногда к вечеру выходил размяться, посмотреть на Клязьму. Он видел, как в сумерках бакенщик на лодке отплывал от берега — с факелом, как властелин света и тьмы или как охотник на сома. В половодье и межень, в грозу и ведро он зажигал бакены, которые освещались простенькими керосиновыми лампами. Так было до тех пор, пока не иссякли родники, питающие Клязьму. Суда, крупные и малые, лодки рыбарей, любителей ночного лова, береговые путники и небесные самолеты — все определялись на местности по этим бакенам.

С берега было видно, как под звон кузнечиков и щелканье соловьев, лягушачье многогласье и плеск волн, бесшумно

зажигаются фонари на водной глади, на мгновенье высвечивая силуэт человека в лодке. С рассветом, в туманной кисее нового дня, в надводную стынь розовеющего воздуха опять отправлялся дядя Леня в своей лодке — гасить огни.

А Фатьянов уже сидел с удочкой, кутаясь в телогрейку, пропахшую дымом костров. Он отдыхал, мечтая, как всякий рыбак, поймать свою царь-рыбу.

3. Паломник Серапионовой пустыни

«Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим…». Эти слова псалмопевца вспоминаются, когда упиваешься изысканно-простенькой и основательно-истинной звукописью названий русских деревень, рек, хуторов. Слушайте: деревни Калиты, Круглицы, Порзамка, Кобяково, Ставровец, озеро Ревяка и Калач, рукава Меляк и Троицкое, Терхло и Круглицкий исток, Серапионова пустынь, Архидиаконский погост, Сингерь, дорога Аракчеевка… Названия также хороши, как и сами местности. А по пути от Вязников до Мстеры притаилась деревенька Фатьяново. И.М. Долгорукий, «стихоплет великородный» XVII века, глянув на Архидиаконский погост, возопил, что здесь он «забывал, откуда и куда и где я». Отец Анны Вырубовой, композитор и государев приближенный Танеев здесь работал над «Ористеей», и в письмах Чайковскому рассказывал о здешнем рае. Путешественник Карл Бэр, экономист Безобразов находили здесь приют, здесь их питали радостные минуты созерцания прекрасного.

От этого желания созерцать, быть причастным, быть покоренным и принятым чудом родной природы, Алексей Фатьянов однажды едва не погиб.

…Той холодной весенней порой, когда начинает цвести черемуха и речная вода разливается сколько душеньке угодно, остался он в будке один. Дядя Леня и Зина ушли в деревню. А поэт решил прокатиться на ботике на другой берег за черемухой. Ботик этот — клязьменский ботничок — надо сказать, очень сложен в управлении. Пловец должен после каждого гребка немного повернуть весло. Фатьянов этого не знал и не умел. Когда снесло его ботик по течению, развернуло и стало крутить, он встал, попытался налечь на весла, и упал в холодную талую воду. Случайный ездок услышал плеск воды, выкрики, подбежал. У будки оказалась свободная плоскодонка, и спаситель — некто Ерофеев — направился на ней, не долго думая, к тонущему. Он вытащил его, как и положено, за волосы, и когда признал в нем знаменитого поэта, крайне обрадовался. По такой студеной поре

купание могло бы кончится плохо. Однако, икая от холода, под горой наброшенных на него одеял и телогреек, Фатьянов уже делился со своим спасителем своими соображениями:

— Хорошо, что у меня на голове не было парика! — И спрашивал: — А как бы ты меня тянул, если бы я был лысым?

Тот степенно отвечал:

— Я лысых не спасаю: пожили — и будя!

Алексей Иванович все же защитил лысых. Он сказал:

— И среди лысых были люди! Да вот перевелись из-за таких, как мы с тобой! А за тебя — молиться буду, как умею…

Согревшись водкой, Фатьянов уснул.

И в тот раз ему приснилось, что от избушки дяди Лени он дошел до самой Серапионовой Пустыни.

Пустынь жила, на первый взгляд, рядом.

Она виднелась за дубравой — белая, позолоченная солнцем, притягательная, как небо, церковь. Чтобы попасть в пустыньку, нужно было петлять по лугам, обходя несколько речушек и ручьев. Там, далеко, на бугорке, среди лиственного леса стояла аккуратная церковка, защищенная этими благозвучными и ненаглядными ручьями и буераками от прогресса и революций. В ней все еще оставались иконы, украшенные старинными ризами, дореволюционные облачения, древние богослужебные книги. В этом пустынном лесном месте сторожил храм дед Васята — Василий Васильевич Фадеев. Старик и был последним пустынником и хранителем Пустыньки. Его кормили верующие из окрестных деревень, и он за это открывал для них храм, и сам молился за своих благодетелей.

Известно, что несколько раз Алексей Иванович один ходил к Серапионовой Пустыни. Обыкновенно ему не везло, он не заставал Васяту и не мог попасть внутрь храма. А очень хотел этого.

Встретились ли они со стариком Фадеевым и открыл ли он поэту те кованые церковные двери — неизвестно.

4. За стерляжьей ухой

Когда в ушах начинает гудеть, когда уже сочиненные стихи не дают уснуть и водят перед тобою хороводы, ясно, что нужна какая-то разрядка. Иногда она наступала сама собой, когда к дяде Лене жаловал еще один истосковавшийся по гениальной простоте жизни незаурядный литератор. И тогда они становились словно кремень и кресало — вспыхивало пламя костерка, клубилась и парила на нем стерляжья уха в котелке, закидывались сети. Рыбацким байкам не было сносу.

Когда поэт «зарабатывался», то, чувствуя его настроение, на бакен спешила и Галина Николаевна. Она везла мужу гостинцы.

За Галиной Николаевной тянулись Владимир и Татьяна Репкины. Случалось, заезжал сюда Александр Трифонович, который часто бывал в окрестностях Вязников по депутатским делам. Эммануил Генрихович Казакевич знал Бударина и ценил его восприимчивую и мужественную душу. Он приходил сюда пешком или приезжал на собственной «победе» с шофером, на которой, кстати, и подбрасывал Алексея Ивановича до Вязников. Владимир Солоухин здесь слушал родную речь и сам рассказывал охотничьи байки. Оба брата Симоновы, Борис и Иван, здесь были своими. Они «окали» также по-голубиному, как и хозяин.

А он любил послушать, побалагурить, посидеть и поговорить с гостями. Любил и уму-разуму их поучить, несмотря на высокое их положение. Сергей Никитин вспоминал, как «поддевал» дядя Леня высокое начальство — и такое бывало на бакене, многих тянуло сюда подышать-подумать.

Разомлеет, бывало, гость-чиновник, вздохнет:

— Эх, пивка бы… Что-то пива хорошего и в городе не сыщешь.

А дядя Леня отвечает, почему, без тени улыбки:

— Солод перестали сеять…

— Да-да, точно. Совсем не сеют нынче солод, — Соглашается начальник.

— Сусло без солода не бродит, — Мудрил дядя Леня.

— Да где уж! — Вздыхает тот, довольный общим с народом языком.

Ничто не мешало наслаждаться этим особенным, замкнутым и бесконечно вечным миром.

Бывало, в ночной тиши на огонек подходили местные охотники, рыболовы, и не было ничего желаннее этих фантастических рассказов о схватках с медведем или поимкой сома с одноэтажный дом. Взахлеб, как мальчишки, слушали эти истории и Твардовский, и Казакевич, и Томсен, и Никитин, и Фатьянов. Пошевеливали они прутиками костер, пробовали уху, подбавляли сольцы: уха — мужское дело, рыбацкое… А жены жались к ним и цепенели, заслышав в тихих кустах уханье филина или крик тоскующей кликуши-выпи.

Чуткая собака лениво подбирала с травы сочные рыбьи кости.

Ненасытная кошка переваливалась на четырех лапах, будто маленький увесистый бочонок.

Горел костер, горели звезды, горели бакены, на которые время от времени поглядывал их властелин дядя Леня. И все невольно вместе с ним, как по команде, поворачивали головы

туда, где бледно-красная зыбь отражения огня коробилась от невидимых глазу подспудных водных движений.

…Тех бакенов нынче нет, река обмелела, бакенщик умер.

Жила-была избушка, а потом молодые рыбаки весело сожгли бударинскую будку. Как последний бакен на Клязьме, вспыхнула она пронзительной синей ночью над похолодевшей от горя водой, высветила на миг все прошлое свое ликование, отдала свое последнее тепло — и превратилась в черные бессмысленные головешки.

Московский купец и его друзья

1. Любовь и ненависть

Фатьянов не любил городское начальство. Да и оно его не жаловало. Власти не были довольны частыми появлениями здесь поэта, у которого не было от жителей никаких секретов. Он бурно выражал восторг, не менее бурно — и презрение. Поэтому здесь зорко следили за его поступками и проступками. И при случае отправляли почтовые конверты куда следует. И часто после прибытия этих тонких конвертов «куда следует» Алексей Иванович из членов Союза писателей следовал обратно в кандидаты.

— Вот приехал московский купец! Разгулялся! — Говаривали в Вязниках о Фатьянове. Кто-то любовался его удалью, узнавая в ней родную русскую душу, кто-то шипел от зависти и злости, потому что эту самую русскую душу старался в себе гасить и глушить.

Но любили Фатьянова друзья. Его приезд всегда был для них праздником. «Фатьянов приехал!» — эта весть пролетала по Вязникам со сверхзвуковой скоростью.

Алексей Иванович душой тянулся к фронтовикам. Приехал как-то к нему в Вязники Владимир Репкин. Пошли братья на радостях в ресторан, пригласили фронтовиков за свой стол, выпили за победу, помянули погибших. Расчувствовался Алексей Иванович. Смахнул слезу, подозвал официанта. Услужливо подошел к нему восторженный официант.

— У меня там еще ребята в зале есть! — Говорит ему поэт. — Всех фронтовиков угощаю!

Обошел парень все столики с графинчиком, Алексей Иванович сказал хороший тост.

Снова подзывает:

— Всем, кто здесь сидит — сто грамм, бутерброд с икрой и кружку пива! И закрыть ресторан!

Ресторан закрыли, присоединились и официанты. Гуляли до утра. Все песни фронтовые перепели.

Долго ходила молва о том, что «Фатьянов напоил все Вязники!».

И снова пошло письмо ровнехонько в столицу. Поэт Фатьянов в очередной раз стал кандидатом в Союз писателей.

И вязниковские друзья иногда устраивали ему ответный праздник — катание на «Робеспьере». Заходили компанией на

палубу теплым вечером и отчаливали в семнадцать ноль ноль. Ночные звезды над рекой освещали их путь по темной, как ночь, воде Клязьмы. Издалека светили им бакены дяди Лени Бударина, словно слали свой сердечный привет. В каютах спали пассажиры. А некоторые — выходили на палубу и разделяли дружеское веселье. Всю ночь продолжался праздник, ловкачи даже купались. Пароход идет — они обвязываются веревкой, тянутся за ним, потом подтаскивают их к борту, полотенце вафельное, казенное подают. А в десять часов утра возвращаются «мореплаватели» на материк с неповторимым, теперь каждому русскому родным названием Вязники.

…Обмелел национальный характер, как родные реки.

— Чистейший русский мужик, — Говорили о Фатьянове друзья-вязниковцы, простые жители глубинки. Они гордились им, ценили его дружбу, понимали цену его жестов — он не был богатым человеком.

Алексей Иванович дружил с лучшим футболистом города, голубятником Вадимом Семеновичем Солдатовым. Они были друзьями с детства. В том детстве Алеша страстно любил голубей, ликовал, когда появлялись птенцы, горевал, когда терялись, улетали его любимцы. Его гордостью были турманы, дутыши, «бабочки», которые кувыркались в высоте. Увлеченно считали мальчишки с земли, сколько раз кувыркнется бабочка в небе. Соревновались, чей голубь лучше. Обеспеченные горожане держали в клетках канареек, попугаев. А вольными голубями увлекались бедные — кто же в городе беднее мальчишек! В душе Алексея место очарования красивыми птицами заняла поэзия и мягко вытеснила детское. Вадим же так и остался голубятником. В конце сороковых появилась в народе трогательная песня, которую знали все голубятники. В ней рассказывалось про паренька, который держал голубей, потом ушел на войну, вернулся, а голубей нет. Припев ее звучал так:

Голуби вы мои милые,
Улетели в облачную высь,
Голуби вы сизокрылые,
В небо голубое унеслись.

Можно лишь домыслить, что и в прямом, и в аллегорическом смысле голуби Фатьянова остались там, за войной. Но он до последних дней любил важных воркующих птиц, интересовался делами голубятников.

Другим таким его другом-голубятником был Александр Баев.

Однажды собрались в доме Фатьянова голубятники Солдатов

и Баев, братья Симоновы, кто-то из москвичей. Алексей Иванович читал полюбившиеся вязниковцам стихи:

Стою, как мальчишка, под тополями,
Вишни осыпались, отцвели.

Александр Баев перебил, спрашивает с издевкой — «поймал, мол»:

— А где тут в Петрине тополя?

Фатьянов распахнул неимоверно большое окно, которое открывали разве что к Пасхе, помыть перед праздником, и широко воскликнул:

— А вот, по речке — что? Погляди, Санька!

Все ахнули, свежий садовый ветер всколыхнул скатерть, а в отдалении волновались над водой сизые ветви вековых тополей…

2. «Главным был у них Фатьянов…»

Алексей Иванович ладил с фронтовиками, одноклассниками, футболистами, голубятниками и музыкантами из оркестра городского сада.

В парке Парижской коммуны был яблоневый сад, два больших пруда, где катались на лодках. Стояла большая эстрада, на которой правил капельмейстер Русинов-Павлов. Мановениям его утонченной музыкальной руки послушно подчинялись трубы, альтушки, бас-геликон, тубы, баритоны, теноры… Этот человек почитался аристократом.

Когда вечерело, когда начинались танцы, этот небожитель скромно стоял на эстраде, не стараясь быть замеченным. Облеченный в строгий костюм, он обладал бесстрастным лицом дипломата и той особенной военной осанкой — осанкой генерала. Русинов-Павлов сам сочинял музыку и дорожил дружбой с Фатьяновым. Скромный человек, влюбленный в поэзию точно так же, как в музыку, был благодарным слушателем стихотворений своего московского друга. Говаривали, что, загораясь, он на многие Фатьяновские песни первый придумывал музыку, быстро и «устно», как бы походя. Потом пробовали музыку на эстраде городского сада. А сам Алексей Иванович пел эти мелодии композиторам и рассказывал о своем талантливом земляке. Но так ли это было — трудно теперь утверждать. Возможно, авторство Русинова-Павлова — это одна из многочисленных легенд, окутывающих биографию Фатьянова.

В том же духовом оркестре играл очень внушительного вида

трубач Афанасий Пчеляков. Он был высокий, чуть пониже Фатьянова. Одаренный человек, он не только играл в оркестре все песни друга, но и сочинял бесконечную балладу о нем и о дружеских похождениях. Громогласный, веселый, Пчеляков был заводилой. Баллада его сочинялась в народном, шутливом стиле:

Как у Клязьмы у реки
Заседали рыбаки.

Средь дождей, среди туманов
Главным был у них Фатьянов!

Были там куплеты про то, как однажды Алексей из Москвы привез колбасу и взял на реку, а пока они рыбачили, пес Букет с ней расправился по-собачьи просто. Пришли друзья на обед, а колбасы-то нет!

К музыканту и поэту примыкал еще безногий фронтовик Саша Краснов, тоже росту не малого. Он ходил на костыле и деревянном протезе. Тогда их делали скверно. Бывало, деревянная нога под ним переломится, и друзья его тащат с рыбалки домой — один за голову, второй за ноги. Несут по Петринским ярам, по Малому Петрину, по улицам Вязников. За ними мальчишки бегут, улюлюкают, соседи из окошек выгладывают, советы дают, кто-то из мужиков пособить предлагает. Но помощь им не нужна — оба здоровы — и Фатьянов, и Пчеляков.

— Братушки, отдохните, — Виновато и жалостно упрашивает их Краснов. А они — отшучиваются, пыхтят, да отшучиваются. А то еще возьмут и пробегутся в ответ на его возгласы.

Ну разве понравятся такие картины стражам порядка в городе, где каждый шаг — как на ладони, и каждое слово — что колокол? Какой пример подает Алексей Фатьянов простым гражданам города?

…А по дороге в парк жил человек, имени которого, к сожалению, установить не удалось. Он был интересен тем, что у него появилась первая в городе машина «москвич». Он старательно и гордо водил свою машину по нешироким улочкам. К нему приходили компании во главе с Фатьяновым, кланялись, как доброму барину, и он куда-то их всегда подвозил.

Из таких разных людей-земляков и складывался «свой круг».

Но все вязниковцы утверждают, что песни их поэта совпадают в одном — они проникнуты целебным дыханием Вязников.

Они, как сны о детстве.

Одна молодая судьба. Борис Симонов

1. Бывший военный топограф

Есть несколько имен в литературе, которые, может, и не прозвучали бы, коли не участие в молодых судьбах Фатьянова. Иван Ганабин и Александр Меркулов, Николай Тарасенко и Владимир Томсен, Людмила Чичерина и Борис Симонов — все они шли в литературу с легкого благословения поющего поэта.

Борис Симонов в 1951 году вернулся из армии, а по сути — с войны. Он служил в Корее военным топографом: на одном плече таскал автомат, на другом — теодолит. Первая его публикация состоялась на чужбине, в русской военной газете «За победу!».

В деревне Ставрово в доме писателя Николая Ушакова они встретились с Алексеем Фатьяновым. Алексею Ивановичу было тогда тридцать два года. А Борису Тимофеевичу — двадцать шесть лет. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, она казалась разительной.

После удачной рыбалки Алексей и Николай заваривали вечную спутницу хорошего клева — уху. Ели уху, из большой миски брали душистые ломти свежего ржаного хлеба, говорили, чувствуя расположение друг к другу. Взрослый после армии Борис впервые оказался в столь тесной компании с поэтом. Борис читал стихи, волновался. Он выбрал стихотворение о любви, испытанное, опубликованное, называлось оно «Кореянка». Лирический герой, влюбленный в корейскую девушку, сам себя называл в нем «россиянином». Стихи понравились.

— Надо же! «Россиянин» — какой псевдоним себе придумал! — Был приятно удивлен Фатьянов. — Сразу можно отличить от Симонова!

В том 1951 году это слово звучало свежо и необычно.

За ухой парня шутливо посвятили в поэты. И устроили ему творческий вечер. Стыдясь и путаясь, с затаенным ликованием читал Борис стихотворение за стихотворением. А его по-доброму нахваливали и просили читать еще. Прочел он стихи о мельнице, о Вязниках, о поэзии, а когда начал стихотворение «Вяз», Алексей Иванович поднялся с места и слушал взволнованно, переживая каждое слово.

Стоит, как прадедушка древний,
Дивясь перемене такой:
Родился как будто в деревне,
А вышло — теперь городской! —

закончил Борис.

Понравилось Алексею Ивановичу, что такую деталь подметил молодой поэт. Может быть, он в этом вязе увидел и себя, и свою судьбу. Петринский дом стоял в таком же промежуточном месте — на стыке города и деревни. Сам Алексей Иванович разрывался между столицей и Вязниками, подчас толком не понимая, где ему суждено жить и умереть. Ему стал этот парень понятен и близок, как младший брат. Он и приходился Фатьянову дальним братом, как это уже упоминалось в предыдущих главах.

2. Первая книга

Примечательно, что у Бориса Симонова, молодого начинающего литератора, первая книга стихов вышла раньше, чем у его славного земляка. Будучи всенародно любимым, Алексей Иванович взял в руки свою единственную прижизненную книгу лишь в 1955 году, за три года до кончины.

Она разлетелась в несколько дней, и сразу стала раритетом. Все стихотворения в ней были известны и любимы.

А у Бориса первая книга вышла вскоре после их знакомства в Ставрово.

Когда об этой новости узнали Иван Симонов и Фатьянов, они пошли его поздравить, да дома не застали. Мать открыла, ласково пригласила зайти, но друзья потоптались на пороге и ушли.

— Приходили, видно, книжку твою обмывать, — Сказала она вернувшемуся сыну.

— Кто приходил? — Радуясь, спросил Борис. А когда узнал, кто, собрал кое-что в сумку и пошел в Малое Петрино.

Подходя к горочке, он увидел курящийся над омшаником дымок костра. Как обычно, здесь мужчины варили уху. Борис поздоровался.

— А, поэт пришел? — Протянул ему широкую ладонь Фатьянов, — Ты ведь поэт, ответь: когда соловей поет!

— Когда первые листочки на березе появляются, — Все так же радостно принял вопрос Борис. — Ушицу варите?

Иван с Алексеем посетовали, что клев нынче плохой, а уха — «две плотвички и побольше луку».

Алексей Иванович улыбнулся.

— Ну-ка, читай стихи, поэт!

Борис раскрыл книгу и читал свои стихи. Булькала уха в котелке. Молчали старшие. Видно было, что они рады за Бориса.

— Читай теперь новые — я знаю, что у тебя есть, — Сказал

Алексей Иванович. Пришла Галина Николаевна, села рядом с ним на траву. — Про Россию, про Вязники…

Не мог он без России.

Галина Николаевна бесшумно разливала уху.

Борис плохо помнил, но прочел.

— Вот эти стихи у тебя уже лучше! — Заволновался Фатьянов. — Иван, доставай там из травы!

Иван, старший брат и руководитель литгруппы, запустил руку в клевера. Блестнула бликом от костра четвертинка. Галина Николаевна слегка повела бровью — понятно. Налили парню стакан водки. Он смело, как в бездну шагнул, выпил, будто это делал каждый день. Алексей Иванович похвалил за удаль, и еще сказал.

— Книжка у тебя хорошая! Молодец! Хорошие стихи, славные…

Парень, сразу тепло и глухо захмелевший, пригласил собратьев на рыбалку к отцу.

3. Отец Бориса

Отец Бориса работал мостовщиком на понтонном мосту через Клязьму.

От непогоды он прятался в избушке, которая походила на будку дяди Лени Бударина. Дед Тимофей, как его называли, был кладезем разных словечек и присловий, которых ни в одном словаре не найдешь. Алексей Иванович любил послушать тех, кто образно говорил. И однажды ранним утром они появились на понтонном мосту.

Фатьянов был не романтическим рыболовом-любителем. Он умел быстро и красиво построить шалаш, правильно разводить костер, причем спички ему не всегда были нужны. Под его руководством Борис учился с одной спички разводить костер.

— Ты чего отца-то не позвал? — Спросил Алексей Иванович, предвкушая горячую жирную уху.

Борис сходил за отцом. Он подошел, помял рыболовам руки, сел к костру, оглядываясь на свою избушку.

— Не спалили, грю, спальню-то? Глядите в оба, сынки! А то был, грю, у нас один Влас… А у Власа — один глаз…Ему гришь: «Где вторый?» А он глазом — хлоп: «А этот, грит, который?» Он вторый, грит, и есть… То-то, грю…

— Давай, отец! Сыпь! — Любовался отцом Борис.

— Дак насыпай, грю, — Кивал тот на стопочку.

Выпили.

Разговорились о войне.

О ней те, кто пришли из огня, стали рассказывать через много лет после войны. Похоже, фронтовикам не хотелось вспоминать о ней, как выздоравливающему больному — о бредовых химерах.

А тут старший Симонов вдруг стал рассказывать, как его ранили. Он вспоминал о том, как лежал лицом к небу и не мог пошевелиться от боли.

— …Проходили мимо два солдата — один старый, а один — молодой… Вот пощупали оне меня на живо тепло, и давай рядить: брать меня на шинелишку, если я все равно не оживу — не брать ли? Спасать ли не спасать? А у меня язык в роту не помещается — чужой язык! Хочу криком кричать: «— Неси, орлики степные, меня в назарет-то в этот!» — а сам только шиплю, как лебедь-шипун. Молодой, грю, старого торопит: идем, грит, живых искать, а этому — капут! Только из сил, грит, выбьемся…

Алексей Иванович бледнел, переживал:

— Вот сволочь! Я бы его пристрелил!

— А немец-то мой — ну бомбить! Ну с пулеметов полюшко-то битвы поливать! Как я притаился промеж двумя покойниками — не пойму! Жить, грю, видать охота было! Девок-то сколько остается без меня молодца! А там, грю, жить захошь — и под травинкой схоронишься. Слышу это: стук! Ага! Стукнуло. Что ты, грю, думаешь, стукнуло? А она ишо одна пуля пряме-о-охонько вот сюды прямо! То-то, да… Пр-р-ямо, грю, сюды — стук! И не больно — кровь толечко текет, а ей уж, грю, и текти-то неоткеда! Вся уже вытекстви, грю, должна!

Алексей Иванович изменился в лице, воскликнул:

— А, гад какой! На одного раненого две пули не пожалел!

Рассказчик лепил самокрутку, доставал самосад из кисета.

— Чо ему, грю, их жалеть? А слышу, грю, все… Как трава растет слышу… Вот, слышу, самолеты отстрелялись да и ушли на иродром… Слышу серце толкется, слышу, грю, солдаты-синитары, вернулись…Старший грит: «Ты гришь, Петро, его убило, а он, вишь, схоронился! И опять кровища с него, бугая, текеть!» «Связались мы…» — Петро-то этот пыхтит. — «Все дно,» — грит, — «…покойник…» — грит… Вот назови, грю, тебя покойником — как тебе: пондравится?

Отец Бориса замолчал с обидой. Закурил.

Фатьянов переживает, ерзает, вглядывается в моложавое лицо фронтовика…

— А я им грю ти-и-ихо так… Грю: «Покойник, грю, покойнику рознь! Рознь, грю, растуды вашу мать-то!» Они и сели обое… Ладно не на мину, а то мне бы их покусочно нести пришлось!

Закончил рассказчик.

Фатьянов с облегчением рассмеялся, утер слезу, говоря:

— Вот люди — так люди! Вот силища-то где! А награды у тебя, дядя Тимофей, есть?

— Вот мне, грю, награда, — Спокойно сворачивал он кукиш. И кивая на Бориса, продолжал: — А вот, грю — отрада… Сына такого Бог дал… Не вся, грю, фриц, из нас, Симоновых, кровь тогды проистекла!

…Спали в стогу. Утром купались, отталкиваясь от скользких бревен понтонного моста. Зябли, выходя на берег в рассветный туман, грели уху и грелись ухой…

Фатьянов говорил Борису Тимофеевичу:

— Записывай, что отец говорит. Это же шкатулка самоцветов!

И тот начал записывать.

Послушался потому, что был влюблен в Фатьянова, как бывают подростки влюблены в киноактера. Живая отзывчивость поэта, полное отсутствие равнодушия, горящие интересом глаза, нескупая, открытая душа выкладывались в идеал и пример для подражания. Больше не было таких людей в его жизни.

…Однажды мать Бориса привезла из Казани сатирический журнал на татарском языке.

— Ба, гляди, Борис, Фатьянова протащили! Как им не стыдно — такие песни пишет. Он ведь поэт, а они-то кто? — Не могла она понять «сатириков». — Живет себе человек, никого ведь не трогает! Одна от него польза людям!

Она глубоко переживала за то, что посмели унизить поэта.

А когда узнала, что Фатьянов умер — горько заплакала.

— Извели…

4. Есенин и Фатьянов

Алексей Иванович очень любил Пушкина. Татьяна Репкина вызывала его на споры, желая подзадорить, а то и подшутить. Словно подмигивая другим собеседникам, она заявляла:

— Что такое Пушкин? Да, гениальный поэт! Но он аристократ, он не народный поэт!

В те годы слово «аристократ» звучало в одном ряду с понятием «мещане» и было чуть ли не ругательством.

Алексей Иванович подскакивал.

Он яростно, как меч на врага, хватал с полки книгу из многотиражного девятитомника Пушкина пятьдесят третьего года издания, который был, наверное, в каждой читающей семье.

— Шалун уж отморозил пальчик! Ему и больно и смешно! А мать грозит ему в окно! — воспламенившись, цитировал он,

доказывая, что поэзия Пушкина не для аристократии, а для народа. Иногда казалось, что он весь девятитомник знает наизусть…

Всем нравилось, что он такой наивный и горячий, что так знает и защищает Пушкина. Всем было весело и смешно оттого, что он так легко поддается на нехитрые уловки.

А он действительно Пушкина любил. Но ближе всех русских поэтов Алексею Ивановичу все же приходился Есенин, о чем знал Борис Симонов и что находило в нем отклик безоговорочно. Для Симонова Есенин был воплощением всего настоящего. Иногда, глядя на Фатьянова, он узнавал в нем своего любимого поэта — не желающего помещать себя в навязанные кем-то рамки, слушающего свою душу, шокирующего надменных лицемеров. В ученических тетрадях жили есенинские стихи, запрещенные, но не забытые. Подобная слава сопутствовала и Фатьянову — все знают, а нигде не прочтут: нет ни книги, ни публикаций в периодических изданиях. И, конечно, песни, похожие лиризмом и напевностью, роднили этих двух людей.

Шли годы.

Алексея Ивановича не стало.

Сняли странный запрет с имени Сергея Есенина. Начали в Константинове проводить посвященные поэту праздники. А в Вязниках летом стали собираться люди, чтобы вспомнить Фатьянова.

Вязниковский литератор Борис Симонов ездил, кланялся родине любимого поэта.

Там, в рязанском селе, он встретил его друга Николая Петровича Рядинкина. Расспрашивал о детских годах Сергея Александровича, о некрасивых слухах, уверенно и привычно распространяемых недремлющей прессой. У него издавна теплилось намерение сочинить поэму о жизни Сергея Есенина. Есенин-человек ему становился все более понятен — но в этих рассказах есенинского друга он все больше видел Фатьянова. И это было так явственно, что в конце концов он взялся и написал поэму о Фатьянове.

На один из Есенинских праздников Борис Тимофеевич приехал не с пустыми руками.

Он готовился к нему с осени: откопал присадки вишен сада у родного дома Алексея Ивановича Фатьянова, досмотрел их, взрастил.

Теперь каждую весну расцветают в саду Сергея Александровича Есенина знаменитые вязниковские вишни.

Вот как любили песельника на зависть многим правильным,

«многотомным», увенчанным лаврами и тосковавшим в благополучии…

Впрочем, вряд ли им до этого есть дело.

Фатьянов — русский соловей. Дети рядом с Фатьяновым

1. Алена и Никита

С тех пор, как получили Фатьяновы квартиру на Бородинской, с той поры, как оборудовали Алексею Ивановичу первый в жизни собственный кабинет, на письменном его столе всегда стояли две фотографии. Это были портреты двух его детей.

Он сам разбирал рамки и менял их под стеклом с годами, по мере того, как подрастали Алена и Никита. Те фотографии, которые поэт поставил своей рукой на письменный стол последними, теперь находятся в вязниковском Музее песни вместе с его кабинетом.

Чувствуя в Алене способности, Алексей Иванович в свободную минутку играл с нею «в стихи». Он рано разглядел в девочке тяготение к красоте слова. Отец учил дочь сочинять. Он любил брать девочку на шею и сам начинал игру:

— А ну-ка, Аленка, придумай стихотворение… Слушай: дочик-дочик, коробочек, а потом еще грибочек… — И замолкал.

— А потом еще пенечек! А потом еще платочек! — Фантазировала девочка и придумывала рифму.

Подросший Никита, когда пошел в школу, тоже принес первое свое стихотворение. Оно посвящалось очень хорошей девочке Тане. Алексей Иванович прочел листок и сказал:

— Не пиши больше! Это не твое… Не позорь меня!

Алексей Иванович с детьми разговаривал, как со взрослыми, он не считал, что они глупее его.

На фоне такого отношения к своим детям в фатьяновской семье долго живет анекдот.

Никита заболел, Галине Николаевне нужно было его везти в больницу. С кем оставить Алену до прихода вызванной няни? Соседка, которая жила вдвоем со взрослым сыном, открыла дверь на звонок Галины Николаевны.

— Анна Ивановна, я вас умоляю, побудьте дома с Аленой! Через полчаса приедет няня — всего полчаса! — Взмолилась перепуганная мама.

В ответ на это соседка пожала плечами:

— Галочка, да что вы, у меня же ребенок!

— Как? Какой у вас ребенок? — Удивилась Галина Николаевна.

— А Женечка!

Ничего не ответила Галина Николаевна — да и что тут ответишь? Женечке о ту пору было сорок лет.

Семейным праздником были поездки на речном трамвайчике.

Обычно к Фатьяновым тогда присоединялся мальчик Боря. Он был старше Алены на целых четыре года, отчего казался девочке большим и очень умным. Для Никиты он и вовсе был взрослым дядей. У него папа был военмором и учился в академии. Алену в этом мальчике восхищало все, а Никиту — его морское происхождение. Боря любил приходить дом Фатьяновых, где была огромная библиотека, и дружил с Алексеем Ивановичем. Алексей Иванович также считал мальчика своим другом, опекал, следил за его чтением.

Появление детей в семьях родных Алексеем Ивановичем воспринималось как величайшая радость. Детей Ии он считал родными. И Андрюша, и Верочка, были его любимцами и крестниками. Он очень гордился тем, что был крестным отцом.

Когда в 1952 году родилась Верочка, Фатьянов был очарован этим событием. До ее появления на свет Алексей Иванович предоставил Ие с мужем свою квартиру, уезжая на летний отдых. Алексей Иванович радовался, что может теперь сам приютить ту, чья мать давала ему в юности кров. Ия Викторовна тем летом боялась уезжать из Москвы. «Критический момент», когда ты на сносях, может наступить в любую минуту.

Не было такого, чтобы Алексей Иванович не приехал в день рождения к своей крестнице Верочке. Когда приносили совсем маленькую девочку на Бородинскую, он бережно ставил ее на рояль и любовался, как она хороша в беленькой шубке, которую Верочке подарил он сам. Он удивленно хохотал оттого, что Верочка с Андрюшей ему приходились внуками.

А одаривать детей Алексею Ивановичу доставляло большую радость.

2. Рояль Марка Бернеса

Позже, когда семилетняя Алена стала проявлять незаурядные музыкальные способности, на семейном совете было решено купить новый рояль. Состояние старого домашнего рояля по-прежнему оставляло желать лучшего. Непрестанно жаловались на него и композиторы, и гости-музыканты.

На первой Бородинской улице, неподалеку от дома, где жили Фатьяновы, находился комиссионный магазин «Рояли». Мастера из магазина часто ремонтировали фатьяновский рояль и знали Галину Николаевну. После принятого решения она пришла в магазин и сказала, что нужен небольшой комнатный рояль. Через

некоторое время позвонили и сообщили: небольшой инструмент продает Марк Наумович Бернес. Он в это время женился во второй раз, и ушел жить в небольшую двухкомнатную квартиру, куда рояль не помещался. Рояль этот был выписан для известного актера из Германии. Стоил же он по тем временам колоссальные деньги — шестнадцать тысяч.

Несмотря на то, что у Алексея Ивановича не было этих денег, инструмент переехал к ним. Марк Бернес был рад освободить площадь и готов был ждать расчета, сколько угодно…

Алене нашли педагога, добрейшую немку Антонину Ростиславовну.

Она была незабываемо ярким человеком. Очень большого роста, полная, ярко-рыжая, она носила короткую стрижку и обладала мужеподобным голосом. Антонина Ростиславовна гордилась своим голосом и вообще собой. Очень коммуникабельная, общительная, она делала уроки музыки не раздражающими ни ребенка, ни окружающих. Несмотря на то, что учительница была внешне большая и грозная, она очень ласково, вкрадчиво разговаривала, никогда не ругалась, не била по рукам. Она говорила родителям:

— У девочки большое будущее, и она обязательно будет участвовать в конкурсе Чайковского. Я знаю, что ты там будешь играть, как Ван Клиберн, — Похваливала она Алену. Тогда говорили «Клиберн», а не «Клайберн», как сейчас.

Антонина Ростиславовна была хорошим, добрым, ласковым человеком. Она много рассказывала о своей семье. Беспокоило ее то, что младшая из двух ее дочерей — Ирина, была влюблена в начинающего исполнителя Иосифа Кобзона. О романтических переживаниях Ирины и Иосифа знали в семье Фатьяновых и принимали их взаимоотношения близко к сердцу…

— Любовь, Антонина Ростиславовна — это святое! — Восклицал Алексей Иванович. — Ей, знаете ли, все возрасты бывают очень покорны!

— Это — Пушкин! Это не вы! — Обнаруживала та подлог. — А вы что думаете?

— Я поддерживаю предыдущего оратора господина Пушкина!

3. Дети переулка

Однажды в Хрущевском переулке появился профессиональный детский фотограф. Его пригласила бабушка, потому что ждала в гости внуков. Алене тогда было четыре годика, Никите — два. В тот день фотограф расположился, «как дома», обедал, присматривался к детям, изучал их характеры.

Потом он велел мальчика наряжать в пальтишко, девочку — посадить в корзинку с цветами. Он был фантазер. Нахлобучил на лоб Никиты кепку, вручил ему бутылку водки — щелк… Зажигалась вспышка, как молния, но дети не плакали, они были увлечены игрой. Это были костюмированные съемки, и дети подчинялись доброму фотографу, чувствуя себя артистами… Тогда появилась целая серия прекрасных, веселых детских фотографий.

Все Фатьяновы и Калашниковы любили фотографироваться под окнами Анны Николаевны.

Фотограф просил неугомонных сродников построиться по росту, кого-то лечь, кого-то повернуть голову, всех застыть… Все улыбались, потому что радовались общению, встрече, радовались тому, что все впереди. И даже когда сносили этот крепкий, счастливый дом в 1960 году, его жильцы радовались новым квартирам, какому-то прогрессу в жизни страны. Теперь на месте дома размещается посольство крошечного государства Люксембург. Когда-то здесь помещалось со своими традициями, поколениями, песнями, привычками, соседями, судьбами все Ставрополье в сжатом виде. А оно больше Люксембурга в десять раз.

И, конечно, все блюда ставропольской кухни появлялись на столе, когда приезжал сюда Фатьянов со своей семьей. Сидя за огромным столом, ставропольцы часто вспоминали, как однажды на подножке полуторки во двор особняка въехал взволнованный жених и увел их тихую Галочку Калашникову. И, конечно, не обходилось без песни. Песни душевные, фатьяновские, звучали на всю коммунальную горницу. И дети замирали в своих играх, выхватывая из хорового пения какой-то поразивший их образ. И засыпали с хорошими мыслями о стихах, зарытых цветных стеклышках в палисаднике, сладкой газировке на бульваре, красивых обновках и абсолютном счастье.

Середина пятидесятых

1. Иван Ганабин

В мае 1950 года во Владимире прошло второе областное совещание молодых литераторов. Алексей Иванович на нем руководитель поэтическим семинаром. Крепкая гвардия владимирских удальцов не только тогда стала крестниками поэта, они стали его друзьями. Иногда пытаясь держаться официально и в стороне, Алексей Иванович после все же не сдерживался, и если чувствовал в человеке близкое, переходил «на ты». Тогда его окружили и так и остались рядом Сергей Никитин, Владимир Томсен, Иван Ганабин, Борис Симонов. Алексей Иванович искал среди молодых владимирца Марата Виридарского, знаменитого местного футболиста, слесаря, пишущего стихи. После, познакомившись, он высказал свою радость о таланте молодого рабочего.

Близок по духу ему стал и фронтовик, моряк балтийского флота Иван Ганабин. Как артист ансамбля балтийского флота, Алексей Иванович его считал своим однополчанином. Это был выпускник литинститута, который писал нежные стихи о Родине, и по-фатьяновски был влюблен в родной край…

В 1953 году Иван Ганабин стал завотделом литературы и искусства областной молодежки «Сталинская смена». Неприглядное помещение в подвале чайной Дома колхозника кипело и бурлило, как любая редакция. Крохотные комнатки, наползающие друг на дружку, в коридорах — столы, внимательные машинистки, работающие где попало, чуть не на ступеньках, при желтом свете настольных ламп… Беготня, стрекотня, суета. Главным редактором газеты в том же году стала Антонина Степановна Атабекова, которая также вскоре сделалась другом Фатьянова.

В 1953–1954 году Алексей Иванович часто бывал во Владимире.

Готовилась к печати его первая и единственная прижизненная книга стихов. Он приезжал, останавливался всегда в гостинице, и пропадал в издательстве. Работа с редактором, верстки, гранки, корректорские поправки — все это Фатьянову хотелось проследить самому.

Когда он заходил в редакцию, все вставали со своих мест, шумно здоровались, обступали поэта, слушали все, что он говорит. Самые хмурые улыбались. С обожанием выслушивались

и новости, и хула, и похвала. Непосредственный нрав, дружелюбие, просто человеческая красота — все было в нем притягательно. Здесь публиковали его стихи. Здесь берегли каждое слово и каждый знак, написанный его рукой. Эти непритязательные, провинциальные экземпляры со своими стихами он очень ценил.

Он вообще любил все, связанное с родиной. И дружбу с земляками принимал близко к сердцу.

А Вязники этого времени коснулась «хрущевская оттепель». Когда появился в Москве модный журнал «Метрополь», подняв на знамя перемен молодых Вознесенского и Евтушенко, волна самиздата тут же покатилась по всей России. В литгруппу Вязников ходили молодые парни и девушки. Но они только начинали, их не печатали. Они соблазнились «демократизацией» и выпустили несколько рукописных журналов «Космос». Естественно, начался большой шум: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Из обкома специально приезжал работник, чтобы разузнать, что стряслось в тишайших Вязниках.

Серьезная комиссия экспертов выясняла: о чем думали и что хотели сказать своими литературными опусами местные молодые люди.

А эти молодые люди были увлечены абракадаброй и бессмыслицей, словоплетеньем и бледным подобьем депрессивных гимнов. Более-менее ясной была критическая статья о Маяковском, где его раскритиковали в пух и прах, ободрали прижизненную бронзу и, попросту, развенчали, как первого поэта советской эпохи …

Борис Симонов с Юрием Мошковым тоже выпустили в 1955 году журнал «Ясень», но уже не протестно-дерзкий, а лирически-задушевный. Это была молодежная мода, но как хорошо, что это было!

Иван Ганабин более благоволили к лагерю лириков, нежели трибунов. Да и Фатьянов, несмотря на свою любовь к Маяковскому, как мастеру гротеска и формы, всей душой льнул к Есенину.

…Смерть Ивана Ганабина, слишком ранняя, потрясла его и подавила.

— Так не должно быть! — Рубил ребром ладони по столешнице так, что на пол скатывались карандаши.

Но так было.

Это случилось 20 февраля 1954 года, когда все были молоды и никто не думал о том, что всем придется когда-то навсегда расстаться. Поэт родился в деревне Коломна Вязниковского уезда в 1922 году. Он был моложе Фатьянова на три года, и отличался

веселой простоватостью нрава. Они съезжались в Вязниках, любовались венцами, читали стихи, выступали. К нему поэт питал чувства братские, немного покровительственные, помогал. Сергей Никитин, Владимир Соколов, Александр Меркулов — все однокурсники Ганабина были поражены трагедией. Иван умер в поезде. Ему стало плохо, и выяснилось, что у него рак легких… Побывав на похоронах в Юже, все владимирцы приехали в Вязники. Река была еще крепкая, и они перешли ее по заснеженному льду молча, вспоминая каждый — свое.

Атабекова, Никитин, Фатьянов заходили тогда к Ивану Симонову, долго сидели у него, говорили мало…

Так начинали они уходить — поэты, которые были рождены, чтобы встретиться и навсегда остаться рядом на страницах академических антологий, которые еще будут написаны.

3. «Поет гармонь», 1955 год

Этот год был тяжел переживаниями.

Но наконец вышла книга «Поет гармонь» с предисловием Льва Ошанина. Для провинциального издательства тираж был почти неподъемным — 25 тысяч экземпляров. Эта маленькая книжечка с веткой плакучей березы на обложке мгновенно разошлась. Ее востребованность оказалась выше любого бестселлера. Она пелась от березовой коры до березовой коры.

Пока Галина Николаевна занималась домом, бытом, детьми, Алексей Иванович был в разъездах, старался заработать выступлениями, концертами. Во время странствий по любимой Владимирщине он попал на премьеру в Ковровский драматический театр. Играли пьесу местного автора А. Плоткина «Дело Рогозина». Он заволновался, увидев на сцене пожилого актера Н. Жилина. Это была весточка из юности — они вместе начинали в театре Красной Армии еще до войны.

Старые знакомые потянулись за всеми на банкет в дом драматурга. Звучали тосты, панегирики и славословия. Плохо вслушиваясь в их содержание, невзирая на усталость, они проговорили до утра.

— Тебе сколько сейчас, Алеша? — Спросил вдруг Жилин, имея в виду возраст.

— Сто рублей и «ЗИМ» к подъезду! — Отвечал Фатьянов, не любивший считать дней жизни.

4. Бывая в Ростове

«Как держалась в те годы родня!» — думается, когда глядишь

на этот русский фамильный куст. А ведь времена-то их были жестокими.

В середине пятидесятых опустела квартира в Хрущевском переулке. Генерал Александров, муж матери Галины Николаевны, был отправлен в Ростов-на-Дону. Анна Николаевна, собрав скарб, последовала за мужем.

Теперь Фатьяновы всей семьей стали наведываться в Ростов.

Летом им полюбилось отдыхать в Кочетовке, где чувствовался дух шолоховской прозы. Голосистые казаки и казачки пели по вечерам, прохаживаясь с гармоникой. Эти заоколичные звонкие хождения, теплое марево над деревенскими улицами, дух знойного лета, сенокоса были так похожи на вязниковские. Батюшка Дон притягивал к себе.

Иногда в Кочетовку приезжали из Ростова на машине бабушка и дед. Алена и Никита радовались их появлению. Особенно ликовал Никита. Эта машина возила их с отцом на рыбалку, за рулем сидел настоящий солдат в пилотке и при погонах. Случалось, они просиживали долгое время, держась за удочки, а клева не было. Тогда солдатик вез их на берег, где торговали серебристыми рыбами пропахшие водой рыбаки. За бесценок продавали они свои трофеи.

Однажды Алексей Иванович приехал в Ростов в босоножках. Военный тесть с недовольством посмотрел на него:

— Ну что же ты в опорках в Ростов приехал?

У Фатьянова был очень большой размер ноги, и с обувью ему часто приходилось мучиться.

— Ну, я тебе достану на складе… — Потеплевшим голосом пообещал строгий тесть и повел поэта на свой генеральский склад.

Чего там только не было! Какого только товара не припас заботливый «Военторг» для генералитета! А вот обуви нужного размера не находилось. С трудом нашли пару запыленных от невостребованности летних туфель, которую и купил уставший от неудачных примерок поэт.

Теща так характеризовала Алексея:

— Он был благодарный, всем довольный… Замирал среди толпы.

В Ростове Алексей Иванович был человеком известным. Кроме песен, Ростовчане помнили его по выступлениям, прошедшим летом 1951 года. После отъезда поэта местная газета «Большевистская смена» полностью опубликовала его поэму «Наследник», разместив ее в трех номерах. Так что, когда он выходил на рынок по утрам, его многие узнавали.

Он любил ходить на яркий цветами ростовский рынок с

горами помидор и ларями арбузов. Алексей Иванович покупал продукты только отборные, никогда не скупился и не торговался. Приносил сумки, ставил у порога кухни, а уж теща выготавливала его любимые блюда: сазана под сметаной с картошкой и чесноком, шпигованную баранину, пироги с капустой. Стол ломился, когда приезжал зять, и новые ростовские друзья появлялись следом за ним, мечтая побыть рядом с поэтом, который живет рядом, на той же земле, а кажется — на небе.

И зимой навещали москвичи родителей. 28 января, в день рождения Анны Николаевны, съезжались все — и Фатьяновы с Никитой и Аленой, и Людмила Николаевна с семьей…

Алексей Иванович любил со всеми поговорить.

Выходя на улицу, он закуривал сигарету, закуривал, затихал.

К нему подходила дворничиха с широкоэкранной лопатой и, поборовшись с непобедимым снегом, становилась отдохнуть рядом с поэтом, опершись на черенок лопаты, как на посох. Они разговаривали о снеге, и он падал, этот мягкий южный снег, и не было никакой тревоги в сердцах этих разных, малознакомых людей.

— Как вы тут? — Спрашивал, например, Фатьянов.

— А шо нам? — Отвечала она и выбивала нос в конец платка. — Вон, вишь, валит, как казаки за пывом! — Кивала она на небо.

— Хорошо валит! — Как поэт радовался он.

— А подь ты! Фу на тебя! — Незло отмахивалась рукавицами дворничиха. — Хорошо ему!

А ему и впрямь было хорошо…

Кинофильмы

1. Думы о солдате Иване Бровкине

В летней Москве 1951 года прошел первый съезд кинематографистов. Фатьянова это десятилетие сблизило с кинематографом. Прекрасные песни, написанные поэтом вместе с композитором Анатолием Лепиным из кинофильма 1954 года «Солдат Иван Бровкин», принесли ему новую славу. Автор популярных оперетт, он мечтал поработать с Фатьяновым, но не решался вклиниться в творческий альянс поэта с Соловьевым-Седым.

Так сложились обстоятельства, что композитор сделал Алексею Ивановичу официальное «предложение». Тогда появилась «Ромашка моя», которая, прозвучав с экрана, сразу вошла в жизнь страны, была подхвачена гармонистами, пелась, жила. А рядовые из воинских частей дружно маршировали под «Шла с ученья третья рота». «Сердце друга» тоже звучала некоторое время довольно часто. Эти песни создавали настроение, говорили о судьбе, характере простого русского парня.

Кинокомедия пользовалась большим успехом. В главной роли был занят актер Харитонов, это было его первое появление в кино. Простодушные синие глаза, пухлый детский рот, красивый точеный нос… Татьяна Пельтцер, смолоду привычная к ролям старушек, играла его мать. Михаил Пуговкин в солдатской фуражке и в тельняшке, клинышком выглядывающей из-под рубахи, играл сельского автомеханика. В эпизодах мелькал глубокий актер Евгений Шутов — гений эпизода. Разноплановый, одаренный, но не обладающий «благородной» актерской внешностью, он и в последующих ролях в кино обживался ярко запоминающимся простаком.

Летом 1954 года Алексей Иванович работал над этими песнями, песнями к кинофильму «Солдат Иван Бровкин». По свидетельству близких, они давались ему туго. Он приезжал в Вязники, бродил по улицам, подолгу сидел в редакции. Он переживал нечто вроде депрессии, и ему было тягостно это неведомое доселе чувство. Не зная, кто будет играть Ивана Бровкина, он пытался представить себе этого удальца и героя.

Ему представлялся Иван Ганабин, морячок-балтиец, с темными змейками лент за плечами, в васильково-белой тельняшке. И Алексей Иванович старался словить мотивы его

скромной и нежной любви к родине. Прорисовывались строки:

Если б гармошка умела
Все говорить не тая…
Русая девушка
В кофточке белой…

А вот последняя строка никак не выходила.

По рассказу Бориса Тимофеевича Симонова, песня получилась неожиданно. Чтобы излечить друга от хандры, Борис пригласил его на рыбалку. Алексею Ивановичу все было в тягость, он пребывал в унынии. Утверждал, что клева не будет, погода не та, черви синие, настроение плохое… Часто, забывая о рыбалке, вязниковские друзья поэта вязли в разговорах. Тогда и покупали рыбу, а приходя домой, хвастались своими «трофеями». Никто не смел открыть «тайну сию». В этот раз они также ни хвоста, ни пера не поймали. И даже рыбаков, у которых, казалось, всегда можно было бы купить рыбы, они тоже не встретили.

Чтобы день не пропал, они решили переплыть на лодке на другую сторону, где весь берег был покрыт жарками. Алексей Иванович собирал букет для жены. Когда он поднял голову, увидел перед собой русскую красавицу. Девушка с тугой русою косой, в белой кофточке, загорелая и голубоглазая, собирала цветы, приотстав от подружек. Алексей Иванович подал ей свой букет.

— Ты настоящая? Как тебя зовут? — Спросил он, оробев.

— Ромашка, — Ответила девчушка, смутилась и убежала вслед за своими.

После этой нечаянной встречи с красотой под синим небом своего детства ему стало легче, и пошла песня. Все знают проникновенную и яркую по своей чистоте и неожиданности строку: «Где ты, ромашка моя?». Где ты, девушка, которая назвалась «ромашкою», билось ли тревожнее твое сердце, когда ты слышала это только тебе понятное признание, прозвучавшее на весь мир?..

Фильм ушел в прокат и имел широкий успех.

Кинорежиссер Иван Лукинский и автор образа Вани Бровкина Георгий Мдивани получали письма с просьбой рассказать о Ване, как длится его жизнь после фильма. Народ переживал за своих героев не на шутку, и не хотел их отпускать из поля зрения. С появлением на экране титра «конец» фильм для зрителя, как оказалось, не заканчивался. Он начинал фантазировать, что же дальше, и верил в то, что это — не сказка.

У авторов фильма появилась идея продлить судьбу Ивана

Бровкина.

Сценарист задумал фабулу второй серии фильма, и назвал ее «Иван Бровкин на Целине». Через три года Иван Лукинский снял и этот фильм на киностудии имени Горького. В нем прозвучала песня на стихи Фатьянова и музыку Лепина «Степи Оренбургские». Алексею Ивановичу музыка пришлась по душе. Он ее напевал, прохаживаясь по студии, хвастался ее широтой перед знакомыми так гордо, как будто сам был и композитором. В 1958 году вышел на экраны этот фильм, однако не стал таким «кассовым», как первый. Но, как и прежде, песня была подхвачена, и укатила вместе со студентами и вербованными землепашцами на целину. Зазвучала песня, которая, оказывается, была нужна. Композитора и поэта наградили за это медалями «За освоение целинных и залежных земель».

Алексей Иванович радовался. Все-таки оценили его песню по достоинству, что бывало нечасто.

— Теперь я осваиваю свой хлеб по праву! — Говорил он, нарезая свежий каравай из булочной. — И этого права у меня не отнять!

2. «Доброе утро»

В 1955 на широкий экран вышел один из первых цветных фильмов, снятых на «Мосфильме». Он назывался по-доброму ясно: «Доброе утро». Комедию снял режиссер Андрей Фролов по сценарию известного и поныне драматурга Леонида Малюгина. Оператор Николай Власов снимал чудесных комических актеров. В те годы культурного подъема все даже молодые актеры становились известными и после единственной роли. А уж Льва Дурова, Михаила Пуговкина, Юрия Саранцева любили все, узнавали по голосам, представляли по радиопостановкам. Нынче забытый Юрий Саранцев был очень известным и любимым в то время актером. Крупный, круглолицый, обаятельный добряк, он часто снимался в кино в 50–60 годы.

Владимир Андреев, ставший впоследствии во главе московского театра, играл тогда крупные роли.

Мхатовец Иван Любезнов, народный артист, актер старой русской школы, был уже в годах. В женских ролях были заняты Татьяна Конюхова и Изольда Извицкая. Последняя была известна массовому зрителю по фильму «Сорок первый», снятом по одноименному рассказу Бориса Лавренева. Там она снималась в паре с российским Жераром Филиппом — Олегом Стриженовым. Она полюбилась всем после того, как блестяще сыграла трагическую роль Марютки.

На сегодняшний день, к сожалению, много не скажешь о фильме «Доброе утро». Он остался в своем времени. Известно, что для фильма были написаны песни композитором Василием Соловьевым-Седым с поэтами Фатьяновым и Фогельсоном. Фильм забыт совсем. И лишь песня «С добрым утром, дорогая», которую пел Саранцев на палубе теплохода, осталась, как образ, в воспоминаниях немногих кинозрителей той поры.

С добрым утром, дорогая!
Расстаемся мы с тобой.
Я налево, ты — направо:
Так назначено судьбой.

Только чайка за кормою
Одиноко прокричит.
Только сердце молодое
Одиноко простучит…

3. «Весна на Заречной улице»

В 1956 году вышел в прокат черно-белый фильм «Весна на Заречной улице». История любви учительницы школы рабочей молодежи и ее ученика была типичной. В каком поселке только не появлялась тогда молодая учительница, в которую было влюблено все окрестное мужское население? В нее влюбился бригадир, у которого была уже невеста, молодая «мещаночка». Простой парень с характером, герой, лучший сталевар, не привыкший к отказам женщин, был блестяще сыгран Николаем Рыбниковым. Он сумел передать всю гамму чувств рабочего парня, который поначалу пытается казаться безразличным, потом понимает, что пришло впервые серьезное переживание. Актеры Николай Рыбников, Владимир Гуляев, Геннадий Юхтин, Надежда Иванова живо передавали эту историю, историю жизни рабочего поселка.

После этого фильма по стране прошла волна свадеб, на которых невестами были учительницы вечерних школ.

А летом 1955 года Алексей Иванович работал над песней для этого кинофильма.

Уже в первые летние дни Алексей Иванович записывал первые слова и четверостишия. Он «огранял» песню, как ювелир — алмаз:

И вот уже ночная смена

По нашей улице идет.
А я все так же неизменно
Стою у стареньких ворот…

Потухли звезды на рассвете,
А я жду встречи нашей вновь.
Скажи, кому на белом свете
Нужна несчастная любовь?

В начале лета поэт пел ее своим друзьям, понимая, что песня окрепла и прижилась в нем самом. Однажды появившись во Владимире, он встретил Антонину Атабекову с ее свекровью, позвал Марата Виридарского и повлек всех к себе в гостиницу. Там, у дребезжащего рояля он впервые спел им строки:

Когда весна придет, не знаю.
Пройдут дожди… Сойдут снега…
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога.

Алексей Иванович чувствовал, что песня выходит у него необыкновенно хорошая.

Потом он ездил в Одессу, работал вместе с Борисом Мокроусовым на съемочной площадке. Поэт и композитор обязаны были присутствовать на съемках. Считалось, что они обязаны «прочувствовать» сюжет, понять героя, вжиться в его характер. Может быть, так было и нужно, может, оттого и песни получались незаменимые. Снимали фильм режиссеры маэстро Марлен Хуциев и Феликс Миронер. Операторы П. Тодоровский и Р. Василевский показали себя в фильме истинными поэтами рабочей окраины. Кроме песни «Когда весна придет…» в фильме прозвучала «Песенка Юры».

Синими одесскими вечерами Алексей Иванович Фатьянов смотрел на море, на одном из берегов которого прикорнул старый Коктебель.

Там отдыхала с детьми его Галя.

Там пылилась под кроватью его теннисная ракетка.

Там море было ласковее и теплее одесского. Однажды он уехал из Одессы, не дождавшись конца съемок, и «бежал» в Коктебель.

А в Коктебеле ночью — тишина.

Ложатся писатели рано, подчиняясь детскому режиму. Южные ночи настолько темны, что гулять под темным бархатным

небом все равно, что бродить с завязанными глазами по чужому дому.

Такою ночью въехал Фатьянов в писательский поселок и постучался в окно к Виктору Полторацкому. Безо всяких обиняков он сообщил, что написал новую песню, огляделся.

— Гитара тут есть?

— Гитары здесь не растут, — Бурчал полусонный Полторацкий.

— Ну раз тут не расту-у-ут!.. — Махнул рукой и спел без аккомпанемента песню о родной улице.

Вышла жена Виктора, попросила спеть еще, еще и еще… На следующий день с легкой руки Александры Полторацкой весь Коктебель пел новую песню. Уезжая, отдыхающие везли ее с собой, так что песня о Заречной улице влетела на большой экран уже с улицы.

Песня стала общенародной сразу же, без всякой, как нынче говорят, «раскрутки».

Она ею и остается. Многие «выходили в люди» через заводскую проходную. Многие песню считали своей, местной, народ ее «присвоил».

А улица Заречная была и есть чуть ли не в каждом городе, городке и поселке.

Много лет спустя Михаил Матусовский, прохаживаясь по Вязникам, убранным цветами и флагами к Фатьяновскому празднику, говорил собеседнику:

— «И вот иду, как в юности, я улицей Заречною» — мы с Фрадкиным написали эту песню после войны… И я думал, что я о своей улице в Волгограде писал, а Фрадкин думал — что про свой Витебск…

Сама собой сложилась традиция. Уже три десятка лет Фатьяновский праздник в Вязниках заканчивается именно этой песней, которую поет многотысячный хор зрителей, поднимаясь со своих мест.

3. Дом, в котором я живу. 1957 год

В 1956 году во Всесоюзном конкурсе на лучший сценарий первую премию получила работа Ольшанского «Дом, в котором я живу». Это была обычная история из жизни о соседях, жителях одного двора. В их монотонно-разнообразную жизнь ворвалась война и подмяла под себя людские судьбы. Как в жизни, не верилось в гибель молодых героев фильма, девушек и парней, которые готовили себя к большой жизни, которых ждало будущее,

Музыку к кинофильму писал композитор Юрий Бирюков. Она

была «позывной», манящей, мирной. «Тишина за Рогожской заставою» — вторили ей слова, наполненные жизнью деревьев, железной дороги, звоном семиструнки, ромашковым ароматом девичьих волос …

Приступили к постановке.

На одну из главных ролей прошла недавняя сибирская школьница Жанна Болотова.

Когда снимали «Дом, в котором я живу», у Фатьяновых дома часто бывала вся съемочная группа. Режиссеры Яков Сегель и Лев Кулиджанов, оператор Вячеслав Шумских стали настолько дружны с фатьяновской фамилией, так что были на Бородинской своими.

В 1957 году проходил международный фестиваль молодежи и студентов. Праздничная Москва была юной от обилия молодежи. Столица дарила гостям все самое лучшее. Тогда в кинотеатрах страны и прошел черно-белый фильм киностудии имени Горького «Дом, в котором я живу». Гитарные переливы песни «Тишина за Рогожской заставою» полетели далеко заграницу, как символ дружбы и грусти расставания со сказочно прекрасной Россией.

Фильм, потрясший всех истинным народным горем войны, вызывал глубокое общее сочувствие. В кинозалах слышались рыдания, и песня, спокойная, умиротворяющая, звучала, как молитва, как контрапункт. Режиссеры, съемочная группа, актеры, были удостоены Особой премии кинофестиваля за 1958 год. Не было человека, который не мог бы дословно пересказать содержание картины…

…Осенью, получив гонорар за фильм «Дом, в котором я живу», Алексей Иванович исполнил давнюю свою мечту.

Есть поговорка: продай, муж, лошадь да корову — купи жене обнову. А мечтал он о шубе для жены. Однажды она появилась в доме — очень тяжелая, красивая, замечательная шуба из енота. Длинная, массивная, серая. Галина Николаевна примеряла ее перед каждым гостем. Алексей Иванович восхищенно рассматривал жену в волнах меха и радостно объявлял, что он очень хотел, чтобы у нее была именно такая красивая, дорогая, теплая вещь.

А потом сшил себе в литфондовском ателье огромную, тяжелую, барскую шубу. Посмотрел на себя в зеркало и решил:

— Надо купить трость, иначе меня будут путать с Шаляпиным! — Потом порылся в карманах пиджака, позвенел мелочью в карманах брюк. — Но обойдемся пока без трости…

«Победа»!

1. Две тени

В 1957 году Василий Соловьев-Седой, отмечал свое пятидесятилетие.

25 апреля Алексей Фатьянов вместе с Михаилом Матусовским вышли из комфортабельного вагона «Красной Стрелы».

В Ленинграде было очень холодно, по Неве шел лед. Они пошли прогуляться по набережным Невы, постоять на ее мостах, полюбоваться холодной ленинградской весной. Громыхание льда о гранитные плиты их восхищало, как мальчишек. Михаил Львович приехал в Ленинград со своей домашней кинокамерой. Северная весна казалось ему поэтичной, как снежная королева. В кадр кинокамеры попал ледоход и блестящие от влажности камни гранита, хмурое небо и оживленные приближением тепла прохожие. Москвичи пошли по улице, свернули на Невский. Отвернувшись от заходящего солнца, они увидели идущие впереди себя собственные удлиненные тени.

«Алеша сказал:

— Смотри, какой занятный кадр. Снимай скорее!

Так и остались у меня на кинопленке две наши тени. Одна — с киноаппаратом — моя, и вторая — в кепке и по-весеннему распахнутом пальто — Алешина. Иногда я пускаю старую, уже потускневшую ленту, и вновь передо мною возникает Ленинград, и снова идет по реке тот самый лед, который прошел много лет тому назад, и Алеша читает стихи, и спорит, и две наши тени движутся по асфальту Невского проспекта…» — написал поэт в своем очерке о дружбе с Фатьяновым «Высокое признание».

Две великие тени.

2. Два водителя

В том же 1957 году у Фатьяновых появился автомобиль.

Алексей Иванович не считал это излишеством: машина нужна для того, чтобы ездить на охоту и на рыбалку. Новенькая «победа» стояла внизу, во дворе. По первому желанию хозяина она готова была отправиться, куда угодно.

Появился шофер Михаил Иванович, который жил тоже на Первой Бородинской улице. Часто водила автомобиль сама Галина Николаевна. ЦДЛ-овские курсы вождения не прошли

даром — она водила машину, как заправский пилот-ас, и в дальних путешествиях могла подменить Михаила Ивановича на равных. Галина Николаевна возила детей в школу и детский сад, отправлялась по своим «администраторским» делам.

Алексей Иванович никогда не садился за руль. Однажды он попытался прочувствовать роль шофера, да так нажал на газ, что «победа» чуть не взорвалась…

— Habeat sibi! — Смирился Фатьянов. В переводе с латыни это обозначает «пусть себе владеет».

— Что вы говорите? — пытался уточнить побледневший Михаил Иванович.

— Я сказал: ничего себе! Это — латынь…

— А это… — Постучал шофер костяшками пальцев по капоту «Победы», — … «Виктория»!

С появлением машины семейные выезды стали более частыми. Ездили в летние путешествия вместе с детьми и родственниками, выбирались далеко от дома дружественными кортежами.

Алена Алексеевна помнит, как на двух машинах вместе с материнской родней они ехали на юг. Алексей Иванович пожелал побывать в Киеве, показать город детям. Он чтил этот поразивший его еще со времен войны город, в котором он читал древний манускрипт о граде Ярополче.

Итак, ехали через Киев.

3. В Киеве

Галина Николаевна была за рулем, на заднем сидении дремал водитель Михаил Иванович, дети смотрели в окно, Алексей Иванович рассказывал. Красивый город, полупустые после московских улицы, огромные, широкие, раздольные холмы, Днепр…

— В Киеве надо сходить в Киево-Печерскую Лавру, в собор, по Крещатику пройтись, — Алексей Иванович указывал, что надо посмотреть.

Он водил семью в Киевско-Печерскую Лавру, они спускались в подземелье, туда, где лежали мощи праведников-монахов, в том числе — сухонькие останки веселого былинного богатыря, земляка Фатьянова Илюши Муромца.

Было так тепло и ясно на земле и в душах, что хотелось бесцельно бродить по бульварам и слушать рассказы об этом удивительном древнем городе, есть мороженое, смотреть на воду, провожать бесшумные дальние катера…

Тогда у них улетели деньги, а деньги всегда были в кармане

пиджака Алексея Ивановича. Вот он и встряхнул пиджак, чтобы положить его на руку. И стайка сотенных купюр, выпорхнув из гнезда, замелькала на ветру всяк сам по себе. Деньги устремились на водную гладь Днепра, легли и поплыли друг за дружкой.

— Так вот как они на самом-то деле улетают! Галя, Алена — смотрите, смотрите: они улетают навсегда!

Сидящие неподалеку рыбаки услужливо предложили сачок. Маленькие и большие Фатьяновы со смехом, с шутками, вылавливали, собирали подмоченные купюры.

— Они ручные! — Комментировал случившееся Алексей Иванович. — Я их, дети, приручил, они полюбили своего хозяина!

— Они подмочены, папа!

— Ничего, высушим! Это — не репутация!

4. Няня Галочка

В житейских ситуациях он ориентировался неважно.

Как-то Алексей Иванович взял с собою в командировку на юг Алену. Они плыли вдвоем теплоходом, а когда прибыли по назначению, мест в гостинице не оказалось. Тетушка-горничная посоветовала снять комнату в маленьком беленьком домике неподалеку. Алексей Иванович, поселившись в крошечной комнатушке, переживал, что нет рядом его Галочки, вдобавок, Алена заболела… Он был в панике и не мог дождаться окончания командировки.

А Галина Николаевна всегда и везде была уверенной кормчей и домоправительницей.

Он брал ее с собой и возил везде и всюду не оттого, что ему было скучно. Там, где появлялся Фатьянов, всегда собирались шумные компании, творческие застолья, придумывались капустники, организовывались походы, рыбалки… Но жена ему была нужна всегда. Он нуждался в ней, как в Музе, искренно любящем человеке и первом критике, смело говорящем правду во благо. Алексей Иванович всегда держал при себе ученическую тетрадь, сложенную вдвое, и она быстро наполнялась стихами, где бы он ни находился. Хотя критики он не любил, но Галину Николаевну слушался. И тогда в тетради появлялись пометы по свежим стихам.

Достаток сменялся долгами, полное взаимопонимание — временными «войнами». Иногда, будучи навеселе, чувствуя себя обстрелянным недружелюбными взглядами подуставшей от компаний супруги, он шептал своим гостям:

— Моя жена на метле улетает в камин!

Он обижался на нее до глубины души по пустякам, но столь

же глубоко и горько переживал, если у Галочки что-нибудь болело.

Однажды он был один в Коктебеле, ждал жену.

Приехал кто-то из москвичей, и рассказали Фатьянову о том, что видели Галину Николаевну в Литфонде, и она хромала.

К вечеру об это знал весь поселок. Алексей Иванович перебрал все вероятности до единой и решил, что она попала под машину и сломала ногу. Заканчивалась версия тем, что она в Коктебель не приедет, а, скорее всего, умрет из-за гангрены. Алексей Иванович рыдал, сидя на берегу, до рассвета, и ни за что не соглашался пойти немного отдохнуть.

К утру он собирался ехать в Москву без какой либо надежды застать любимую супругу в живых. Каково же было его удивление, когда утром он увидел Галину Николаевну, спокойно и уверенно идущей от их «победы» с чемоданом прямиком к номеру. От хромоты не было и следа. Следом семенили Никита с подросшей Аленой.

— А как же твой перелом? Как гангрена? Уже все прошло?! — Воскликнул он, просиявший от радости.

Весь Коктебель поздравлял ничего не понимающую Галину Николаевну с успешным выздоровлением.

…Они гуляли по берегу в сопровождении детей и друзей. Он — огромный, в светлом летнем костюме, сшитой Галиной Николаевной. Она — маленькая, в легком изящном платье собственной работы, в туфельках на шпильке. Эту пару все любили: любили на них смотреть, любили их слушать, любили с ними говорить.

5. Мстерские стихи

На «победе» ездили во Мстеру. Там жили художники, приятели Алексея Ивановича и Сергея Никитина, среди них — солнечный художник Владимир Юкин. Они ездили во Мстеру с Репкиными, Галина Николаевна была за рулем. Неподалеку от поселка машина застряла в непроходимых мстерских песках. Алексей Иванович сердился за это на жену. Галина Николаевна нервничала. Но когда все вышли на дорогу и толкали машину, он отстранился, отвернулся и замолчал. Поэт увидел пески, и почувствовал приближение стихов. Его пристыдили за бездействие, но услышали в ответ оправдание:

— Вы ничего не понимаете… Толкать машину может кто угодно. А у меня рождаются стихи.

Так и простодушно, и назидательно, и справедливо ответил Фатьянов.

И потом, на Клязьме, когда все ловили рыбу и весело готовили уху, он уходил в шалаш, стараясь уединиться. Владимир Юкин с женой, школьной директрисой, Галина Николаевна с детьми, Репкины, все в приподнятом настроении, зовут его «к столу», шутят. А он кричит:

— У меня рождаются стихи.

Начинают разливать уху и «под уху» без него.

Тогда к Алексею Ивановичу очень привязалась молоденькая Вязниковская поэтесса Валентина Чичекина. Она показывала ему свои стихи, слушалась поэтических советов. Опекаемая Фатьяновым, землячка прошла творческий конкурс в Литинститут. Но поступать туда он ей не советовал, объясняя это просто:

— Ты займешь там чье-то место. Может, кому-то институт будет нужнее…

— Как же так? — Не понимала девушка.

— Пушкин учился в Литинституте, скажи мне?

— Нет…

— Есенин?

— Нет…

— Я?

— Нет.

— То-то! Таланту пойти в Литинститут, это все равно, что Моцарту записаться в консерваторию! Пиши — и радуйся!

6. Продольные трещины в вещах и в душах

К 1958 году Алексей Иванович собрал небольшую, но ценную коллекцию пивных кружек. Это было его единственным хобби, если не считать рыбную ловлю. Пятого марта, в день рождения, Репкины принесли ему еще одну старинную баварскую кружку. На ней была написана готическим шрифтом бюргерская здравица. Но продольная трещина по глазури перечеркивала надпись. Алексей Иванович принял подарок, рассмотрел его и сказал:

— Таня, Володя… Кружка пусть будет у вас, потому что она разбита, а я не хочу с вами оборвать отношения. Но пусть она все-таки остается моей.

И она стояла у Репкиных.

Приходил Алексей Иванович, и ему любой напиток непременно наливали в его кружку. Она не протекала, хотя и была треснута. Алексей Иванович ее ценил.

В тот год по радио прозвучала новая песня Марка Бернеса. Слова к ней написал Константин Ваншенкин, музыку — Ян Френкель. Простые слова «Я люблю тебя, жизнь…» поразили

Фатьянова. Удивительным показалось и исполнение Бернеса, которого коллеги не считали музыкальным человеком. Впервые услыхав ее, Алексей Иванович в сердцах воскликнул:

— Эту песню должен был написать я!

Песня была одной из трех, так близко воспринятых Фатьяновым. Двумя другими стали «Эх, дороги» на стихи Льва Ошанина и «Подмосковные вечера» на стихи Михаила Матусовского.

Он искренне радовался удаче поэтов, хвалил их и поздравлял. Похвала Фатьянова считалась высшей — он не был щедр на лестные отзывы и никогда не говорил того, чего не думал.

Однако его стихи по-прежнему никто не воспринимал всерьез.

Многие знают случай, ставший нарицательным.

Однажды он принес на заседание редколлегии Дня поэзии свои стихотворения. Возглавлял комиссию Лев Ошанин.

Литераторы, которых фамилии мы теперь и не вспомним, отклонили публикацию фатьяновских стихов. Тогда он встал в полный рост и спел их — это были песни из кинофильма «Весна на Заречной улице», которые через год знал каждый подросток. Он пел почти о каждом из сотен миллионов сограждан с той лексической неподражаемой простотой, которая напрочь отсутствует в виртуозных, порою, стихах.

Эта-то простота и не давала покоя его оппонентам.

Члены комиссии, чувствующие себя великими знатоками поэзии, уныло прятали глаза и отмалчивались.

Поэт заплакал и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Он чувствовал себя полностью обессилевшим перед этими постными лбами. Из него словно уходила жизнь.

Иногда на риторический вопрос о том, как ему живется, он отвечал:

— Я живу хорошо… Но иногда почему-то хочется жить лучше…

Дома творчества музфонда

1. Союз с Союзом композиторов

Союз композиторов считал Фатьянова «своим».

Порой создавалось впечатление, что его там ценили больше, нежели братья-писатели. Было выпущено огромное количество клавиров музфондом и издательствами Союза композиторов, клавиров песен на стихи Фатьянова. В 1959 году вышел из печати клавир «Три дуэта» из оперетты «Король шутов» на музыку Н. Будашкина и Ф. Маслова. Слова принадлежали Г. Павлову и А. Фатьянову.

Поэт, мечтающий написать поэму, преуспевал в музыкально-поэтических жанрах. Не публикации в центральной прессе, а радио и бесконечные командировки с композиторами по стране делали Фатьянова необычайно знаменитым.

Во второй половине пятидесятых Алексей Иванович вдруг вспомнил далекое и тихое Иваново и ему снова захотелось туда. Он получил путевку в дом композиторов в музфонде и, напутствуемый тогдашним его руководителем Левоном Атовмяном, устремился в северные, льняные русские вотчины. Выехала туда и Галина Николаевна с детьми.

Они поселились в маленьком домике на берегу Харинки.

Ходили за земляникой в изумрудный и дремучий лес, пили молоко от черно-пестрой коровы, прогуливались вдоль полей у деревни Афанасово. У домика был очень низкий подоконник, и деревенские дети приходили и вызывали «Олену и Микиту» играть, заглядывая в комнату через окно.

Алексей Иванович пропадал на Харинке с местными мальчишками, обладателями удочек и спиннингов.

Обстановка в Ивановском доме творчества была подчеркнуто патриархальной. Жены композиторов по утрам уходили в лес, укутанные в платки от комарья, красивые и свежие, как крестьянки. На электроплитках под аккомпанемент рояля кипело розовой пенкой земляничное и малиновое варенье. На окнах рядом с белыми сельскими занавесками сушились ниточки белых грибов. На крылечке второго пансионата теплыми комариными вечерами жены композиторов играли в картишки, рядом, на скамейке, собиралась группа любителей анекдотов, кто-то упражнялся в теннисе, кто-то уходил в поля, кто-то уединялся у рояля. На берегу Харинки раскинулся пляж, где красовались настилы, грибочки, шезлонги. На водной глади подрагивали

кувшинки, их можно было рвать, взяв лодку на композиторской лодочной станции. Эта теплая, ароматная, обвораживающая хозяйским «оканьем» глухомань давала столько свежих сил!

Андрей Яковлевич Эшпай признавался, например, что в «Иванове» ему лучше и как-то… чище, чем в элитной подмосковной Рузе, где у него есть и собственная дача.

2. В Рузе пишут новый гимн…

В глубокой древности Рузский уезд был покрыт непроходимыми лесами, в которых укрывались разбойники. Теперь в живописном Рузском мелколесье укрывались актеры, композиторы и писатели.

До войны в свои Дома они переплавлялись через реку на пароме.

А с конца сороковых дом творчества композиторов, поднятый из руин директором музфонда Левоном Атовмяном, преобразился. Теперь встречать композитора выезжал на автомобиле сам директор дома творчества и кто-нибудь из персонала в красивых нарядах, прямо к вагону поезда на станции Тучково. Послевоенный директор Дома Николай Григорьевич Родионов был человеком замечательным. Он учил персонал:

— У нас не должно быть слова «нет».

И этого слова не было.

В Рузе доводилось бывать Алексею Ивановичу. Неподалеку от дома творчества композиторов располагались и писательская «Малеевка», и дом творчества ВТО, и санаторий «Дорохово».

Городок Старая Руза, несмотря на близость к Москве, казался совсем провинциальным. Там находился дощатый трактир, в котором, по местному преданию, Борис Андреевич Мокроусов в 1948 году прогулял свою Сталинскую премию с трактористами и гармонистами. Сказывали, что люди шли и шли не одну неделю на этот праздник жизни: колхозники и колхозницы, бухгалтера, библиотекари, фельдшеры и учителя — все шли поздравить любимого композитора, автора «Одинокой гармони» и «На крылечке твоем», со Сталинской премией.

С тех пор чайную в Старой Рузе прозвали «мокроусовкой».

Премии не стало, не стало и самого ее учредителя.

А через год с небольшим после кончины И.В. Сталина Постановлением ЦК КПСС от 7 декабря 1955 года был объявлен закрытый конкурс сначала на текст, а потом и на музыку нового гимна.

В уютных коттеджах в «Рузы» на полмесяца поселились А. Бабаджанян, Д. Кабалевский, Б. Мокроусов, К. Молчанов, Д.

Покрасс, Г. Свиридов, В. Соловьев-Седой, А. Хачатурян, Т. Хренников, Д. Шостакович, Р. Щедрин, А. Эшпай, другие — все лучшие композиторы. Разместили в таких же царских условиях — по коттеджу на брата — и поэтов: Р. Гамзатова, Н. Доризо, Е. Долматовского, А. Жарова, Н. Заболоцкого, М. Исаковского, А. Твардовского, М. Светлова, А. Фатьянова…

«Лучшие из лучших», все с творческими идеями и с невероятным, вдохновенным рвением — гимн Родины создают! — были в приподнятом состоянии духа. Но комиссия отклоняла вариант за вариантом. Идея принудительного авторства быстро была исчерпана. Творческая группа посещала бильярд, каталась на лодках, шумела у ночного костра около двух недель своего проживания в ДТК — доме творчества композиторов. Родилось уже и двустишие:

Нынче знает только Руза
Гимн Советского Союза.

Гимн на музыку Бабаева и текст Фатьянова «Слава земле трудовой» был напечатан в «Правде» в 1958 году. Его отклонили, как и произведения их коллег на эту тему.

Как-то приостановились на исправленном варианте «Широка страна моя родная».

Потом — на гимне Свиридова и Твардовского.

Так и осталось совместное проживание поэтов и композиторов в Рузе сладкой сказкой, веселым банкетом, шумным отдыхом, фейерверком смелых острот.

А гимн звучал прежний, сначала без слов, а после — со слегка отредактированным текстом тех же литераторов: Сергея Михалкова и Гарольда Эль-Регистана… Слова вроде «Нас вырастил Сталин на верность народу» были заменены на более подходящие ко времени, и вскоре забыты.

«Лучшие из лучших» захаживали в «Мокроусовку» и по традиции оставляли в ней свои гонорары.

Плыли облака над Старой Рузой, заволакивали синее небо нежной дымкой летнего марева, на другом берегу речушки Рузы пионеры играли в волейбол и слышались звуки ударов мяча, переливались на ветру серебристые стрекозы…

Члены авторитетной комиссии никак не могли прийти к окончательному решению. Наконец оно было найдено: оставить музыку Александрова, переделать только слова.

Был предложен и плюралистический выход: оставить в конкурсе только самых-самых знаменитых поэтов и «взять» у каждого по четверостишию. Поэты растерялись. Исаковский,

Твардовский, по строчке у остальных — что это получится?.. Александр Трифонович об этом шутил: «всемером петуха зарезать» хотят… То был уже 1960 год, «середина» задуманного конкурса, который так и закончился ничем.

Чиновника можно понять: поэты народ непредсказуемый. Натвори он чего — и что делать с автором Государственного гимна? Если это группа авторов, то в таком случае уже можно говорить о паршивой овце, которая все стадо портит. Второе: в случае, если останется в авторах один С. Михалков, то народ не поймет. Люди будут говорить, что у нас гимны пишут баснописцы, а от великого до смешного, как говорено, один шаг. Третье: Союз многонационален, а где же авторы из нацменов? Тут и сгодился малоизвестный Регистан.

Все эта гимническая история, напоминаем, закончилась уже в шестидесятом году, когда Фатьянова не было в живых.

А пока вернемся в 1959 год — последний земной год «певчего избранника» России.

«Непричесанный» Фатьянов

1. Изгнанник

В одном из герценских флигелей Литинститута в те давно прошедшие годы размещался Литфонд. Ближе к маю в его угловатом коридоре стоял дым коромыслом и витали предчувствия Ялты, Коктебеля, Малеевки, Переделкина, Голицына, Тбилиси…

Поспешала в литинститутский сквер и Галина Николаевна, молодая цветущая женщина, жена-секретарь Фатьянова и импресарио. Еще с зимы лежало в Литфонде заявление Фатьянова на семейную путевку в Коктебель, куда по традиции отправлялись они каждое лето. Выезд планировался скорый, чемоданы были собраны, «победа» вымыта, дети — нетерпеливы перед фантастическим путешествием по украинской стороне. Оставались пустяки — выстоять очередь за такими же завтрашними курортниками и заплатить деньги, которые плотной стопочкой лежали в ридикюле Галины Николаевны.

Однако в выкупе путевки ей было односложно отказано. Она растерянно покрутилась в коридоре, позаглядывала в соседние двери, потопталась в нерешительности у доски объявлений.

— А вы знаете, что Фатьянова исключили из союза за моральное разложение? И нам пришло постановление, — Сообщила ей строгая чиновница. Она со значением помолчала и добавила: — Путевку Фатьянову продать не можем.

Галине Николаевне стало обидно и за обманутые надежды, и за собственное унижение, и за клевету на ее мужа.

— Да? — Гордо сказала она. — Это моральное разложение, когда человек поет вместе с народом свои песни? — Она улыбнулась своей незабываемой широкой улыбкой. — Ну так вот: мы поедем в Коктебель и вместе будем разлагать ваших писателей!

И они уехали «дикими».

И «разлагали» писателей всей своей дружной семьей. Их любили все горничные и официантки, дворники и шоферы. Дружно, шумно впархивали Фатьяновы в столовую и усаживались за свой, «приручeнный» годами столик. Тогда за соседними столами шла оживленная дискуссия о шортах, ее сопровождали остроты и каламбуры. Руководитель Союза писателей и автор гимна Советского Союза Сергей Михалков отдал специальное распоряжение на высшем уровне: в шортах столовую не посещать.

Отчего-то это очень веселило отдыхающих. Ведь они усаживались за обеденный стол, буквально вынырнув из воды: столовая стояла на самом берегу моря. Алексей Иванович не входил тогда в состав Союза и находился в более выгодным положении. Он и его семья могли нарушить приказ непотопляемого писательского пастыря, не задумываясь о могущих быть тяжелыми последствиях.

Фатьянова исключали из Союза и восстанавливали многократно.

Вот типичная штрафная ситуация: он в центре внимания, он читает свои стихи и поет свои песни. Присутствующие не могут оставаться только слушателями и подпевают ему. Время близится к вечеру. Становится темно.

И кто-то звонит в милицию — нарушение общественного порядка.

2. «Отчего прослыл я скандалистом…»

Он любил компании, любил общаться, любил посидеть заполночь, почитать стихи дорогих ему поэтов так, как чувствует их только он один. Часто посиделки эти случались в гостиницах. Кто-то приезжал, например, в Москву, и столичные писатели приходили поприветствовать своего коллегу и друга. А уж если сам Фатьянов выезжал в другой город, в его номере собирались не только знакомые. Писатели, актеры, исполнители, просто зрители с концерта, их родственники, соседи, кто только не приходил пообщаться с поэтом! «Шуметь» можно было в номерах только до двадцати трех часов. Потом приходил дежурный:

— Прошу гостей покинуть помещение гостиницы….

Известен анекдотичный случай, немало говорящий о характере Фатьянова.

В Москву приехал ленинградский гость, композитор Модест Ефимович Табачников. Автор музыки к песням «Давай, закурим», «У Черного моря», «Ленинградские мосты», Табачников остановился в гостинице «Савой», что неподалеку от «Детского мира».

Итак, к Табачникову в номер пришли все его московские друзья, в том числе Фатьянов. И, конечно, он читал стихи своим хорошо поставленным, зычным голосом, и хорошо пел песни «Давай, закурим», и «У Черного моря», и другие. Дежурная несколько раз высказала недовольство, предложила посторонним оставить гостиницу, но ее совета не послушались. Наконец, пришел милиционер с намерением «прекратить безобразие». Едва завидев серый мундир, Алексей Иванович воскликнул с интонациями трагика:

— Я — депутат Верховного Совета и неприкосновенная личность! Оставьте нас!

Гостиничные милиционеры хорошо знали Фатьянова. Он был весьма дружелюбным и гостеприимным москвичом и навещал многих творческих гостей. В тот глубокий вечер все хорошо посмеялись, пошутили и с Богом отпустили артистичного поэта, выдворив его из гостиницы.

Он был человеком, не умеющим скрывать своих чувств и не желающий этого делать. Буквально все мои собеседники, знавшие Фатьянова, утверждают, что поведение его походило на есенинское. Трудно со стопроцентной точностью утверждать что-либо о человеке, которого не знал. Но, думается, за многие годы приближений к Фатьянову — человеку и поэту, я могу представить себе природу его мироощущения. Осмелюсь предположить, что он не «играл» в Есенина, как в любимого поэта. Просто он, как и Есенин, принадлежал к тому же общепринятому русскому архетипу творца, который если пел — то громко, если плакал — то рыдал, коли угощал — так всех, коли любил — так боготворил. И внешность, и характер его были гармоничны, и прекрасны, и жизненны, и трагичны одновременно. Обыкновенно он бывал нежным и внимательным человеком с прекрасными манерами, но неожиданно мог воскликнуть ничего не подозревающему визави: «пошел вон!». Оттого его побаивались те неистребимые прохиндеи, те поведенцы, те имитаторы, кто был склонен к лицемерию и только изображал из себя художника. А вот этих качеств в его душе посеяно не было. Он мог приврать, присочинить и поверить в это сам, как дитя, но не идти против себя — не лицемерить, не обманывать.

Он обижался, ссорился и прощал, в нем постоянно шло какое-то движение чувств.

Однажды Фатьянов ехал во Мстеру и по дороге решил взять с собою Никитина. Заехал во Владимир, пришел к другу. Открыла Клара Михайловна.

— Кларетка, здравствуй! Сережа поедет со мной! — Сообщает он радостную для него новость.

А в ответ слышит следующее:

— Нет, Алеша… Сережа останется дома. У него книга в плане… Сереже нужно срочно заканчивать книгу.

— Сережа, ну, поехали! — Заходит он в кабинет друга.

Тот лишь пожимает плечами.

За него отвечает жена:

— Нет, не поедет…

— Ах, так? — Восклицает Алексей Иванович, хватает

чемоданчик и говорит Кларе Михайловне по-мальчишески обиженно:

— Ну, ты мне больше не друг! И я в твой дом больше — ни ногой!

— Скатертью дорожка! — Крикнула ему вдогонку Клара Михайловна в том же духе. — Муж — про походы, жена — про расходы…

После этого Никитины навещают Фатьянова в Вязниках. Чувствуют неловкость после нечаянной ссоры. Подходят к меньшовскому дому, где Алексей Иванович отдыхал с семьей. Он сидит на крылечке с закатанной штаниной, нога забинтована. Сидит себе и покуривает, вдруг увидел идущих по улице Никитиных — и моментально заплакал. Полились настоящие горькие слезы…

— Сережа, собака меня укусила… Никогда в жизни не думал! Я так ее люблю, а она меня укусила.

Он был похож на обиженного ребенка, которого некому пожалеть, и он сдерживает слезы. И вдруг ребенок увидел, что мама идет — он бежит к маме и плачет.

Разве это не говорит о критическом истощении нервной системы, о чем никто не догадывался, включая и самого поэта?

Алексей Иванович верил в свои фантазии и чувства — никакого наигрыша у него не было. Он был собой всегда, а потому понятен и недвусмыслен. Душевный, нежный, справедливый, он бывал и резок. Случалось, он шел врукопашную на жену, когда она принималась его воспитывать. Дипломатичная Галина Николаевна, правда, ему не давала спуску. Она могла ориентироваться в его душевных порывах, как чуткая птица — в сюрпризах погоды. Эта чета, эта пара была соединена свыше. От хозяина пахло ветром, от хозяйки — чадом.

Иногда к нему приступала ревность, как лирический момент, и он изводил всех вокруг. Что это как не заниженная самооценка — плод долгой, пожизненной травли! Страдали тогда и домработница, и шофер.

Вот он вызывает Таню и спрашивает у нее:

— С кем это Галя говорила по телефону? Ты слушала, что она говорила?

Та отвечает:

— Да ничего я, Алексей Иваныч, не слышала…

— Ах, не слышала?! Ты ее покрываешь? Все! Ты у меня больше не работаешь!

Диалог мог быть и следующим.

Звонил телефон…

— Танюлечка-нянюлечка, возьми трубку и говори Галиным

голосом! Быстро! Но не спеши!

Домработница:

— Да как это я буду говорить? Я же не артистка!

Фатьянов:

— Говори Галиным голосом! Останешься без работы!

Похожие «претензии» были и к шоферу.

— Куда ты ее возил?

— В Литфонд, — Отвечает шофер.

— Куда-куда?.. Уволю!

— В Литфонд…

И, бывало, легко лишались работы то домработница, то шофер, а то и двое сразу.

И так же легко возвращались, поскольку в них нуждалась семья, и по ним скучал сам Фатьянов. Тем более, что машину не раз угоняли.

Мир, тишь и благодать в доме выражались так:

— С Галкой у нас полный ажур… — Счастливый, говорил он по телефону Кларе Никитиной. — Михаил Иванович с нами и Таня с нами. Галке я купил такое голубое платье, ты бы видела — она сидит, как невеста…

Голубое платье он придумал. Вспомним «красный шарф из Японии», подаренный Татьяне Репкиной в день рождения. Таких красивых фантазий было множество. Он верил в них. Его представления о справедливой реальности, его титанические устои были подточены мелкотравчатостью литературных мандаринов.

— Если Алеша молчит — всем скучно, — Говорили те, кто его любил.

Ни один портрет не отражает лица Фатьянова.

Это было очень подвижное, подверженное смене настроений, лицо. Небольшая асимметрия придавала ему оттенок загадочности и плутовства. У Фатьянова были очень живые глаза, в которых отражалось все, что им говорилось и думалось: стихи, шутки, смех, порицание… Лицо это было говорящим. И все же среди людей Алексей Иванович никогда не молчал.

Константин Ваншенкин вспомнит его таким:

«…Алексей Фатьянов обладал душой широкой и нежной. Он был по-настоящему красив. Фотографии почти не передают этого: он как-то наивно застывал, каменел перед аппаратом. Это была удивительно колоритная фигура — зимой, в шубе с бобровым воротником, он напоминал кустодиевского Шаляпина. В нем вообще было много артистизма и просто актерского. Он был добр, вздорен, сентиментален. А чего стоили его рассказы! <…> Твардовский говорит в «Теркине»:

Что, случалось, врал для смеху,
Никогда не врал для лжи.

Здесь даже другое — вранье скорее детское, столь необходимое ребенку и, разумеется, совершенно бескорыстное. <…> Фатьянов выглядел значительно старше своих лет и примыкал к поэтам старше себя, а не моложе».

Остается добавить, что многие называли Фатьянова «Теркиным» за особенности его веселого нрава. Можно было бы привести еще несколько его «портретов» из воспоминаний друзей, но по сути они мало отличаются друг от друга. Одно бесспорно — Фатьянов никогда не использовал свое обаяние в целях корысти. И никогда не перестраховывался, в угоду сильным мира сего…

3. «Декабрист»

Шлейф из легенд и бывальщин тянулся за ним, куда бы он ни поехал.

Его многократно исключали из Союза за мнимые «проступки», которые даже и не походили на проступки.

Однажды в Ялте они с Сергеем Никитиным выступали перед военнослужащими. Встреча, как всегда, прошла «на ура», и офицеры не отпускали писателей со сцены. Но им нужно было торопиться на самолет.

— Ради Бога, извините, нам надо спешить — вот билеты на самолет, — Извинились они перед залом и поспешили в аэропорт.

Замполит написал в Союз писателей докладную, обвинив выступающих в пренебрежении к аудитории. За всех привычно «влетело» Фатьянову. Никитин «не пострадал», а его друга постигла крайняя мера пресечения — исключение из Союза. Такое впечатление, что его все время кто-то мечтал глубоко ранить, обидеть, унизить. Его как будто недооценивали, и не могли простить ему многочисленные песенные удачи и народную любовь. И письмо неизвестного замполита похоже было на исполнение не приказа, но заказа «сверху».

И вот такую историю, похожую на ярмарочный лубок, довелось мне услышать в моих фатьяновских странствиях по Владимирщине.

Однажды во Владимире Фатьянов попал в число «декабристов». Так называли арестованных на пятнадцать суток нарушителей общественного порядка. Они по утрам подметали площадь перед рестораном «Клязьма».

Алексей Иванович был крупнее всех. Он взял десять метелок,

растрощил их, связал вкупе — получился такой большой куст. И метет площадь, как все. Собралась толпа — Фатьянова стали узнавать. Один безногий фронтовик взял у него метелку и, заругавшись, забросил в сквер:

— Не позорь себя!

Тут же Фатьянова подхватили, стали качать. Площадь заполнилась народом. В это время через Владимир ехал проездом сам Гришин — первый секретарь МГК КПСС. Шофер посигналил — народ ни с места.

— Что тут происходит? — Спрашивает Гришин.

— Да Фатьянова чествуют, — Отвечают из толпы.

— Кто указание давал? — Уточняет Гришин.

— А никто. Сам народ, — Отвечают ему.

Гришин подозвал милиционера:

— Отпустить всех!

И всех отпустили.

Скажите, о ком из поэтов еще слагались такие легенды?

…В студии звукозаписи Всесоюзного радио записывался хор имени Пятницкого. Пели русскую народную песню. Солировала молодая неизвестная хористка. Тяжелая студийная дверь приоткрылась, выпустив голос на волю. Фатьянов шел по коридору. Вдруг он остановился, прислушался, и встал в дверном проеме. Девушка пела — Алексей Иванович слушал. Он запустил пальцы в шевелюру и простоял так всю запись — несколько дублей. По щекам поэта текли слезы. Наконец, запись кончилась и хор стал расходиться. Все обратили внимание на большого непричесанного мужчину, который все еще продолжал стоять в дверном проеме и плакал. Когда мимо него проходила солистка, он сказал:

— Спасибо Вам большое. У Вас божественный голос.

Девушка была тронута. Она остановилась и думала, что же ей ответить.

— Меня зовут Алексей Фатьянов. А как Вас зовут? — Спросил поэт.

— Людмила…

— А фамилия?

— Зыкина.

— Людочка… Я запомню, как тебя зовут. Девочка, у тебя большое-большое будущее, поверь моему сердцу, — сказал Алексей Иванович, улыбаясь ей, как своей невесте.

Последний год жизни

1. Поэма «Хлеб»

Этот год был насыщен поездками, выступлениями, творческими переживаниями. Алексей Иванович ждал приближения сорокалетия, как чего-то мистического. Он говорил друзьям, что с сорока лет прекратит сочинять песни и займется только поэмами. И вот этот возраст пришел. В разное время уже были написаны поэмы «Скрипка бойца», «Наследник», «Заречье», «Лирические отступления», «Дорога». С началом 1959 он приступил к новой поэме, название к которой уже было в его тетрадях — «Хлеб».

Летом Сергею Никитину, своему другу-духовнику, он открывал желание попробовать себя и в «суровой прозе».

— Поэт — это юноша… — Вздыхал он. — Юноша, живущий, боготворящий мир, как мать… Мать эта — всегда самая красивая, самая добрая и святая, какой бы она ни была в глазах чужих и посторонних… Остальные — писаки!

— Не думаю, не думаю, что то, о чем ты говоришь свойство одних только поэтов! — Задевало сказанное Никитина. — Все не так просто, все сложней, если говорить об определении сущностией художника и маляра, художника и нехудожника…

Фатьянов перебивал вдруг с тревогой:

— Молчи, Сережа! Не обижайся, друг… Но мне кажется, что если мы определим природу творчества, то все волшебство кончится, рассеется, расточится…

А Никитин понимал природу волнений Алексея:

— Да не майся ты, Алеш! Никто и никогда не найдет этого определения. Каждая новая жизнь будет искать свое определение этой болезни…

— Нет, нет! — Загорался снова Фатьянов. — Нет: поэты не должны быть больны, чтоб не заражать мир! Поэзия — дело здоровых!

— Ты прямо спартанец какой-то! А больных что: со скалы в пропасть сбрасывать? — Пытался охладить его Сергей. — А кто будет им диагноз ставить: ты — Алексей Фатьянов? Как ты распознаешь болезнь? И где гарантия, что врачу не надо исцелиться самому?

Алексей Иванович замолчал под градом этих простых аргументов, подпер голову руками…

— Да, Сережа… Да, друг… «Друг мой, друг мой… Я очень и

очень болен…»

— Вот! — Обрадовано сказал Никитин. — Это Есенин тебя заразил! Да и меня тоже!..

Зиму начала года Алексей Иванович все же встретил работой над песней. Впервые работал он с композитором В. Шориным. Песня «Зимушка-зима», хоть и не стала популярной, но очень нравилась Фатьянову и его детям. Композитор, умный и виртуозно чувствительный мастер, несколько раз приходил для работы над музыкой, открывал крышку рояля, присаживался на визитку. Мелодия у них была общей с поэтом, Фатьянов часто и сам садился за рояль и придумывал какие-то музыкальные ходы… А музыкальный припев и вовсе сочинила Алена — взрослые одобрили предложенные ею находки.

К весне Алексей Иванович погрузнел, как-то оплыл и повзрослел, лицо стало округлым и тяжеловатым. Он чаще обмирал и задумывался. Уходя в себя, невидяще смотрел в пространство жизни.

В апреле они с Никитиным отправились в Ялту, где было холодно и неуютно. Алексей Иванович вел себя необычно, как-то неестественно.

Он был как бы в чужом доме, в чужой стране, в чужом пальто.

Цветущий миндаль, аристократически возвышенный, совсем не такой, как вишневое буйство на его родине, холодный воздух, леденящая сырость с моря — всем этим его будто остудило. Он прибыл сюда, чтобы написать поэму «Хлеб», а та и не показывалась ему.

Иногда они вместе с Сергеем Никитиным и Анатолием Рыбаковым — «дитем Арбата», посещали маленькую, на четыре столика, закусочную «Якорь».

Им нравилась ее кухонная обстановка, где сидели посетители за фужером терпкого виноградного вина, и тут же жарились чебуреки, заполняя чадом небольшой зал. Хождение в горы за крокусами и подснежниками, кормление голодных прожорливых чаек, прогулки по набережной составляли досуг двух друзей, и они по-прежнему не могли наговориться. Той весной думал Фатьянов о классиках, размышлял о знаменитом ялтинце Чехове, чей дом изучал с печальным интересом.

— Я был знаком с Марией Павловной… — Говорил он Сергею Никитину. — Несчастны, мне кажется, эти люди, пережившие свой век. Как будто уже умерли один раз и снова живут с памятью о прошлом, о близких своих, которые остались там, за чертой новой жизни.

А проходя по комнатам, говорил, посмеиваясь:

— В Ясной Поляне, несмотря на простоту обстановки,

чувствуется, что там жил граф, аристократ. А здесь тоже просто, но отовсюду выглядывает таганрогский мещанин Павел Егорыч.

Той весной в Коктебеле был и Константин Паустовский.

Алексей Иванович пережил немало неприятных для него минут, связанных с обуревающей его ревностью. Константин Григорьевич Паустовский очень любил Никитина, помнил его еще по Литинституту. Он всегда приглашал своего ученика с собой в поездки по полуострову, как будто «крал» его у Фатьянова. В машине Паустовского, как правило, оказывалось только одно место.

Алексей Иванович скучал.

Поэма у него «не шла». Появлялись строчки, каламбуры вроде навязчивого «герой, герой — карман его с дырой», которые никак не соответствовали высокому замыслу поэмы. Он мучительно дожидался окончания отдыха. Часто звонил домой и разговаривал с женой. В трубку прорывались из далекой Москвы звуки рояля, на котором играла его дочь незамысловатый и чистый репертуар начальной музыкальной школы. И ему хотелось в Москву, весело звенящую капелью.

Алексей Иванович вернулся в Москву к Девятому мая. Столица купалась во флагах, в солнце и в его, фатьяновских песнях. Фатьянов царил на улицах и в скверах, на танцплощадках и в жилых дворах, в застольях и душах, потому что его простые песни просачивались везде.

Понемногу рассеивалась грусть, влитая в его душу с неполюбившимся Крымом. А утром десятого зазвонил телефон и заговорил голосом Николая Старшинова. Оказывается, они с Виктором Гончаровым весь День победы просидели в коммунальной своей кухне и пропели фатьяновские песни. К вечеру соседи-поэты решили написать критическую статью о творчестве Фатьянова, обиженные тем, что такой статьи, даже упоминания имени поэта в поэтических обзорах, просто не было.

— «Алексей Фатьянов — явление исключительное, достойное удивления потому, что это настоящий большой русский поэт, — Звучал в трубке голос Старшинова. — И то, что он сделал в жанре песни, ставит его в первый ряд самых известных поэтов»…

Алексей Иванович, наверное, впервые слышал такие слова о себе.

— Спасибо, братцы, — Ответил он сорвавшимся голосом и опустил трубку…

Как жизнерадостные, моложавые солдаты выносливой пехоты, похожие на Васю Теркина, его песни и впрямь уходили в непобедимый фольклор.

2. Последнее лето

В июне всей семьей уехали в Вязники.

Там поэма «пошла»!

На воздухе, напитанном родным разнотравьем, в угловой комнате дома Меньшовых, на высоком крылечке, она получилась как-то сама собой. Там же был написан и рассказ «Сенокос» — первый опыт прозы. Рассказ был хорош, он представлял собой живописную зарисовку жаркой поры сенокоса. Рассказ, как и песни Фатьянова, подспудно говорил о любви.

— Сережа, а я рассказ написал, — Сказал он Сергею Никитину, покуривая на крыльце перед сном.

Тогда же он прочел посвященное другу стихотворение «Сборы».

А в июле всей семьей отправились на озеро Рица. Ехали на своей машине, с водителем Михаилом Ивановичем. Пока взрослые сидели в гостиничном номере, девятилетний Никита пошел на причал. Ему доверили ловить в озере рыбу, и он мечтал поймать форель… Попалась большая рыбина, мальчик стал ее тащить, а сил не хватало. Отец в окно увидел мучения Никиты и прибежал вдвоем с Михаилом Ивановичем:

— Мы сейчас думали, что тебя рыба утащит в озеро! — Подбадривал он сына, похваливал за хороший улов…

Потом Алексей Иванович — бодрый и энергичный, как прежде, уехал на гастроли с театром Дмитрия Сухачева.

Ему не терпелось проверить поэму «Хлеб» на публике. Поездка не была продолжительной, поэтому он взял с собой Алену. Дмитрий Сухачев, актер и режиссер, был другом Никитина. Он показывал спектакль своего театра в одном из небольших городов России, и читал отрывки из новой поэмы Фатьянова, которые разучивал по вечерам. Сухачев горел творчеством. Человек, с поврежденной во время войны рукой, жил одним лишь театром. С большой охотой он учил Алену читать, не декламировать стихи. И в некотором смысле он привил ей глубинное отношение к их прочтению. А до его уроков дочь поэта относилась к стихам, как к обыденности. Поскольку в доме каждый день звучали стихи, ничего необычного, потаенного, высокого она до поры в них не усматривала. Так дети, живущие вблизи аэродромов, не слышат рева двигателей на форсаже.

3. Последняя осень

Осенью на Бородинскую, пришла старшекурсница консерватории Александра Пахмутова. Она играла на рояле свои

сочинения. Алексею Ивановичу они не поглянулись. Галина Николаевна накрыла на стол, они попили чаю, немного поговорили.

— Вам еще надо учиться, — Сказал Фатьянов, провожая девушку до двери.

Такие визиты незнакомых молодых музыкантов были не редкость в доме.

Алексей Иванович все так же трогательно относился к Наталии Ивановне, Ие, ее детям. Он собирался на день рождения к Верочке 12 ноября — ни одного дня рождения девочки он не пропустил. Они жили тогда бедновато, и Алексей Иванович им помогал, чем мог. Своеобразно утешал он свою старшую сестру:

— Наталья, потерпи, скоро разбогатеем. Ты не волнуйся, я тебя никогда не оставлю. Я тебя даже в гроб положу в котиковой шубе.

Он не знал, и никто не знал, что дни его уже сочтены. У него развивалась аневризма аорты, а обращаться к врачам было не в его привычках. Кончину его приблизила цепочка огорчений и обид.

…После пожелания Кларой Никитиной «дорожки скатертью» Фатьянов к своим владимирским друзьям больше не приезжал. Они уже давно помирились, но он церемонился и ждал какой-то реабилитации. Однажды в два часа ночи у подъезда Никитиных остановилось такси. Из него вышел Сергей и поднялся домой.

— Вот, задержался в Москве, сказал он проснувшейся Кларе Михайловне. — А я не один. С Алешей.

— А где Алеша? — Оглядывается Клара Михайловна.

— Он там внизу, в машине… — Отвечает ей муж. — Он сказал, что ты его выгнала. Ждет, чтобы ты его пригласила.

— Сережа, два часа ночи, я из постели… Иди, скажи, чтобы не валял дурака, а поднимался — и все! А я накрою на стол…

Но он не дождался, пока его пригласят, и уехал в гостиницу.

Дальше все развивалось по известному сценарию. Свободного люкса не оказалось. С соседом они разговорились, выпили, и, как водится, стали петь. Дежурная по обыкновению вызвала милицию…

Пришел милиционер, Алексей Иванович оказал ему жуткое сопротивление, и его арестовали.

Эта гостиница стала для Фатьянова тенью «Англетера».

Утром Никитин позвонил туда:

— Там у вас где-то в «люксе» Фатьянов…

— Ваш Фатьянов не в «люксе», а в тюрьме! — Ответил раздраженный голос администраторши.

Сказать, что Никитину стало нехорошо — ничего не сказать.

Ему показалось, что весь мир летит в бездну чудовищной несправедливости. И он, обычно сдерживающий сильные эмоции, грохнул телефонной трубкой о столешницу.

В этот ранний утренний час на работу шел их общий знакомый Николай, который имел звание заслуженного адвоката. Навстречу ему милиционер вел Алексея Фатьянова и бережно нес чемоданчик поэта, заключенного в наручники.

— Коля! — Воскликнул Алексей Иванович, обрадовавшись встрече и огорченно добавил: — А меня арестовали!

— В чем дело? — Спрашивает адвокат у милиционера.

Тот стыдливо поясняет, что поэта посадили в КПЗ на пятнадцать суток за хулиганство, и он его ведет уже из зала суда, который только что прошел.

— Коль, пивка бы выпить, а там — хоть на Колыму! — Сказал Фатьянов тоном, каким, вероятно, просят о последнем желании. — Ну, скажи ты этому остолопу, что я не убегу…

— Николай Николаевич, на вашу ответственность, — Пожал плечами милиционер.

— На мою, — Согласился Николай Николаевич.

Ресторан был рядом.

Они оставили в залог фатьяновский чемоданчик и прошли в зал.

Там, отхлебывая горькое и желанное пиво, Алексей Иванович рассказал приятелю о своих злоключениях. Бывший судья, нынешний адвокат, сразу поднял всех, кого мог. Алексея Ивановича отпустили, но три дня он все же просидел. В отпускных документах значилось, что заключенный Фатьянов освобождается временно из-за возникших проблем со здоровьем. Он был обязан подлечиться и вернуться во Владимирскую КПЗ, дабы отсидеть положенные пятнадцать суток…

Получив из милиции известие о буйствах поэта, Союз писателей созвал собрание. На нем в очередной раз Фатьянова лишили членства на полгода, сняли с очереди на квартиру, и обязали лечиться от алкоголизма. Галина Николаевна очень переживала «квартирный вопрос». Угол их ветшал, становился все старее и хуже.

Итак, Алексея Ивановича обязали лечиться. И снова на память приходят злоключения Сергея Есенина. Ни тот, ни другой не были алкоголиками, не страдали зависимостью от спиртного, но согласие на лечение давали. А что было делать Фатьянову? Его буквально загнали в угол. Как в свое время Есенина спасали от тюрьмы в психушке, инкриминируя молодому человеку и поэту алкогольное изменение личности…

На этом собрании Фадеев, который звал Фатьянова в

Переделкине «палачом», говорил прямо, как хороший мальчик на совете дружины:

— Безобразие! В Союзе одни хулиганы! Один верхом на священнике ездит, другой улицы во Владимире метет… Распустились все, куда это годится!

Речь шла о Михаиле Луконине и Сигизмунде Каце. Они были в Омске, там в гостинице играли в карты со священником. Играли в «дурака», и кто проигрывал, тот становился на четвереньки, а на нем «ездил» выигравший.

…Галина Николаевна повела мужа к наркологу.

Врач обратился к нему, как к заправскому алкоголику — на «ты», грубо:

— Ну, что стоишь? Давай, раздевайся!

Фатьянова это задело. Он ответил, прося тактичного к себе отношения. Но в ответ услышал следующее:

— Ну-ка ты, иди, проспись, а потом придешь лечиться.

— Да я тебя сейчас пришибу, штафирка! — Сжал кулаки Фатьянов, и на лбу его выступил холодный пот.

Галина Николаевна увела Алексея Ивановича домой.

А дома случился сердечный приступ.

После этого случая Алексей Иванович стал беречься. Что-то внутри понуждало его жить в непривычном щадящем режиме. Он больше бывал на воздухе, больше отдыхал, словно пытаясь нащупать берега иной жизни — жизни взрослого мужчины.

Болезнь, казалось, оставила его, и они с Галиной Николаевной поехали в Ковров, чтобы десятого октября поздравить с днем рождения Сергея Никитина. В Коврове жила мама Сергея, и часто семейные праздники отмечались у нее. Там все любили Фатьянова: мама, тетка, дядя Коля Герасимов — все называли его Лешенькой и прекрасно к нему относились.

Он сидел тихий, смиренный, внимательный ко всем, он для каждого находил ласковое словцо. Там, за столом, среди здравиц и праздничных пожеланий, он сказал невпопад и вдруг:

— Я умру сразу, в одночасье, где-нибудь под забором. И меня похороните рядом с Есениным.

Смертельно обиженный ребенок, решил умереть назло жестоким и умным взрослым. Он не хотел взрослеть. И ему было не дано свыше.

Эти слова отчего-то всех близких встревожили, но никого уже не удивили.

Как росинки на ягодах крыжовника, сверкнули на глазах поэта последние слезы.

Таким было это прощание с его земным раем — отчей Владимирщиной.

— Галя, ему нужен повышенный уход… — Нелепо посоветовал кто-то Галине Николаевне.

4. Уход

Алексей Иванович любил поездки на речных трамвайчиках.

Пристань была рядом с Киевским вокзалом, буквально в нескольких метрах от дома на Бородинской. Он с детьми катался на трамвайчиках по Москва-реке. И один, бывало, садился на палубную скамью, сидел, смотрел на воду и ехал до Парка культуры. В Парке культуры на то время открылся павильон чешского пива. Обыкновенно он доезжал до парка, заходил в павильон, выпивал кружку пива и возвращался домой…

Близился день рождения Галины Николаевны.

Загодя, за полмесяца, она с домработницей готовились к приему гостей. Алексей Иванович пошел прогуляться. Как всегда, он доехал на трамвайчике до павильона, а на обратном пути внезапно почувствовал себя плохо. На палубе он потерял сознание, очнулся на последней станции оттого, что его приводят в чувство, трясут. Встал и едва добрел до дома.

Он вошел бледный, растерянный.

— Алеша, что с тобой? — Испуганно спросила Галина Николаевна.

Он еще пошутил:

— На палубу вышел, а палубы — нет…

— Что с тобой? Расскажи! — Настаивала она.

— Мне плохо, Пусик. У меня все кружится перед глазами…

Его спешно уложили в постель.

…С позволения читателя, эту часть повествования мы приведем полностью в документальном материале. Это — расшифровка аудиозаписи. Так Галина Николаевна рассказывала о последних днях мужа. Алексей Иванович пришел с пристани…

«— Мне плохо. У меня все кружится…

Я у него спрашиваю:

— Как плохо? Что болит?

Он говорит:

— У меня болит голова… Дай мне таблетки.

Мне было тридцать три года. Я плохо понимала, что нужно делать.

— Ну, какие? От головной боли?

— Да.

Я дала ему какие-то таблетки от боли.

— Ты кушать хочешь?

— Нет, я лягу.

Он лег. Потом опять встал. Мучился, мучился. Я говорю:

— Давай, вызовем скорую…

— Нет, не надо скорую. Лечи сама.

— Ну я же не врач, что я могу тебе сказать… Ну, выпей еще одну таблетку.

До половины второго ночи он промучился, потом уснул. Утром просыпается, пытается встать, а с него — холодный пот. Я говорю:

— Алеша, давай вызовем врача.

А тогда в Литфонде приняли постановление, что писателям выплачивали до двух тысяч по бюллетеню. А он мне еще говорит с подозрением:

— А-а, бюллетень тебе нужен…

— Я даю тебе честное слово, что я не возьму бюллетень. Но давай все-таки выясним, что с тобой.

Все-таки мы вызвали врача, он пришел, послушал, постучал и пишет мне рецепт: «Срочно. Нитроглицерин, капли». Врач ему сказал:

— Лежать. Завтра к вам приедут делать кардиограмму.

Мы сходили в аптеку, купили все лекарства, стали давать ему. На следующий день приехали, сделали электрокардиограмму. Я спрашиваю, когда она будет готова. А тогда, в пятьдесят девятом году, показания прибора расшифровывали до недели. Не то, что теперь — тут же.

— Через недельку к вам приедет врач с уже готовым описанием. Лежать, не вставать.

Через неделю приезжает врач, другой. Алеша лежал. Как только встает — холодный пот градом. Я открываю дверь, сразу спрашиваю:

— Инфаркт?

— Нет, инфаркта нет. Где он?

— Вот, лежит у себя в комнате.

Посмотрел, сказал: «лежите», и все. Фатьянов ему книжку подписал пятьдесят пятого года, маленькую… Смотрю — врач выходит из его комнаты, и он выходит за ним. А ко мне приехала мама из Ростова-на-Дону, и Сережа здесь Никитин был, и мы готовили обед.

Обращаясь к врачу, он и говорит:

— Можно выпить сто грамм?

Тот отвечает:

— Пять капель из пипетки, — Отшутился.

Алеша сел все-таки за стол, на столе, конечно, появилась бутылка. Чувствую, что он бледный такой, ему нехорошо. Сели. Сережа, мама, я, он — налили по рюмочке. Он так сидит, смотрит

на меня.

— Плохо? — Спрашиваю.

— Да, плохо, — пить не стал.

С него опять этот холодный пот. Ну и пошел, лег. Это было все в начале ноября. Ну, потом, успокоившись, что инфаркта нет, он стал потихоньку вставать. Но из дома уже не выходил.

Последние дни и часы

1. В «фатьяновской гостинице» мест нет

Традиционно день рождения Галины Николаевны отмечали шумно и весело седьмого ноября. Она родилась десятого, но приглашала гостей всегда на седьмое: к этому красному дню всегда «лепилось» еще несколько выходных. Можно было засидеться и до утра — никому не нужно было торопиться на работу. Но в этом году она не собиралась праздновать свое рождение.

Миновало седьмое ноября тихо и шепотом, с запахом валидола и валерьяны. А десятого — пришли друзья. Они пришли без приглашения, ибо день рождения жены Фатьянова был «красным днем» в негласном календаре Союза писателей.

Галина Николаевна с Таней стали спешно подавать на стол все, что было. Бялики, Смеляков и Стрешнева, Ваншенкин, Репкины, Островский, Ахмадулина, Луконин, Доризо — все были веселы, вели себя непринужденно, радостно. Они завалили кухню цветами и подарками.

Сели за стол.

Вышел к ним Фатьянов, немного побыл и ушел в кабинет, лег.

Каково-то было ему без стихии праздника…

Опять кто-то читал стихи, Ярослав Смеляков предложил заняться буриме. Он начал строчку, кто-то продолжил. Развеселились. Татьяна Стрешнева вдруг сказала:

— Прекратите, это же пошло…

Это было сказано обидно, получилась пауза, все притихли… Почувствовалось какое-то неудобство — не то тревога, не то усталость. Недомогание хозяина вызывало грусть. И вскоре все простились и разошлись.

…В эти дни Алексей Иванович чувствовал себя значительно лучше.

Он вставал, стучал на машинке, дорабатывал поэму «Хлеб». К 12 ноября он ее закончил и напечатал чистовой вариант, в котором она была названа «одой».

Двенадцатого ноября у дочери Ии Викторовны Верочки был день рождения. Девочке исполнялось семь лет. Не было года, чтобы дядя Алеша не приехал ее поздравить. Но неуверенность в собственных силах на этот раз оставила его дома. Галина Николаевна взяла детей и уехала к Ие Викторовне.

В этот же день — двенадцатого ноября — «фатьяновская гостиница» вновь была полна. Из Вязников приехал брат — летчик Николай Меньшов с беременной женой Надеждой. Они приехали в Москву за «приданым» для ожидаемого младенца. Остановился проездом из Владимира в Малеевку Сергей Никитин, чтобы утром отправиться в дом творчества. По делам пожаловали театралы — из Котласа главный режиссер Дмитрий Сухачев, и директор театра из Волгограда Геннадий Жарков. Они снова набирали на московской бирже актеров для своих театров. Несколько молодых актеров и актрис сидели в кухне, там у них проходило собеседование. Зашли проведать Фатьяновых муж и жена Быстрых, балетная пара из Московского театра оперетты…

Когда Галина Николаевна с детьми вернулись домой, народу была полна кухня.

На знаменитой фатьяновской ванне сидел Алексей Иванович и читал с листа оду «Хлеб». Видно, молчать было выше его сил.

Все гости, которые не разошлись — а, казалось, их стало еще больше — слушали. Закончив чтение, Алексей Иванович сразу как-то погрустнел, потускнел и ушел.

В эту ночь на его тахту «подложили» Сергея Константиновича, поскольку спальные места были все заняты. Галина Николаевна прилегла к одному ребенку, няня — к другому, в кабинете положили Меньшовых, кто-то лег на ванну, заложенную досками…

2. Ода «Хлеб»

Наступил поздний ноябрьский вечер.

В открытую форточку доносились звуки метропоездов. Алексею Ивановичу не спалось. Ему было и радостно, и тревожно оттого, что он написал «оду». Ему хотелось говорить об этом событии, выговориться. Он вышел в кухню, включил настольную лампу и набрал номер телефона племянницы.

Ия Викторовна знала, что значила для Фатьянова поэма. Еще до войны, на Басманной он, юный и вдохновенный, по-детски обещал ей написать поэму из поэм. Он читал ей, совсем еще ребенку, длинные стихи о беспризорниках, и у нее блестели слезы на глазах. А вот теперь он снова ей, уже взрослой женщине, матери, по телефону читал свою оду «Хлеб».

Он попросил не обижаться за то, что не смог приехать к Верочке и обещал завтра несмотря ни на что быть у них…

Потом он позвонил во Владимир Кларе Михайловне и тоже прочел ей оду.

В четыре часа утра 13 ноября телефонный звонок раздался в

квартире Репкиных. Трубку взяла Татьяна.

— Я закончил поэму! — Услышала она голос Фатьянова.

— Алеша, времени сколько! — Пожурила она его. Рядом спал муж, которому надо было утром отпраляться на службу, за портьерой проснулась мама…

— Ты что, отказываешься? Это же ода! — Удивился Алексей Иванович.

Она все поняла. Ему хотелось кому-то читать. И она ответила:

— Конечно, буду слушать.

И он в четвертый раз за сутки прочел оду «Хлеб» с беловых листков, которые больше никто никогда не видел.

Исчезновение единственного экземпляра этой последней работы Фатьянова стало одной из неразрешимых загадок его жизни.

Позже оду восстановил режиссер Дмитрий Сухачев. Благодаря профессиональной памяти, он вспомнил ее, но, вероятно, в первоначальном варианте — то есть, когда ода была поэмой.

13. 11. 1959

1. Непривычная тишина

Утром Фатьянову стало хуже. Галина Николаевна деликатно попросила гостей поскорей расходиться по делам:

— Ребята, Алеша плохо себя чувствует. В четыре часа приходите на обед…

Меньшовы ушли по магазинам, режиссеры — на биржу, Никитин уехал в Малеевку.

Таня его проводила на вокзал и принялась готовить обед.

Галина Николаевна сходила на курсы кройки и шитья, вернулась.

Алексей Иванович лежал в маленькой комнате на диване, отвернувшись к стене… Она заглянула — он спал, глубоко и ровно дыша.

В квартире стояла непривычная тишина, но вскоре к Алене пришла учительница музыки Антонина Ростиславовна, и начался урок. Тогда Галина Николаевна пошла в парикмахерскую, которая была совсем рядом — на набережной Шевченко. Было половина второго дня. Смолк рояль за закрытой дверью. Антонина Ростиславовна засобиралась.

Вдруг Алексей Иванович позвал:

— Танюлечка, нянюлечка… Я, няня, умираю.

— Я побегу за хозяйкой! — Испугалась она.

— Уже поздно, — Спокойно сказал поэт.

……

— Бегите! Хозяин умирает, — Она вбежала в парикмахерскую растерянная, в фартуке, с ключами в руке.

Галина Николаевна взбежала на третий этаж, влетела в квартиру, и успела принять последний вздох мужа.

……

Этот день был очень тяжел для всех.

К четырем часам пришли, ничего не знавшие о случившемся несчастье, гости.